Л. ЧУКОВСКАЯ ЗАПИСКИ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ





лидия чуковская

записки об анне ахматовой

ymca-press
paris

Того же автора, в том же издательстве:

- Записки об Анне Ахматовой, т. 2, 1952-1962, 626 стр;
- Процесс исключения, 1979, 207 стр.

ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ

ЗАПИСКИ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ

Том I

1938-1941

2-ое издание исправленное
и дополненное

YMCA-PRESS
11, rue de la Montagne Ste Geneviève 75005 Paris
1984

ISBN 2-85065-055-2
2e édition

Из-под каких развалин говорю!
Из-под какого я кричу обвала!
. . . .
И все-таки узнают голос мой.
И все-таки ему опять поверят.

Анна Ахматова
Черновой набросок.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Бежать из Ленинграда мне на моем веку довелось дважды: в феврале 1938 и в мае 1941 года.

Первое бегство спасло меня от лагеря. Спасаясь, я знала, почему, зачем и от чего бегу. Второе бегство, как оказалось впоследствии, спасло меня от двух смертей сразу: лагерной и той, которая тогда еще никому не была ведома, еще не родилась – ленинградской, блокадной.

... Февраль 1938. Деревянное окошко на Шпалерной, куда я, согнувшись в три погибели, сказала: "Бронштейн, Матвей Петрович" и протянула деньги – ответило мне сверху густым голосом: "выбыл!", и человек, чье лицо помещалось на недоступной для посетителя высоте, локтем и животом отодвинул мою руку с деньгами.

"Выбыл!" Я сразу пошла занимать очередь в прокуратуру на Литейный. Каких-нибудь двое-трое суток на лестнице, и вот я уже в кабинете у прокурора. На мой вопрос он ответил, что узнать решение я могу в Военной прокуратуре в Москве. В ту же ночь, "Стрелою" я выехала в Москву. На следующее утро один из моих ленинградских друзей известил меня по телефону, что Люшу и няню Иду сегодня переводят на Кирочную, к Корнею Ивановичу... Я поняла это сообщение так: на квартиру у Пяти Углов, нашу, Митину, где мы с Люшей и няней Идой остались жить после Митиного ареста – за мной приходили. Я не ошиблась: пришли, оказывается, в час ночи, когда мимо меня, стоявшей в коридоре у вагонного окна, только-только успел проплыть ленинградский перрон.

В Военной прокуратуре в Москве, на Пушкинской, я услышала приговор, по тем временам совершенно стандартный: "Бронштейн, Матвей Петрович? Десять лет без права переписки с конфискацией имущества".

В ту пору нам уже было известно, что подобный приговор мужу означает арест и лагерь для жены. Вот почему утренний дружеский телефонный звонок с сообщением о Люше и настоятельным советом не возвращаться в Ленинград – не удивил меня. Убедились мы также к тому времени на многочисленных примерах и в том, что если жены, сразу после приговора мужьям, уезжают – их не преследуют. Но вот о чем мы тогда не догадывались: "10 лет без права переписки" – это был псевдоним расстрела. Я не поняла, выслушав в Военной прокуратуре приговор, что Матвея Петровича уже нет на свете. Мне казалось, я обязана оставаться живой, избегать ареста, не только ради Люши, но и ради Мити, потому что, если я окажусь в тюрьме, то кто же станет организатором спасательных работ? *

Из Москвы я все-таки вернулась в Ленинград, но на квартиру к себе не пошла, на Кирочную – тоже. Два дня жила у друзей, а с Люшей, Идой и Корнеем Ивановичем виделась в скверике. Простилась, взяла у Корнея Ивановича деньги и уехала.

Таковы были обстоятельства моего первого бегства.

Поселилась я сначала у Митиных родителей в Киеве. Потом в Верзеле, под Киевом. Потом в Ялте. Никто меня не искал. Получив от Корнея Ивановича известие, что Петр Иваныч (условное наименование НКВД) остепенился, вошел в ум и более не зарится на чужих жен, – я вернулась в Ленинград, домой. Квартира была разграблена: Митина библиотека в полторы тысячи томов перевезена в подвалы Петропавловской крепости, крупная мебель и зимние вещи вывезены в неизвестном направлении, а мелкие вещички, вроде простынь, детских игрушек, ботиков и часов распроданы кому-то по дешевке в пользу конфискующих. В Митиной комнате поселен некто Катышев, Вася, человек "оттуда",

---

*) О физике-теоретике Матвее Петровиче Бронштейне, о его книгах, его судьбе и наших попытках спасти его – см. в отделе "... Но крепки тюремные затворы" (стр. 264).

получивший в наследство от репрессированного врага народа не только комнату, но и этажерку, и письменный стол, и часы. Некоторое время я не брала Люшеньку домой, опасаясь, что меня все-таки арестуют, но недели шли за неделями, а меня не трогали. И, перестав еженощно ждать звонка, я перевезла Люшу и няню Иду к себе и снова занялась хлопотами о Мите.

Ко времени моего возвращения в Ленинград после первого бегства и относятся первые записи в моем дневнике. В эту пору я и начала встречаться с Анной Андреевной Ахматовой.

15 мая 1941 года, то есть за месяц до войны, я вынуждена была покинуть Ленинград вторично. На этот раз потому, что до Петра Иваныча дошли слухи о существовании какого-то "документа о 37", как называли неизвестный документ следователи, допрашивавшие Иду. (На самом деле это была "Софья Петровна", повесть о 37г., написанная мною зимой 1939-40 года).

Но о вторичном побеге речь впереди. Так же, как и о последнем, окончательном моем отъезде из Ленинграда в 1944г., который тоже был совершен мной не по собственной воле.

Мои записи эпохи террора примечательны, между прочим, тем, что в них воспроизводятся полностью одни только сны. Реальность моему описанию не поддавалась; больше того – в дневнике я и не делала попыток ее описывать. Дневником ее было не взять, да и мыслимо ли было в ту пору вести настоящий дневник? Содержание моих дней, которые я проводила изредка за какой-нибудь случайной работой (с постоянной меня выгнали еще в 1937), а чаще всего в очередях к разнообразным представителям Петра Иваныча, ленинградским и московским, или в составлении писем и просьб, или во встречах с Митиными товарищами, учеными и литераторами, которые пробовали за него заступаться, – словом, реальная жизнь, моя ежедневность, в записях опущена, или почти опущена; так, мерцает кое-где еле-еле. Главное содержание моих разговоров со старыми друзьями и с Анной Андреевной опущено тоже. Иногда какой-нибудь знак, намек, какие-нибудь инициалы для будущего, которого никогда не будет, – и только. В те годы Анна Андреевна жила, завороженная застенком, требующая от себя и других неотступной памяти о нем, презирающая тех, кто вел

себя так, будто его и нету. Записывать наши разговоры? Не значит ли это рисковать ее жизнью? Не писать о ней ничего? Это тоже было бы преступно. В смятении я писала то откровеннее, то скрытнее, хранила свои записи то дома, то у друзей, где мне казалось надежнее. Но, неизменно воспроизводя со всей возможной точностью наши беседы, опускала или затемняла главное их содержание: мои хлопоты о Мите, ее – о Леве; новости с этих двух фронтов; известия "о тех, кто в ночь погиб".

Литературные разговоры в моем дневнике незаконно вылезли на первый план: в действительности имена Ежова, Сталина, Вышинского, такие слова как умер, расстрелян, выслан, очередь, обыск *и пр. встречались в наших беседах не менее часто, чем рассуждения о книгах и картинах. Но имена великих деятелей застенка я старательно опускала, а рассказы Анны Андреевны о Розанове или Модильяни, или даже всего лишь о Ларисе Рейснер или Зинаиде Гиппиус – записывала. Застенок, поглотивший материально целые кварталы города, а духовно – наши помыслы во сне и наяву, застенок, выкрикивавший собственную ремесленно-сработанную ложь с каждой газетной полосы, из каждого радио-рупора, требовал от нас в то же время, чтобы мы не поминали имени всуе даже в четырех стенах один на один. Мы были ослушниками, мы постоянно его поминали, смутно подозревая при этом, что и тогда, когда мы одни, – мы не одни, что кто-то не спускает с нас глаз или, точнее, ушей. Окруженный немотою, застенок желал оставаться и всевластным и несуществующим зараз; он не хотел допустить, чтобы чье бы то ни было слово вызывало его из всемогущего небытия; он был рядом, рукой подать, а в то же время его как бы и не было; в очередях женщины стояли молча или, шепчась, употребляли лишь неопределенные формы речи: "пришли", "взяли"; Анна Андреевна, навещая меня, читала мне стихи из "Реквиема" тоже шепотом, а у себя в Фонтанном Доме не решалась даже на шепот; внезапно, посреди разговора, она умолкала и, показав мне глазами на потолок и стены, брала клочок бумаги и карандаш; потом громко произносила что-нибудь очень светское: "хотите чаю?" или: "вы очень загорели", потом исписывала клочок быстрым почерком и протягивала мне. Я прочитывала стихи и, запомнив, молча возвращала их*

ей. "Нынче такая ранняя осень", – громко говорила Анна Андреевна и, чиркнув спичкой, сжигала бумагу над пепельницей.

Это был обряд: руки, спичка, пепельница, – обряд прекрасный и горестный.

С каждым днем, с каждым месяцем мои обрывочные записи становились все в меньшей степени воспроизведением моей собственной жизни, превращаясь в эпизоды из жизни Анны Ахматовой. Среди окружающего меня призрачного, фантастического, смутного мира, она одна казалась не сном, а явью, хотя она в это время и писала о призраках. Она была несомненна, достоверна, среди всех колеблющихся недостоверностей. В том душевном состоянии, в каком я находилась в те годы, – оглушенном, омертвелом – я сама все меньше казалась себе взаправду живою, а моя недожизнь – заслуживающей описания. ("И то хорошо, что прошла".) К 1940 году записей о себе я уже не делала почти никогда, об Анне же Андреевне писала все чаще и чаще. О ней тянуло писать, потому что сама она, ее слова и поступки, ее голова, плечи и движения рук обладали той завершенностью, какая обычно принадлежит в этом мире одним лишь великим произведениям искусства. Судьба Ахматовой – нечто большее, чем даже ее собственная личность – лепила тогда у меня на глазах из этой знаменитой и заброшенной, сильной и беспомощной женщины – изваяние скорби, сиротства, гордыни, мужества. Прежние стихи Ахматовой я знала наизусть с детства, а новые, вместе с движением рук, сжигающих бумагу над пепельницей, вместе с горбоносым профилем, четко вычерченным синей тенью на белой стене пересыльной тюрьмы, входили теперь в мою жизнь с такою же непреложной естественностью, с какой давно уже вошли мосты, Исаакий, Летний Сад или набережная.

Июнь-июль 1966
Москва

В конце книги собраны те стихотворения Анны Ахматовой, без которых наши разговоры непонятны.

В отделе *"... Но крепки тюремные затворы"* **даны сведения о сыне Анны Андреевны (Льве Гумилеве) и моем муже (М.П. Бронштейне), чьими тюремными судьбами мы были тогда заняты.**

Под строкой приводятся только самые необходимые сведения: либо кратчайшие справки о фактах и людях, либо библиографические ссылки на произведения Ахматовой и отрывки из ахматовских текстов.

Весь дополнительный разъясняющий материал расположен в соответствии с датами моего дневника в отделе *"За сценой"*.

Наиболее часто встречающиеся заглавия сокращены так:

БВ – Анна Ахматова. Бег времени, М.-Л., "Советский писатель", 1965.

ББП – Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы. Библиотека Поэта. Большая серия. Л., "Советский писатель", 1976.

Сочинения – Анна Ахматова. Сочинения. Международное литературное содружество, т.1, 1967 (2-ое изд.), т.2, 1968.

Из шести книг – Анна Ахматова. Из шести книг. Л., "Советский писатель", 1940.

Записки, т.2 – Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 2. 1952-1962. Paris, YMCA-PRESS, 1980.

Памяти А.А. – сб. "Памяти Анны Ахматовой", Paris, YMCA-PRESS, 1974.

Ахматова. Ардис – Анна Ахматова. Стихи, переписка, воспоминания, иконография. Составитель Э. Проффер, Анн Арбор, Ардис, 1977.

ББП–М – О. Мандельштам. Стихотворения. Л., "Советский писатель", 1973.

ББП–П – Борис Пастернак. Стихотворения и поэмы. Библиотека Поэта. Большая серия. Л., "Советский писатель", 1965.

Гумилев, собр. соч. – Николай Гумилев. Собрание сочинений в четырех томах, т.4, Вашингтон, из-во книжного магазина Victor Kamkin, 1968.

1938

10 ноября 38.

Вчера я была у Анны Андреевны по делу.

Никогда я не думала, что, с детства зная наизусть ее стихи, собирая ее портреты, когда-нибудь пойду к ней "по делу".

Когда мне было лет 13, Корней Иванович однажды повел меня к ней и она надписала мне "У самого моря". Я не могла поднять на нее глаз, потому что К.И., войдя, сказал: "Лида говорит – по сравнению с журнальным вариантом тут нехватает строки". Это "Лида говорит" меня убило.

Потом – или раньше? – я видела ее в Доме Литераторов на вечере памяти Блока. Она прочитала "А Смоленская нынче именинница" * и сразу ушла. Меня поразила осанка, лазурная шаль, поступь, рассеянный взгляд, голос. Невозможно было поверить, что она такой же человек, как мы все. После ее ухода я очень остро испытала "тайную боль разлуки". Но никто не мог бы заставить меня идти знакомиться с ней.

Потом, в Ольгине, я встретила ее на прямой аллее от вокзала к морю. (А может быть это было на Лахте?) Она шла с какой-то пышноволосой дамой (я только потом догадалась, что это Судейкина). Я поздоровалась с Анной Андреевной, еще более обычного

---

*) См. сборник *Anno Domini MCMXXI. Petropolis*, 1921.

стыдясь себя: своей нескладности, своей сутулости. Аллея была пряма, как струна, и, поглядев им вслед, я подумала, что их стройное явление на этой аллее легче было бы выразить какой-нибудь музыкальной, не словесной фразой.

Вчера я была у Анны Андреевны по делу.*

Сквозь "Дом занимательной науки" (какое дурацкое название!) я прошла в сад. Сучья деревьев росли как будто из ее стихов или пушкинских. Я поднялась по черной, трудной, не нашего века лестнице, где каждая ступенька за три. Лестница еще имела некоторое касательство к ней, но дальше! На звонок мне открыла женщина, отирая пену с рук. Этой пены и ободранности передней, где обои висели клочьями, я как-то совсем не ждала. Женщина шла впереди. Кухня: на веревках белье, шлепающее мокрым по лицу. Мокрое белье словно завершение какой-то скверной истории, из Достоевского, может быть. Коридорчик после кухни и дверь налево — к ней.

Она в черном шелковом халате с серебряным драконом на спине.

Я спросила. Я думала, она будет искать черновик или копию. Нет. Ровным голосом, глядя на меня светло и прямо, она прочла мне все наизусть целиком.

Я запомнила одну фразу: "Все мы живем для будущего, и я не хочу, чтобы на мне осталось такое грязное пятно".**

---

*) В городе распространились слухи, будто, когда Н.Н. Пунин и Лева были арестованы, А.А. написала письмо Сталину, передала его в Кутафью башню в Кремле и обоих выпустили.

Я пошла узнать, что она написала. Лева в это время был уже арестован опять, а Николай Николаевич на свободе.

Лева — сын Анны Андреевны и Николая Степановича Гумилева; о нем и его судьбе см. в отделе "... Но крепки тюремные затворы" (стр.263).

Николай Николаевич Пунин — искусствовед, муж Анны Андреевны. О нем см. в отделе "За сценой" (примеч. 1).

**) Среди обвинений, предъявленных Леве, было и такое: мать, якобы, подговаривала его убить Жданова — мстить за расстрелянного отца. Но запомненная мною фраза свидетельствует, что Анна Андреевна процитировала мне уже второе свое письмо к Сталину, письмо не 35-го, а 38-го года, то, которое уже не оказало действия. Слухи же о Кутафьей башне и магическом спасении заключенных — были запоздалыми вестями о ее письме 35-го года. (См. *Записки*, т.2, стр. 347).

Общий вид комнаты – запустение, развал. У печки кресло без ноги, ободранное, с торчащими пружинами. Пол не метен. Красивые вещи – резной стул, зеркало в гладкой бронзовой раме, лубки на стенах – не красят, наоборот, еще более подчеркивают убожество.

Единственное, что в самом деле красиво, – это окно в сад, и дерево, глядящее прямо в окно. Черные ветви.

И она сама, конечно.

Меня поразили ее руки: молодые, нежные, с крошечной, как у Анны Карениной, кистью.

– Думаю: вешать на стену картины или уже не стоит?

– 19 сентября я ушла от Николая Николаевича. Мы шестнадцать лет прожили вместе. Но я даже не заметила на *этом* фоне. Одно хорошо: я так сильно больна, что наверное скоро умру.

– Князев умер. Святополк-Мирский собирает корки[2].

– Женщина в очереди, стоявшая позади меня, заплакала, услыхав мою фамилию.

Я попросила ее почитать мне стихи. Тем же ровным, словно бы обесцвеченным голосом она прочитала.

Одни глядятся в ласковые взоры,
Другие пьют до солнечных лучей,
А я всю ночь веду переговоры
С неукротимой совестью моей.

"Взоры" – "переговоры" почему-то звучат здесь так же пронзительно, как "странен" – "ранен" у Пушкина.

Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навылет ранен;
Дымясь из раны кровь текла.

Мне от этого "странен – ранен" всегда было больнее, чем от струи крови... И вот так же ударяют по сердцу невесть чем "взоры – переговоры".*

---

*) См. сборник *Бег времени*, М.–Л., "Советский писатель", 1965 (в дальнейшем это издание мы будем кратко именовать *БВ*); "Одни глядятся в ласковые взоры" – см. *БВ, Тростник.*

Потом она рассказала, что Борис Леонидович, в ее стихотворении, посвященном ему, был недоволен строкой:

"Чтоб не спугнуть лягушки чуткий сон"...

Лягушка ему не понравилась.*

Я ушла от нее поздно. Шла в темноте, вспоминая стихи. Мне необходимо было вспомнить их сейчас же, от начала до конца, потому что я уже не могла с ними ни на секунду расстаться. В ускользнувших от памяти местах я подставляла для сохранения ритма собственные слова – и в ответ откуда-то из глубины памяти эти негодные слова выманивали ее настоящие. Я вспомнила все, от слова до слова. Но зато, умываясь и раздеваясь перед сном, я не могла вспомнить ни одного своего шага на улице. Как я прошла сквозь Занимательную науку? Как пересекла Невский?

Я шла сомнамбулой, меня, вместо луны, вели стихи, а мир отсутствовал.

---

*) См. "Поэт" – *БВ, Тростник*. (Настоящее заглавие "Борис Пастернак"). Отсылаю читателя к отделу "Стихотворения" в конце книги, на стр. 219 *(№1)*. Там собраны те стихи, без которых мои записи могут оказаться не вполне ясными. О стихотворении "Борис Пастернак" см. также *Записки*, т.2, стр.381.

1939

22 февраля 39. *

Пришла – в старом пальто, в вылинявшей, расплющенной шляпе, в грубых чулках.

Сидит у меня на диване и курит. Статная, прекрасная, как всегда.

– Я не могу видеть этих глаз. Вы заметили? Они как бы отдельно существуют, отдельно от лиц.**

– Мальчика своего моя соседка не любит.*** Бьет его. Когда она берет веревку и принимается за него, я ухожу в ванную. Попробовала я один раз с ней говорить – она меня оттолкнула.

– Прошлую зиму я читала *Улисса*. Прочла четыре раза, прежде чем одолела. Очень занимательная книга. Правда, на мой вкус там слишком много порнографии.

– Лева уже писал свои собственные научные работы, овладел языками. Он спросил однажды у своего профессора: верно ли то-то и то-то? Профессор ответил: раз вы так думаете, значит верно... Он очень вынослив, потому что всегда привык жить в плохих условиях, не избалован. Привык спать на полу, мало есть.

---

*) За это время – с 10.11.38 по 22.2.39 г. – я встречалась с А.А. несколько раз, но записи мои пропали – навсегда или на время, не знаю.

**) Глаза у женщин в тюремных очередях.

***) Таня Смирнова – своего старшего сына, Валю.

Потом она оглядела мои книги – то есть Митины английские* – выбрала E. Browning, и я отправилась ее провожать. Сухо, бесснежно, холодно. Ветер. Она идет легкой, быстрой походкой, но улицу переходить боится и на середине Невского вцепляется мне в рукав.

Долго стоит посреди, не позволяя мне идти дальше, пугаясь моих попыток. Стоим посреди улицы, она все сильнее и сильнее вцепляется пальцами мне в плечо. Говорит:

– Я не умею переводить. Осип** однажды мне так жалобно сказал: "Меня все заставляют переводить. Все говорят: переводите, переводите! А я не умею". Вот и я не умею.

Мы долго стояли посреди улицы. Я ее уверяла тихонько: уже можно, уже можно.

– Нет, нет, еще нельзя!

26 февраля 39.

Была у Анны Андреевны – заносила билет.*** Сидит на диване, повязанная розовым линючим платком, поджав ноги в стоптанных туфлях.

– Знаете, я перечла Mme Browning. Что-то не понравилась она мне. Муж всегда тянул одну единственную ноту, но виртуозно... А она... может быть, тем она и плоха, что очень уж на него похожа.

Сняла, откуда-то с верхней полки, став ногами на диван, зеленую тетрадь. Я хотела помочь –

– Что вы, я прыгаю, как коза!

Перелистала ее.

– Много он сделал, особенно после 28 года.

Прочитала мне два стихотворения: одно о могучей нищете, которое я уже слышала раньше, а другое, неизвестное мне, о Киеве-Вие.[3]

---

*) При конфискации нашего имущества – в том числе и книг – все английские книги были почему-то оставлены мне.

**) Осип Эмильевич Мандельштам.

***) По-видимому, Анна Андреевна просила меня купить ей билет в Москву.

– Прочтите ваши.

– У меня ничего нет нового.

Вдруг показала мне на свой лоб – там какая-то с краю темно-коричневая ранка.

– Это – рак, – сказала она. – Очень хорошо, что я скоро умру.

3 марта 39, Москва.

– Что у вас? – спросила Анна Андреевна, вскочив с дивана и приблизив к моему лицу расширенные глаза.

Это в крошечной комнате Харджиева, где-то у черта на куличках, я ехала туда часа два.[4] Анна Андреевна любит и знает Москву, а я только раздражаюсь нескладицей. Ленинград своею стройностью приводит и душу в строй, а Москва выводит из равновесия.

У Николая Ивановича холодно. Анна Андреевна сидит на диване, накинув пальто на плечи. Пьем из каких-то кружек чай, а потом из них же вино.

Николай Иванович, небритый, желтый, прислушивается к шагам за стеной, – к шагам соседей.

Анна Андреевна говорит о литераторах, которые боятся с ней видеться.

– Сегодня Зина уже не пустила его ко мне, – говорит она о Борисе Леонидовиче.

Разговор о Герцене. Я долго и глупо ломлюсь в открытую дверь, доказывая, что Герцен великий писатель, великий художник. Анна Андреевна горячо соглашается.

– Конечно, он гораздо крупнее, чем Тургенев, например. Но в *Былом и думах* не люблю тех глав, где откровенности о Наташе.

Я пытаюсь спорить. Я понимаю так: в обращении Герцена к мировой демократии "по семейному делу" сказалась прекрасная наивность революционера, ощущавшего единство революции, морали, эстетики.

– Нет, не в единстве и не в наивности тут дело, – сказала Анна Андреевна. – Это время было тогда такое. В пушкинское время ничего о себе не рассказывали, а они выговаривали все, до дна.

2 мая 39, Ленинград.

Утром, гуляя с Люшей, я зашла к Анне Андреевне и уговорила ее выйти погулять.

Она слегка хромает: сломан каблук.

Идем по Фонтанке, мимо цирка, мимо Инженерного замка.

– Вам не приелся Петербург? – спрашивает она после долгого молчания.

– Мне? Нет.

– А мне очень. Даль, дома – образы застывшего страдания. И я так долго, слишком долго отсюда не уезжала.

Проходя мимо цирка:

– Тут, несколько лет назад, белыми ночами кричал тюлень...

Мимо Инженерного:

– Видите два окна с другими – цветными – стеклами? В этой комнате убили Павла.

Присели ненадолго в садике. Она говорила – восторженно – о фресках в Софийском соборе. (Видела фотографии). И добавила:

– Новгородская София тоже очень хороша.

Мы пошли ее провожать.

– Я всю Фонтанку обжила, – сказала Анна Андреевна. – Тут жила, в доме капитула, с Олей. (Это дом с колоннами недалеко от Симеоньевского моста).[5]

– Вам надо почаще ходить гулять, – сказала я, прощаясь.

Она махнула на меня рукой.

– Что вы! Разве сейчас можно гулять!

18 мая 39.

Вечером телефонный звонок: Анна Андреевна просит придти. Но я не могла – у Люшеньки грипп, надо быть дома.

Она пришла сама.

Сидит у меня на диване великолепная, профиль, как на медали, и курит.

Пришла посоветоваться... В каждом слове – удивительное сочетание твердости, достоинства и детской беспомощности.

– Вот, получила письмо. Мне говорят: посоветуйтесь с Михаилом Леонидовичем.* А я решила лучше с вами. Вы вскормлены Госиздатом.

(И выгнана им же!)

Текст письма: "Мы охотно напечатаем... Но пришлите больше, чтобы облегчить отбор".

– Вот, уже 20 лет так. Они ничего не помнят и не знают. "Облегчить отбор"! Каждый раз опять и опять удивляются моим новым стихам: они надеялись, что на этот раз, наконец, у меня окажется про колхозы. Однажды, здесь, в Ленинграде, меня попросили принести стихи. Я принесла. Потом попросили зайти поговорить. Я пришла: "Отчего же стихи такие грустные? Ведь это уже п о с л е..." Я ответила: повидимому, такая несуразица объясняется особенностями моей биографии.

Мы начинаем вместе, по памяти, перебирать стихи. Я кое-как пытаюсь слепить цикл. Она, хоть и пришла "посоветоваться", слушает меня вяло, без всякого интереса.

– Не хочу я искать, рыться... Бог с ними... Дам "Мне от бабушки-татарки" и будет с них. Да и остались одни безумно-любовные.**

Прячет издательское письмо и, увидав у меня на столике томики маленького оксмановского Пушкина, начинает говорить о Пушкине:

– Как *Пиковая дама* сложна! Слой на слое. Я это поняла впервые, когда читал Журавлев. Он изумительно читает. Своим чтением он открыл мне эту сложность.[6]

Обе мы дружно ругаем Яхонтова.

– Просто неинтересно, – говорит Анна Андреевна.

Разговор о прозе Пушкина приводит нас к Толстому. Анна Андреевна отзывается о нем несколько иронически. А потом произносит грозную речь против *Анны Карениной*:

– Неужели вы не заметили, что главная мысль этого великого

---

*) Михаил Леонидович – Лозинский. О нем см. примеч. [7]

**) "Мне от бабушки-татарки" – первая строка "Сказки о черном кольце" – *БВ, Anno Domini.*

произведения такова: если женщина разошлась с законным мужем и сошлась с другим мужчиной, она неизбежно становится проституткой. Не спорьте! Именно так! И подумайте только: кого же мусорный старик избрал орудием Бога? Кто же совершает обещанное в эпиграфе отмщение! Высший свет: графиня Лидия Ивановна и шарлатан-проповедник. Ведь именно они доводят Анну до самоубийства.

А как сам он гнусно относится к Анне! Сначала он просто в нее влюблен, любуется ею, черными завитками на затылке... А потом начинает ненавидеть – даже над мертвым ее телом издевается... Помните: "бесстыдно растянутое"?

Я не спорю. Мне слишком интересно слушать, чтобы говорить самой. Ну да, она женофилка. Когда она умолкает, я говорю только: какие великолепные страницы перед самоубийством.

– Да, да, конечно, множество гениальных страниц. Бормотание мужичка под колесами – великолепная заумь.

А в общем не любит она, видно, Толстого.

– Я очень дружна с его внучкой Соней. Она дала мне альбом, чтобы я написала. В этом альбоме спертый дух – ханжеский дух Ясной Поляны.

Лозинский принес ей *Ад*.

– Перевод замечательный, – говорит она. – Я читаю с наслаждением. Есть места натянутые, но их мало. Я сижу и сверяю.

Я, со свойственной мне способностью ляпать не подумавши, осведомляюсь, знает ли она итальянский.

Она, величаво и скромно:

– Я всю жизнь читаю Данта.

Мельком жалуется:

– Шумят у нас. У Пуниных пиршества, патефон до поздней ночи... Николай Николаевич очень настаивает, чтобы я выехала.

– Обменяли бы комнату?

– Нет, просто выехала... Знаете, за последние два года я стала дурно думать о мужчинах. Вы заметили, *там* их почти нет... *

---

*) *Там* – т.е. в тюремных очередях.

И, не принимая моих попыток объяснить это,* выпуская дым в сторону, цитирует чьи-то слова:

– "Низшая раса"...[8]

Поздно. Люшенька спит, но сильно кашляет во сне. Прошу Иду лечь не на кухне, а в детской, и иду провожать Анну Андреевну. На улице теплый вечер, глубокое небо. В этой глубине – колокольня Владимирского собора.

По дороге Анна Андреевна рассказывает мне о черепе Ярослава, привезенном сюда для исследования ("все зубы целы"), и о Киеве ("испорчен XIX веком").

Кругом множество пьяных. Кажется, что вся мужская часть улицы не стоит на ногах. Анна Андреевна рассказывает, как недавно вечером к ней по очереди пристали трое мужчин, и, когда она прикрикнула на одного, он ответил:

– Я тебе не муж, ты на меня не ори!

Идем по ее темному двору. Споткнувшись, она говорит: "не правда ли, какой занимательный двор?" Потом по лестнице, в полной тьме: ни одной лампочки. Она идет легко, легче меня, не задыхаясь, но слегка прихрамывая: каблук. У своей двери, прощаясь, она говорит мне:

– Вы знаете, что такое пытка надеждой? После отчаяния наступает покой, а от надежды сходят с ума.

29 мая 39.

Вчера вечером Анна Андреевна позвонила и вызвала меня. Я выбралась поздно. Застала ее лежащей.

– Ничего не случилось. Это я после ванны. Я здорова.

Толстое одеяло без простыни. Грубая рубаха. Мокрые волосы на подушке. Лицо маленькое, сухое, темное. Рот запал.

"Вот такой она будет в гробу", подумала я.

Но впечатление это скоро рассеялось. Она вскочила, накинула черный шелковый халат с драконом ("китайское мужское пальто"

---

*) Я сказала, что в тюрьме гораздо больше мужчин, чем женщин, поэтому в очередях больше женщин, чем мужчин.

— пояснила она) и принесла из кухни чай. К чаю был черный хлеб и какие-то соевые конфеты. Выпив чашку, она снова легла под одеяло и заговорила. У нее какая-то новая беда, и позвала она меня, видно, чтобы не быть одной. О беде не говорила, а обо всем на свете.

— Перечитываю Салтыкова. Замечательный писатель. *Современная идиллия* — перечтите. Вот, говорят, бедняга, вынужден был эзоповым языком писать. А ему эзопов язык шел на пользу, создавал его стиль.

И опять о Герцене:

— Да, вот это писатель... Вы не помните, между прочим, где он называл Николая — Дадоном? Мне для работы надо.

— А бывают и дутые репутации, например, Тургенев.

(Я в восторге от такого совпадения нелюбви.)

— Как он плохо писал! Как плохо! Помните "Стук, стук!.." Прав был Достоевский: сплошное *merci*! И как по-барски он людей описывал: внешне, пренебрежительно.

Я сказала, что понятие "русский литературный язык" совершенно условное, что у каждого свой: у Гоголя, у Лермонтова, у Пушкина, у Толстого, у Герцена. Каждый из них писал на своем, а не на русском литературном. Вспоминала, что Корней Иванович, прочитав "Меж тем как Франция среди рукоплесканий", воскликнул: "Разве это по-русски? Это на каком-то другом, может быть и прекрасном, но на другом, особом языке. Звук другой".

— Корней Иванович ошибается, — сказала Анна Андреевна. — Это ни на каком особенном, а все дело в том, что в XVI и XVII веке во Франции существовал для начал и концов прочный канон. Например, оды должны были начинаться со слова *"aussi"*. Пушкин часто переводил этот зачин. То же и "меж тем как". Это было просто нечто обязательное для торжественного начала. Уже Вольтер пародировал подобные зачины и использовал их в сатирических стихах. У меня об этом много написано — вон, все в тех ящиках лежит. Я уже и вообразить себе не могу, как воспринимается Пушкин без этого фона.*

---

*) Наблюдения Ахматовой над "этим фоном" ныне опубликованы. См. Э.Г. Герштейн и В.Э. Вацуро, "Заметки А.А. Ахматовой о Пушкине" ("Временник Пушкинской комиссии, 1970", Л., "Наука", 1972), а также

Я – о *Полтаве*.

Она на минуту прижала руки к лицу.

– Откуда он знал? Откуда он все знал?

Потом:

– Никогда больше не буду это читать!**

В коридоре топал и быстрым говорком тараторил Николай Николаевич.

Чтобы отвлечь Анну Андреевну от *Полтавы*, я рассказала ей, как видела ее впервые на вечере памяти Блока в лазурной шали.

– Это мне Марина подарила, – сказала Анна Андреевна. – И шкатулку.***

Я спросила о Мережковских.

– Недоброжелательные были люди, злые. И ничего не делали спроста. Мне в 17 году Зинаида Николаевна вдруг начала звонить, звала к себе, но я не пошла. Зачем-то я ей нужна была...

– А Розанов? – спросила я. – Я так его люблю, кроме...

– Кроме антисемитизма и половой проблемы, – закончила Анна Андреевна.

31 мая 39.

Вечером у меня сидел Геша.[10] Вдруг, без предупреждения, пришла Анна Андреевна. Ей позвонили, оказывается, из *Московского Альманаха*, просят стихи. Значит, все сомнения были напрасны. Она хочет, чтобы я отвезла. Я обещала перед отъездом непременно к ней забежать. Она выпила чаю и быстро ушла – повидимому, Геша стеснял ее.

"Ранние пушкинские штудии Анны Ахматовой" (по материалам архива П. Лукницкого). Публикация, составление и вступительная заметка В. Лукницкой. Комментарий В. Непомнящего, С. Великовского. Послесловие В. Непомнящего (*Вопросы литературы*, 1978, №1).

**) Я рассказала Анне Андреевне, как, вернувшись из тюрьмы, А.И. Любарская прочитала мне две пушкинские строки:

И первый клад мой честь была,
Клад этот пытка отняла...

сказав, что только в тюрьме по-настоящему поняла *Полтаву*.

Об А.И. Любарской см. в отделе "За сценой" (примеч. [9]).

***) Марина – Марина Ивановна Цветаева.

1 июня 39.

Сегодня я зашла к Анне Андреевне за стихами. Она лежит, лицо сухое, желтое, руки закинуты за голову. Я принесла ей котлеты, вареные яйца, торт и сирень. Да, и сирень, чтобы больше было похоже на подарок...

Скоро пришел Владимир Георгиевич.*

Она попросила его переписать стихи:

– Вы ведь знаете, где.

Он долго перелистывал тетрадь, искал, не находил. Она объясняла, где и что, очень терпеливо, стараясь не раздражаться, и все-таки в глубине голоса жило раздражение.

Владимир Георгиевич переписывал медленно. Я подала ей в постель котлету на хлебе и чашку чая. Она ела и пила лежа, не поднимаясь.

Он спрашивал ее о знаках. Она – "это совершенно все равно".

Я: – Вы к знакам равнодушны?..

ОНА: – В стихах – вполне. Такова футуристическая традиция.

ОН: – Нужно тут многоточие?

ОНА (не глядя): – Как хотите. (Мне) – К.Г.** говорил, что у меня каждая вторая строка завершается многоточием.

Владимир Георгиевич кончил переписывать и просил ее посмотреть, но она отмахнулась:

– Все равно... Неважно...

Взяв в руки тетрадь и взглянув на оригинал, я спросила:

– Тут что? Черточка? или пробел?

– Нет, но там, к сожалению, строфа... Всю жизнь я мечтала писать без строф, сплошь. Не удается.***

---

*) Гаршин (1887-1956) – патологоанатом, профессор Военно-Медицинской академии, много лет проработавший в больнице им. Эрисмана; племянник писателя Всеволода Гаршина. Подробнее о нем см. *Записки*, т.2, стр.549.

**) Коля Гумилев.

***) О каком стихотворении идет речь, я вспомнить не могу.

4 июля 39.

Вчера я с утра позвонила Анне Андреевне. "Можно придти вечером?" – "Можно, только приходите раньше, я хочу скорее увидеть вас".

Я пришла раньше.

Лежит – опять лежит, закинув руки за голову. Отворено окно в сад. Тихо и пусто. Около окна на полу стоит картина: портрет Анны Андреевны в белом платье.

– Хорошо написал меня Осмеркин. Он 29-го кончил. По-моему лицо очень похоже.

Я не разглядела лица в темноте угла.

После того, как я рассказала ей, а она мне, она взяла в руки и прочитала вслух какое-то совершенно дурацкое читательское письмо.

"Вы не увлекаетесь формой, вы пишете просто. А Пастернак увлекается формальными исканиями, создает комбинации слов..."

– Просто! – с сердцем сказала Анна Андреевна. – Они воображают, что и Пушкин писал просто и что они все понимают в его стихах.

А я подумала о Пастернаке. Сам он лучше всех сказал о своих судьях и о своей поэзии:

"... развращенные пустотою шаблонов, мы именно неслыханную содержательность, являющуюся к нам после долгой отвычки, принимаем за претензии формы".[11]

Так обстоит дело со сложностью. Что же касается простоты, то она тоже только тогда прекрасна, когда содержательна – то есть сложна. И я не верю, что человек, не понимающий Пастернака – действительно понимает Ахматову. А уж о Пушкине и речи быть не может.

6 июля 39.

Пришла и прочитала:

"Тогда я начинаю понимать".*

---

*) Строка из стихотворения "Бывает так: какая-то истома" ("Творчество") *– БВ, Седьмая книга – (№2)*.

14 июля 39.

Днем сегодня я была у Анны Андреевны. Она куда-то торопилась, так что я даже не поняла, почему по телефону она позволила мне придти. Впрочем, она боится улиц и любит, чтобы кто-нибудь ее провожал.

Чуть я пришла, мы отправились.

– Пунины взяли мой чайник, – сказала мне Анна Андреевна, – ушли и заперли свои комнаты. Так я чаю и не пила. Ну, Бог с ними.

Мы вышли в коридорчик и она начала запирать свои двери. Это оказалось длинной, сложной процедурой. Замкнув дверь своей комнаты, она, когда мы уже вышли в переднюю, вернулась и дополнительно заперла кухню.

Мы шли через занимательный вход.

– Посмотрите на эту дверь, – сказала мне Анна Андреевна и прикрыла ее. Там оказалась надпись: "Мужская уборная". – Вечером, когда эта дверь прикрыта так, что надпись видна, – к нам никто не приходит.

По Невскому я проводила ее до угла Садовой. Мы молчали – жара мешала говорить. Улицу Анна Андреевна перешла, держась за мой рукав, вздрагивая и озираясь – хотя было пустовато. Подошел ее трамвай. Я стояла и смотрела, как она поднялась по ступенькам, вошла, схватилась за ремень, открыла сумку... В старом макинтоше, в нелепой старой шляпе, похожей на детский колпачок, в стоптанных туфлях – статная, с прекрасным лицом и спутанной серой челкой.

Трамвай как трамвай. Люди как люди. И никто не видел, что это она.

20 июля 39.

Вчера весь вечер я провела у Анны Андреевны.

Она лежит. Но уверяет, что здорова.

Меня уговорила сесть в кресло, куда до сих пор садиться я остерегалась.

– У него, правда, ножки нет, – сказала Анна Андреевна, – но вы не обращайте внимания, это не беда, стоит только подставить вон тот сундучок.

Я подставила сундучок, села и после обычных – "что у вас?" – "а у вас что?" – началась, как всегда, "1001 ночь".

Я призналась, что не люблю Мопассана. И была осчастливлена ответом, что и она его терпеть не может.

– Особенно мерзки большие вещи. Да и рассказы. Я только один рассказ люблю – тот, где человек сходит с ума.[12] Противно, что он на всех портретах подает себя мускулистым, а сам издавна паралитик. Так и в рассказах.

Потом мы заговорили о Прусте, и она час целый излагала мне содержание романа *Альбертина скрылась*.

Покончив с Альбертиной, Анна Андреевна вскочила и накинула черный халат. (Он порван по шву, от подмышки до колена, но это ей, видимо, не мешает.) Пили крепкий чай с хлебом – больше нет ничего, даже сахару, и я обругала себя, что не принесла его.

На серебряных чайных ложечках выгравировано маленькое перечеркнутое *а*. – "Это я так пишу", – объяснила Анна Андреевна.

Мне захотелось поближе рассмотреть шкатулку, которая издали меня всегда занимала. Она сняла ее с этажерки. Шкатулка дорожная, серебряная, ручка входит внутрь крышки. Рядом со шкатулкой стоит маленькая трехстворчатая иконка, а рядом с иконкой камень и колокольчик. Под колокольчиком оказалась чернильница, очаровательная, тридцатых годов прошлого века. (Колокольчик – это ее крышка.) Тут же пустой флакон из-под духов.

– Понюхайте, правда нежный запах? Это – "Идеал", духи моей молодости.

Посмотрев на Анну Андреевну сбоку, я спросила:

– Вас никто не лепил?

– Есть статуэтка работы Данько, но она не у меня. Один скульптор собирался было лепить меня, но потом не пожелал: "Неинтересно. Природа уже все сделала".

Она снова легла. Начала рассказывать всякие истории, перескакивая с предмета на предмет, с имени на имя. Спросила, слышала ли я о Палладе?

– Нет.

– Даже не слышали? Это можно объяснить только вашей сверхъестественной молодостью. Она была знаменита. Браслеты на ногах,

гомерический блуд. Один раз при мне она сказала своей приятельнице: "У меня была дивная квартира на Моховой. Ты не помнишь, с кем я тогда жила?"

Я ее стала расспрашивать о Ларисе Рейснер – правда ли, что она была замечательная?

– Нет, о нет! Она была слабая, смутная. Однажды я пришла к ней в Адмиралтейство – она жила там, когда была замужем за Раскольниковым. Матрос с ружьем загородил мне дорогу. Я послала сказать ей. Она выбежала очень сконфуженная... Поразительно она умерла: ведь одновременно умерли ее мать и брат, тоже от брюшного тифа. Мне кажется, тут что-то неладное в этих смертях.

Я спросила, была ли Лариса так красива, как о ней вспоминают?

Анна Андреевна ответила с аккуратной методической бесстрастностью, словно делала канцелярскую опись:

– Она была очень большая, плечи широкие, бока широкие. Похожа на подавальщицу в немецком кабачке. Лицо припухшее, серое, большие глаза и крашеные волосы. Все.

Почему-то разговор коснулся Л.Е.

– Она раньше часто ко мне бегала. Очаровательно хорошенькая была. Джиокондовская безбровость ей очень шла. А потом она вдруг изменилась. Наклеила брови. И стала жандармом в юбке. И сразу подурнела – вы заметили?

Я упомянула о хорошей фотографии с альтмановского ее портрета, которую я видела у одной своей знакомой.

Она об Альтмане не подхватила, но, помолчав, произнесла:

– У меня всегда была мечта, чтобы муж повесил над своим столом мой портрет. Но никто не повесил – ни Коля, ни Володя, ни Николай Николаевич. Он только теперь повесил, когда мы разошлись. То есть положил на стол под стекло мою карточку и дочери.[13]

Ушла я поздно. Анна Андреевна попросила меня непременно придти завтра с утра. Глаза умоляющие.

Я приду.*

---

*) Назавтра ей предстояло идти в тюремную очередь с передачей.

21 июля 39.

Я пришла с утра, как обещала.

Анна Андреевна сидит на диване, молчаливая и прямая. Молчит — тяжело, внятно. Мы ждали какую-то даму, с которой должны отправиться вместе.

Напряжение передалось и мне. Я тоже смолкла. Не зная, чем заняться, я начала перелистывать Байрона, лежавшего сверху — толстый, растрепанный английский том.

— Не смотрите, пожалуйста, картинки, — с раздражением сказала мне Анна Андреевна. — Они ужасные. Одну я даже выдрала, видите?

— Да, они сильно оглупляют текст, — согласилась я.

— А у Байрона и без того ума не слишком много.

Пришла ожидаемая дама. Тоненькая, старенькая, все лицо в мелких морщинках. Углы узкого рта опущены. Не поздоровавшись со мною и даже, видимо, не заметив меня, она сразу сообщила Анне Андреевне о Г. *

Анна Андреевна закрыла лицо ладонями. Маленькие детские ладони.

Нам пора было идти.

— Познакомьтесь: Ольга Николаевна — Лидия Корнеевна, — вдруг сказала Анна Андреевна на лестнице.[14]

Как только мы ступили на крыльцо, мы едва не были убиты досками, которые кто-то вышвыривал из окна лестницы. Они пролетели мимо наших голов и с грохотом упали у ног. Мы вернулись внутрь и долго там стояли. Грохочущая гора досок перед дверью росла.

Наконец, швырянье кончилось. Мы перешли через гору, помогая друг другу. Вышли на Фонтанку.

А дальше все такое знакомое, как узор на обоях. С той только разницей, что с каждым разом змея все короче.**

И вот уже все позади. Но мы еще там. Мы сидим с Анной Андреевной на скамейке, более похожей на жердочку. Ольга Николаевна

---

*) О чьем-то аресте — чьем, не помню.

**) Тюремные очереди в 1939г. были несравненно короче, чем в 1937-38. Не сутками мы в них стояли, а лишь часами.

встретила знакомую и отошла. И Анна Андреевна вдруг зашептала, наклонясь ко мне:

– Ее сын – Левин брат... Он только на год моложе Левы. У него совсем Колины руки.

29 июля 39.

Вчера днем я забегала к Анне Андреевне, у нее Владимир Георгиевич и Ольга Николаевна. Пьют чай с хлебом. Я не раздевалась, присела на минутку. Они стали меня расспрашивать – я рассказала. Если я не говорю, если я одна, я плачу редко. Но говорить мне нельзя: голос обрывается в плач.

Все сделали вид, что ничего не заметили. Но Анна Андреевна, провожая меня до дверей и прощаясь, спросила:

– Когда можно к вам придти? Можно, я приду завтра?

(Я до сих пор не знаю: она непосредственно от природы добра, или это благородный ум, высокоразвитый эстетический вкус заставляет ее совершать добрые поступки?)

Сегодня она пришла вечером. У меня была Зоечка.* Мы пили чай. Анна Андреевна разговаривала легко, свободно, светски. Я спросила у нее, где и как она училась.

– В гимназии в Царском, потом несколько месяцев в Смольном, потом в Киеве... Нет, гимназию я не любила и институт тоже. И меня не очень-то любили.

В гимназии, в Царском, был со мной случай, который я запомнила на всю жизнь. Тамошняя начальница меня терпеть не могла – кажется за то, что я однажды на катке интриговала ее сына. Если она заходила к нам в класс, я уж знала – мне будет выговор: не так сижу или платье не так застегнуто. Мне это было неприятно, а впрочем я не думала об этом много, "мы ленивы и нелюбопытны". И вот настало расставанье: начальница покидала гимназию, ее куда-то переводили. Прощальный вечер, цветы, речи, слезы. И я была. Вечер кончился и я уже бежала вниз по лестнице. Вдруг меня

---

*) Зоя Моисеевна Задунайская. О ней см. примеч. [15]

окликнули. Я поднялась, вижу – это начальница меня зовет. Я не сомневалась, что опять получу выговор. И вдруг она говорит:

– Прости меня, Горенко, я всегда была к тебе несправедлива.

Скоро Зоечка ушла, Анна Андреевна, вскочив со стула, рассказала о Коле. Она была ужасно возбуждена.*

Я начала ей рассказывать о нашей детгизовской эпопее, о провокациях Мишкевича, о его штуках с моим Маяковским.

Она замахала на меня рукой:

– Не надо, не надо, не терзайте меня.[16]

Потом предложила почитать мне стихи. Прочитала: "И упало каменное слово"** и "Годовщину веселую празднуй". Спросила, какое мне больше нравится?

Я не была в состоянии ответить на этот вопрос: я была слишком счастлива. Что я дожила до этого. Что я это слышу. И слишком несчастна.

Не добившись от меня никакого толку, Анна Андреевна сказала:

– Про свои старые я знаю все сама, словно они чужие, а про новые никогда ничего, пока они не станут старыми.

Потом все было, как повелось: я иду ее провожать, на улице пьяные, при переходе она вцепляется мне в рукав и боится сделать шаг, Занимательный вход и кромешная тьма на лестнице.

– Ем я теперь только тогда, когда меня кормит Ольга Николаевна, – сказала Анна Андреевна. – Она как-то меня заставляет.

---

*) А.А. рассказала мне, что Левин приятель, студент Ленинградского Университета, Коля Давиденков – арестованный в одно время с Левой – выпущен из тюрьмы. О Николае Сергеевиче Давиденкове см. стр. 38-40 этого тома, а также примеч. [20]

**) "И упало каменное слово" – *Реквием* – начальная строка стихотворения "Приговор" (в советских изданиях печатается без названия и без ссылки на *Реквием*) – *БВ, Тростник* – (№3). "Годовщину веселую празднуй" – в окончательном варианте "Годовщину п о с л е д н ю ю празднуй" – *БВ, Тростник* – (№4).

Стихотворение "Приговор" в то время, когда я его впервые услышала от Анны Андреевны, кончалось не так, как впоследствии:

Я давно предчувствовала это:
День последний и последний дом.

9 августа 39.

Сегодня, когда я была у Анны Андреевны, я заметила на стене маленькую картинку. Очаровательный рисунок карандашом – ее портрет. Она позволила мне снять его со стены и рассмотреть.

Модильяни.

– Вы понимаете, его не интересовало сходство. Его занимала поза. Он раз двадцать рисовал меня.

Он был итальянский еврей, маленького роста, с золотыми глазами, очень бедный. Я сразу поняла, что ему предстоит большое. Это было в Париже. Потом, уже в России, я спрашивала о нем у всех приезжих – они даже и фамилии такой никогда не слыхали. Но потом появились монографии, статьи. И теперь уже все у меня спрашивают: неужели вы его видели?

Об Олдингтоне:

– Он какой-то первый ученик.

Я призналась, что меня раздражает фрейдизм, что я во Фрейда не верю.

– Не скажите. Я многого не понимала бы и до сих пор в Николае Николаевиче, если бы не Фрейд. Николай Николаевич всегда стремится воспроизвести ту же сексуальную обстановку, какая была в его детстве: мачеха, угнетающая ребенка. Я должна была угнетать Иру. Но я ее не угнетала. Я научила ее французскому языку. Все было не то. Но он полагал, что я ее угнетала. "Вы никуда не ходили с ней". Но я и сама никуда не ходила... Какие нежные письма девочка писала мне!

Я осведомилась, как обстоят дела с ее переездом.

– Вы думаете, они мне мешают? Нисколько.

Я спросила о хозяйстве.

– Домработница иногда приходит. Раз в пять дней. Варит мне курицу. А когда ее нет, я варю себе картошку. Если Владимир Георгиевич должен зайти ко мне после работы – тогда я стряпаю что-нибудь основательное, бифштекс, например.

Анна Андреевна взяла из кучи книг, лежавших в кресле, толстую тетрадь, переплетенную в черное, и протянула мне, пояснив:

— Это то, что мне вернули. Друзья отдали ее в переплет. И я теперь пишу на пустых страницах.*

Я раскрыла. Два перечеркнутых штампа:** один — 1928, другой — 1931 (кажется). Стихи переписаны на машинке. Чьи-то пометки красным и черным карандашом. Подчеркнуто: "закрыв лицо, я умоляла Бога". Подчеркнуто слово "поминальный". Перечеркнуты стихотворения: "Чем хуже этот век предшествующих", "Все расхищено, предано, продано", "Ты — отступник: за остров зеленый".***

Пока я перелистывала тетрадь, Анна Андреевна стояла у меня за стулом. Мне это было неприятно, я смотрела кое-как. Успела увидеть мне неизвестное стихотворение, кончающееся строкой:

Бессмертного любовника Тамары****

— но тут Анна Андреевна захлопнула тетрадь и снова сунула ее в кучу книг на кресле.

Не помню как, разговор коснулся стихов Николая Степановича.

— Самая лучшая его книга — *Огненный столп*. Славы он не дождался. Она была у порога, вот-вот. Но он не успел узнать ее. Блок знал ее. Целых десять лет знал.

---

*) "Вернули" — по-видимому, из какой-то редакции.

**) ?

***) Все пометки носят явно цензурный характер. "Закрыв лицо я умоляла Б о г а" — строка из стихотворения "Памяти 19 июля 1914" — *БВ, Белая стая*; "Так что сделался каждый день п о м и н а л ь н ы м д н е м" — строка из стихотворения "Думали, нищие мы" — (№22). "Чем хуже этот век предшествующих? Разве" — (№5). Последние два стихотворения, а также "Ты — отступник: за остров зеленый" не перепечатывались в Советском Союзе около пятидесяти лет и появились снова лишь в 1976 г. в книге, подготовленной к печати академиком В.М. Жирмунским: *Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы*. Вступительная статья А.А. Суркова. Составление, подготовка текста и примечания В.М. Жирмунского. Библиотека Поэта. Большая серия. Л., "Советский писатель", стр. 84, 143 и 133. (В дальнейшем это издание мы будем для краткости именовать так: *ББП*).

"Все расхищено, предано, продано" — *БВ, Anno Domini* — (№40).

****) "Здесь Пушкина изгнанье началось" — *БВ, Тростник*.

– Кстати, из дневников Блока сделалось ясно, что он очень холодно, недоброжелательно относился к людям. Там еще многое вычеркнуто – о Менделеевых, о Любе.

На прощание она сказала:

– Я прочитала книжку вашего мужа. Какая благородная книга. Я таких вещей не читаю, а тут прочла, не отрываясь. Прекрасная книга...[17] Можно, я дам ее Владимиру Георгиевичу?

10 августа 39.

В 11 часов утра я пришла к ней, как обещала. Она была готова и ждала меня. Я взяла чемодан с бельем, она сумку с башмаками. Я спросила, почему она не сошьет мешок.

– Я не умею шить.

Мы пошли к цирку. На залитой солнцем площади ждали трамвая. Лошадь везла дрова.

– Дрова, которых у меня нет, – сказала Анна Андреевна. – Их некуда положить. Весь сарай до верху занят дровами Николая Николаевича.

Я спросила, как она думает, нарочно ли Николай Николаевич делает ей неприятности.

– Нет, не нарочно. Он даже был сконфужен, когда сообщил мне, что для моих дров места нет. "Понимаете, Аня, оказывается, наши дрова занимают сарай до самого верха!"

Подошел наш трамвай. Повезло: мы обе сидели, пристроив вещи на коленях.

– Я уверена, что плавать нельзя разучиться, – сказала Анна Андреевна. (Я не сразу поняла, почему она заговорила о плаванье, но скоро догадалась.) – Я однажды приехала в Разлив и заплыла далеко-далеко. Николай Николаевич испугался, звал меня, а потом сказал мне: "Вы плаваете, как птица".

Мы в эту минуту ехали по Жуковской.

– Вот там, напротив, была лепная конская головка, – указала мне подбородком в окно Анна Андреевна. – Это единственный памятник Ленинграда, воспетый Маяковским. Тут он расхаживал,

ожидал и страдал. В день его смерти я пришла сюда. На моих глазах скалывали лепную головку.[18]

Чем ближе подъезжали мы к месту нашего назначения, тем она становилась мрачнее и молчаливее. Выйдя из трамвая, сразу вцепилась мне в рукав.

Все было, как всегда.

28 августа 39.

В последние десять дней многое надо было записать, но в спешке я не записывала. Постараюсь припомнить теперь.

Кажется, это было 14-го, днем – раздался телефонный звонок. Пока Анна Андреевна не назвала себя, я не понимала, кто говорит – так у нее изменился голос. – "Приходите". – Я пошла сразу. Анна Андреевна объявила мне свою новость еще в передней.* "Хорошо, что я так и думала", – добавила она.

Мы побыли минутку у нее в комнате. Я соображала, куда и кому звонить. Анна Андреевна была такая, как всегда, только все разыскивала в сумочке чей-то адрес, и видно было, что она все равно не найдет его. По телефону мне удалось довольно быстро условиться о шапке, шарфе, свитере. Все, кому я звонила, сразу, без расспросов, понимали все. "Шапка? Шапки нет, но не нужны ли рукавицы?" Сапоги, сказала Анна Андреевна, в сущности есть; они гостят у кого-то из друзей. Мы отправились за сапогами вместе (Анна Андреевна не могла объяснить мне, куда ехать). Долго ехали в троллейбусе. Разговоров по дороге я не помню. Дверь открыл нам высокий носатый молодой человек;** она сообщила ему свою новость; он кинулся куда-то вглубь по коридору и оттуда раздался женский вскрик: "Что ты говоришь!" Маленькая женщина провела нас в комнату, мещански убранную, потом в столовую. Анна Андреевна пыталась выпить чаю, но не могла. Оказалось – сапоги в починке. Молодой человек – Коля – обещал "выбить их

---

*) Известие о предстоящей отправке Левы на север. А.А. просила меня срочно достать теплые вещи: ей разрешили вещевую передачу и свидание.

**) Коля Давиденков.

из сапожника мигом", потом объявил мне, что завтра зайдет за мной в 8 часов утра.

Я увела Анну Андреевну. По дороге я читала ей стихи Мирона Павловича. Они ей понравились.[19]

Судьба послала нам троллейбус мгновенно. Мы сошли у цирка. На мосту Анна Андреевна сказала мне:

– Август у меня всегда страшный месяц... Всю жизнь...

Я проводила ее до дому. Обычно, прощаясь, она говорит, наклоняя голову: "Спасибо вам", а тут сказала:

– Я вас не благодарю. За это не благодарят.

Вечером того же дня, забежав в разные места, я снова приехала к ней – и не одна, а с Шурой.* Мы привезли все – все! так счастливо! И сапоги уже тоже стояли на месте. У окна шила какая-то незнакомая дама. Шура тоже принялась шить. Анна Андреевна была тихая, отсутствующая, уже погруженная в свое завтра. Делать она ничего не делала и плохо слышала то, что мы ей толковали. Вопросы задавала по нескольку раз одни и те же. Я скоро ушла – торопилась к Люше – а Шура осталась. (Я же все равно шить не умею.) Провожая меня, Анна Андреевна сказала у двери:

– А завтра мне еще надо хорошо выглядеть.

– Вы это можете?

– Я всю жизнь могла выглядеть по желанию: от красавицы до урода.

На следующее утро, ровно в 8, ко мне вбежал запыхавшийся Коля. Мы решили по дороге зайти к Анне Андреевне, чтобы сговориться точнее. Коля шагал так быстро, что я задыхалась. У Анны Андреевны был Владимир Георгиевич. Мы условились с ней о встрече там во дворе и отправились. Началась жара. Коля тащил мешок. С трамваем повезло, мы добрались быстро. Во дворе, где в прошлый раз были только я да Анна Андреевна, сейчас толпою клубилась очередь. Впрочем, здесь главный вопрос: что можно? Вещи принимала заляпанная веснушками злая девка с недокрашенными рыжими волосами. Когда пришел наш черед, я спросила: "Нужно ли писать имя и адрес того, кто передает? Или только того,

---

*) То есть с Александрой Иосифовной Любарской.

кому передают?" – "Нам нужен адрес кто передает; адрес кому – мы и без вас знаем", – злорадно ответила рыжая.

Получив квитанцию, мы решили пойти на Невский, выпить воды и на всякий случай купить для Анны Андреевны в аптеке какие-нибудь сердечные капли. У выхода со двора мы ее встретили. Она была в аккуратно выглаженном белом платье, с чуть подкрашенными губами.

– Уходите? – спросила она с испугом.

Мы объяснили, что сейчас вернемся, и вложили ей в сумочку квитанцию.

Без конца длился этот окаянно-жаркий день в пыльном дворе. Пытка стоянием. Одному из нас удавалось иногда увести Анну Андреевну из очереди куда-нибудь прочь, посидеть хоть на тумбе; другой в это время стоял на ее месте. Но она из очереди уходила неохотно, боялась: вдруг что-нибудь... Молча стояла. Мы с Колей иногда оставляли ее одну и уходили посидеть на бревнах, сваленных возле самых железнодорожных путей. Коля на моих глазах с ног до головы покрылся сажей. По лицу у него текли черные ручьи; их он отирал, как прачка, локтем. Наверное и я сделалась такая же. Он, видно, славный человек, думающий, смелый и немного смешной.[20] Рассказал мне о себе, о Леве, а начался наш разговор с таких его слов: "Главное, что я понял: никому нельзя верить и никому ничего нельзя рассказывать". Плохо, значит, понял? Или сразу почувствовал ко мне доверие, как и я к нему? Что поделаешь, мы люди, а тягу людей друг другу верить нельзя, по-видимому, разрушить ничем... Я нашла возле бревен чурбан, и Коля, отдуваясь, притащил его Анне Андреевне. Она согласилась ненадолго присесть. Я смотрела на ее четкий профиль среди неопределенных лиц без фаса и профиля. Рядом с ее лицом все лица кажутся неопределенными.

К 4 часам я непременно должна была спешить домой, к Люше, чтобы отпустить Иду, и я ушла со смятенным сердцем, оставив Анну Андреевну на Колином попечении, утешая себя мыслью, что он, видно, надежный друг.*

---

*) Люше было в то время уже 7 лет. Причина, почему я не могла оставлять ее дома одну ни на минуту, была в том, что в Митиной комнате сначала

В последующие дни она дважды заходила ко мне без звонка и не заставала дома. (Я была впопыхах, в бегах: тысяча дел перед отъездом в Москву.)

Наконец, накануне отъезда я вырвалась к ней – это было 17.VIII, а может быть, 18-го.

Она лежала. У нее болит спина и омертвели три пальца на левой ноге. (Со мной это случалось – полтора года назад – и не один раз.)

– Сейчас уже ничего, – сказала мне Анна Андреевна, – а когда я вернулась оттуда в тот день, ноги отекли так сильно, что я сняла туфли и по Занимательному двору шла в чулках.

Я осмелилась сказать:

– Надо будет вам собой заняться.

Она поморщилась.

– Только, пожалуйста, сейчас об этом не говорите.

Она поднялась, села за стол между двумя подсвечниками (свечи не горели, был ясный день) и принялась переписывать стихи.**

– Теперь прочтите, – сказала она, окончив, – и расставьте, пожалуйста, запятые.

Запятые оказались в полном порядке, но в двух местах пропущены слоги.

Желая отрезать от листка лишнюю бумагу, Анна Андреевна принялась искать разрезательный нож. Подняла крышку большой шкатулки, стоящей на столике у окна. Я подошла поближе. В шкатулке лежал гребень – тот, знаменитый, с анненковского портрета, который был на ней, когда она читала стихи памяти Блока и я видела ее в первый раз. И множество фотографий – детских. На одной рядами стоят дети; в первом ряду – девочка в коротких штанишках.

– Это я на гимнастике. В Гунгербурге. Я так хорошо помню этот день.

Потом прелестная десятилетняя наголо остриженная девочка. Удивительные очертания головы и овал лица уже совершенно ахматовский.

жил Катышев, работник НКВД, в дни отдыха от своих работ всегда пьяный, а потом поселилась его сестра – профессиональная проститутка.

**)* Кажется, я везла в Москву "Музу" – "Когда я ночью жду ее прихода"; *БВ, Тростник* – (№6).

Зато вот ей 16-17 лет – и ничего ахматовского. Совсем не она. Что-то неопределенно-девическое.

Она развязала розовую марлю. Там лежали яйца, расписанные черной тушью. Три. И четвертое – розовое с какими-то восточными буквами.

– Это мне Володя подарил. Тут нарисованы земля, небо, море. А это Левушка подарил на Пасху.

Она нашла разрезательный нож, снова увязала яйца в марлю и захлопнула шкатулку.

Потом надписала конверт.

18. VIII вечером я уехала в Москву.

26. VIII я вернулась. Времени не было ей позвонить. Но вчера, возвращаясь из библиотеки, я, нос к носу, столкнулась с Колей.

– Анна Андреевна в больнице!

– Что случилось?

– У нее воспаление челюсти.

В какой больнице – он не знал. К счастью, вечером мне позвонил Владимир Георгиевич. Мы условились, что завтра я пойду ее навещать. Но не пришлось: сегодня, пока я была в библиотеке, позвонил кто-то от ее имени и просил передать, что она уже дома.

Днем мы пошли к ней с Люшенькой. Накупили сластей, а еще взяли с собой детские книжки и игры, которыми она уже давно просила меня снабдить Валю и Шакалика.* Я покричала под окном – она жаловалась, что звонка иногда не слышит. Из-за Люшеньки мы довольно долго поднимались по лестнице. Она ждала нас на верхней площадке у своих дверей.

– Какие милые гости к нам идут! – сказала она, увидев Люшу.

В черном халате и почему-то с помолодевшим лицом. (Я вспомнила блоковское:

Оно от мук помолодело,
Вернув бывалую красу.)

---

*) Мальчики соседей, Смирновых: лет шести-семи Валя и полуторагодовалый Вова, которого почему-то называли Шакаликом. А.А. их очень любила. Когда во время войны, в эвакуации, в Ташкенте, до Анны Андреевны дошли слухи, что один из них – Вова – умер, она посвятила его памяти стихотворение "Постучи кулачком, я открою" – *БВ, Седьмая книга.* (На самом деле умер от голода не Вова, а Валя.)

У нее в комнате – Ольга Николаевна. Какая-то веселая, пополневшая – видно, появилась надежда.* Анна Андреевна привела мальчиков, и они, под Люшиным руководством, занялись кубиками, расположившись на стуле у окошка. Анна Андреевна была очень приветлива и ровна, но я видела, что она еле держится. Сидя очень прямо на диване, она рассказывала:

– Когда меня привезли в больницу, я была как из-под грузовика вынутая: подбородок опух, спина не гнется, ноги опухли...

– Мне говорил потом Владимир Георгиевич, что доктор удивлялся моему терпению. А когда же мне было кричать? До – не больно; во время операции – щипцы во рту, не крикнешь; после – уже не стоит.

Встала, наклонилась к ребятам. Терпеливо помогла им сложить из кубиков картину "Князь Гвидон и лебедь" (игра "Сказки Пушкина"). Я опять увидела, с каким напряжением она держится на ногах.

Мы простились, условившись, что на днях она приведет мальчиков к Люше смотреть волшебный фонарь.

У двери она сказала мне своим ровным, душераздирающим голосом:

– Спасибо вам.

5 сентября 39.

Я опять пошла к Анне Андреевне с Люшей, но решила Люшу оставить в саду на скамеечке – пусть подышит! – и подняться одной. У Люши с собою был *Том Сойер*. Она обещала спокойно ждать меня ровно полчаса. "А дольше не надо. Ладно, мам? Дольше не надо".

На лестнице я нагнала Ольгу Николаевну с корзиночкой: она несла Анне Андреевне обед.

Мы пошли вместе.

– Вот, несу ей еду. Сама она ничего себе не готовит, а домработница является только в выходной день.

---

*) Действительно, сына ее скоро выпустили.

Анна Андреевна лежала на своем дырявом диване, укрытая ватным одеялом.

— Вот так, когда лежу на спине, — сказала она, — чувствую себя хорошо. А чуть повернусь или встану — голова кружится.

Ольга Николаевна налила уже бульон в чашку. Но для рыбок и помидоров нужны были вилки.

"Знаете, Анна Андреевна, я нигде не могу найти вилок".

Анна Андреевна встала, поискала где-то в горке среди ваз и красивых чашек.

— Нет, тут их не может быть, я сама видела их на кухне.

Пошла в кухню, вернулась — нет.

— Пропали! Вот так у нас все, все предметы. Их надо пасти, а чуть перестанешь пасти — сейчас же исчезнут. Недавно у нас мыльница пропала. Ее все видели, Анна Евгеньевна видела ее утром до ухода на службу. Я хотела передать ее Левушке, но она исчезла. Вот так у нас все.[21]

Мои полчаса истекли, и я ушла.

9 сентября 39.

У меня грипп. Вчера меня навестила Анна Андреевна. Нарядная! На руках перстни, на груди брошь, на шее — ожерелье.

Прочитала о смерти.*

— У меня, кроме каверн во всех легких, еще, наверное, и Миньерова болезнь, — сказала Анна Андреевна. — Когда-то специалисты мечтали наблюдать хоть одного больного. Теперь таких больных много. Стоит мне двинуться, повернуть голову — головокружение и тошнота. Когда я иду по лестнице, передо мною бездна.

Я спросила, что она сейчас читает.

— Болотова.

Потом рассказала очень смешно, как чьи-то малыши, которым "Осип" ** подарил свою детскую книжку, попросили его:

— Дядя Ося, а нельзя ли эту книжечку перерисовать на "Муху-Цокотуху"?

---

*) "К смерти" — *Реквием, 8* — (№7).
**) Осип Мандельштам.

Почему-то, не помню почему, мы заговорили о человеческой бестактности. Анна Андреевна рассказала: на днях пришла телеграмма Анне Евгеньевне от Николая Николаевича. Анны Евгеньевны нет, она в отъезде.

– Я, – говорит Анна Андреевна, – позвонила брату Николая Николаевича. Тот пришел, прочитал телеграмму: Николай Николаевич, через Анну Евгеньевну, просит у брата 200 рублей. А денег у брата нет. Я ему предложила свои. Он взял и послал их от собственного имени. На другой день пришла телеграмма, адресованная мне: "Поблагодарите Сашу".

Она рассказала это смеясь.

– И со мной переписывается человек, который на прощание сказал мне: "Выдайте мне расписку, что я отдал вам все ваши вещи".

Она поднялась. Я хотела одеться и проводить ее, но она не позволила: "у вас жар".

Остановилась у двери:

– Вы заметили? Я сегодня при всех регалиях. Вот это розовый коралл. А это перстень двадцатых годов прошлого века, его мне Оленька подарила. А это – древний перстень из Индии, тут мужское имя и надпись: "Сохрани его Господь". А это (указала на брошь) – подписной Рикэ, головка Клеопатры.

16 сентября 39.

Вечером я была у Анны Андреевны.

Она лежала на диване, одетая, но под одеялом.

Оказывается, Владимир Георгиевич водил ее к доктору – по поводу пальцев ноги, – и доктор велел ей лежать.

– Это не гангрена, как опасался Владимир Георгиевич, это – травмо-неврит.

Возле нее на стуле – томик Бенедиктова, подаренный Лидией Яковлевной Гинзбург.[22]

– Знаете, у него, оказывается, были и хорошие стихи, под конец, под старость... Безо всяких Матильд.

И она прочла мне вслух "Бессонницу" и еще кусочек из какого-то стихотворения о елке: начало банальнейшее, а потом хорошо.

На электрической плитке кипел суп.

— Ольга Николаевна ушла и поручила мне за ним смотреть, — сказала мне Анна Андреевна. Встала, долила в суп воды, и попробовала включить чайник.

— Он у нас не всегда действует, а только иногда... Ну, включись, включись, ну, пожалуйста, — сказала она шепотом чайнику, наклонившись над ним.

Я тоже очень хотела, чтобы чайник включился, потому что на этот раз как умная принесла с собой печенье, сахар, пирожные.

— Теперь вы ведите здесь культурный образ жизни, — сказала мне Анна Андреевна, — а я пойду на кухню хозяйничать.

Пока ее не было, я перелистывала Бенедиктова. За одной стеной женщина рычала на ребенка, ребенок плакал. За другой слышался оживленный голос новой жены Николая Николаевича.

— Ольга Николаевна ушла в гости, и я боюсь, что мы не услышим звонка. Он у нас тоже так: то действует, то не действует.

Мы сели пить чай.

Анну Андреевну позвали к телефону: Ольга Николаевна извещала, что вернулась ночевать к знакомым, потому что, поднявшись к Анне Андреевне, не дозвонилась: звонок не производил никакого звука.

Провожая меня, Анна Андреевна вышла на площадку, чтобы проверить звонок: он звонил вовсю.

— Вот что значит жить в Доме Занимательной Науки, — сказала она.

27 сентября 39.

Я лежу. Чем-то больна — не разбери пойми.

Анна Андреевна звонила несколько раз, хотела придти. Я ее все не пускала: еще заразится. Да и сама она не совсем здорова. Но сегодня она все-таки пришла. Плохая, темная, глаза ввалились, морщины вокруг рта обозначились резче.

Николай Николаевич вернулся.

— Ходит раздраженный, злой. Все от безденежья. Он всегда плохо переносил безденежье. Он скуп. Слышно, как кричит в кори-

доре: "Слишком много людей у нас обедает". А это все родные – его и Анны Евгеньевны. Когда-то за столом он произнес такую фразу: "Масло только для Иры". Это было при моем Левушке. Мальчик не знал, куда глаза девать.

– Как же вы все это выдерживали? – спросила я.

– Я все могу выдержать.

("А хорошо ли это?" – подумала я.)

Пришла Рахиль Ароновна.[23] Анна Андреевна оживилась и заговорила о другом.

– Меня приглашают на Брюсовский юбилей. Выступить с воспоминаниями.

– Но ведь вы – как и я – его не любите, кажется? – спросила я.

– Лично с ним я не была знакома, а стихов его не люблю и прозы тоже.[24] В стихах и Гелиоглобал, и Дионис – и притом никакого образа, ничего. Ни образа поэта, ни образа героя. Стихи о разном, а все похожи одно на другое. И какое высокое мнение о себе: культуртрегер, европейская образованность... В действительности никакой образованности, перевел эпиграф к пушкинскому "Пажу": "Это возраст херувима" – вместо Керубино! Писал статьи о теории поэзии и вдруг в письме проговорился: "собираюсь прочесть *Art poétique* Буало"... Да как же смел писать, не прочитав? Образованность! А письма какие скучные. Я читала его письма к Коле в Париж. В них, между прочим, он настойчиво рекомендует Коле не встречаться с Вячеславом Ивановым: хотел, видно, сохранить за собой подающих надежды из молодых. А Вячеслав Иванов умница, великолепно образованный человек, тончайший, мудрейший. Через некоторое время Коля написал Брюсову: "Познакомился с Вячеславом Ивановым и только теперь понимаю, что такое стихи"...[25] По дневнику видно, какой дурной был человек. Одна запись: "под видом массажа крутил руки брату". А брат был болен. Гадость какая! И зачем это записывать? Он полагал, что он гений, и потому личное поведение несущественно. А гениальности не оказалось и судиться пришлось на общих основаниях.[26]

Административные способности действительно были большие. Но и только. Для русской культуры он человек несомненно вредный, потому что все эти рецепты стихосложения – вредны.

Она произнесла эту речь оживленно, энергично, из вежливости обращаясь главным образом к застенчивой и упорно молчавшей Рахили Ароновне.

Потом рассказала, что отбирает стихи для издательства, но нехотя, медленно...

— Я не в силах. Ставим с Люсей крестики. Пока что я перечеркнула все ранние. Я их терпеть не могу.*

Я машинально побарабанила рукой по стене. Она сказала:

— Моя мама, когда ей случалось сильно огорчаться, начинала стучать по столу. Стучала упорно, часами. У меня был брат студент. Мы жили на даче. Один раз соседи спрашивают: "Это ваш брат печатает?" — имея в виду прокламации.[27]

Я рассказала, что читаю Люшеньке *Русских женщин* и она плачет.

— Я в детстве их сама нашла, — отозвалась Анна Андреевна. — Мне никто никогда ничего не читал, не до меня было. Некрасов — единственная в доме книга, больше ни одной.

Заговорили о том, что на улицах сейчас мокро, темно, мрачно.

— Ленинград вообще необыкновенно приспособлен для катастрофы, — сказала Анна Андреевна. — Эта холодная река, над которой всегда тяжелые тучи, эти угрожающие закаты, эта оперная страшная луна... Черная вода с желтыми отблесками света... Все страшно. Я не представляю себе, как выглядят катастрофы и беды в Москве: там ведь нет всего этого.

Я сказала, что Киев вот веселый, ясный город, и старина его нестрашная.

— Да, это так. Но я не любила дореволюционного Киева. Город вульгарных женщин. Там ведь много было богачей и сахарозаводчиков. Они тысячи бросали на последние моды, они и их жены... Моя семипудовая кузина, ожидая примерки нового платья в приемной у знаменитого портного Швейцера, целовала образок Николая-угодника: "сделай, чтоб хорошо сидело"...

Рахиль Ароновна пошла ее провожать.

---

*) "с Люсей" — с Лидией Яковлевной Гинзбург. О ней см. примеч. [34]

15 октября 39.

За это время я была у Анны Андреевны раза три, но не записывала. А сейчас уже поздно вспоминать ее речи, того и гляди переврешь что-нибудь.

Впрочем, один эпизод запишу. Вечером на днях она и Ольга Николаевна сговаривались при мне с утра отправиться в очередь.* Анна Андреевна просила всех соседей, чтобы ее разбудили ровно в 7 – ни минутой позже. "Ольга Николаевна жалеет меня будить". Затем – дружеские препирательства о пальто, кто в чем пойдет: Анна Андреевна настаивала, чтобы Ольга Николаевна надела ее осеннее (у Ольги Николаевны с собою только летнее), а сама она наденет шубу.

– В шубе вам будет тяжело стоять, – говорила Ольга Николаевна, – лучше я надену шубу, а вы осеннее.

Но Анна Андреевна не соглашалась.

– Нет, шубу надену я. Вам с ней не справиться. Она особенная. На ней давно нет пуговиц ни одной. Новые найти и пришить мы уже не успеем. Я ее умею и без пуговиц носить, а вы не умеете. Шубу надену я.

Сегодня днем я зашла к Анне Андреевне, чтобы проводить ее в амбулаторию, к доктору, по назначению Литфонда. Зашла прямо из библиотеки, где достала для нее *Литературный Современник* 1937 года с новыми материалами о дуэли Пушкина.[28] Кроме того, я принесла ей масло.

– Теперь я обеспечена на много дней, – сказала мне Анна Андреевна. – У меня есть 4 селедки, 6 кило картошки, а вы еще и масло принесли. Пир!

Отправились. Минуты две стояли перед совершенно пустым Литейным: она боялась ступить на асфальт.

По дороге заговорили о щитовидной железе, которая у нее увеличена еще сильнее, чем у меня.

– Мне одна докторша сказала: "Все ваши стихи вот тут", – Анна Андреевна похлопала себя ладошкой по шее спереди. – Мне

---

*) В прокуратуру.

предлагали сделать операцию, но предупредили, что через месяц я буду не менее 8 пудов. Это я-то!

Опять почему-то вернулись к Киеву, и я спросила, любит ли она Шевченко.

— Нет. У меня в Киеве была очень тяжелая жизнь, и я страну ту не полюбила и язык... "Мамо", "ходимо" — она поморщилась — не люблю.

Меня взорвало это пренебрежение.

— Но Шевченко ведь поэт ростом с Мицкевича! — сказала я.

Она не ответила.

Мы дошли. Разделись. Белоснежный коридор — и очередь. Анна Андреевна назначена на 5 ч. 45 м., но, как разъяснили в очереди, это "ничего не значит". Мы сели. Перед нами 5 человек. Очередь движется медленно, по полчаса на человека.

Анна Андреевна начала меня расспрашивать о Николае Ивановиче — что рассказывает о его житье-бытье Цезарь, вернувшийся из Москвы.

— Странно ко мне относится Николай Иванович, — сказала она вдруг.[29]

— Чем же странно? Вы же знаете, что он к вам замечательно относится.

— Ко мне — да, но не к моим стихам. Ведь Николай Иванович человек фанатический и мои стихи нравиться ему не могут.

— А вы не спрашивали?

— Ну, нет, не мой черед об этом спрашивать!

Наконец Анна Андреевна вошла в кабинет. Я осталась ждать ее. Появилась она скорее других — минут через 15. Мы оделись и вышли на улицу. Тут только я заметила, что она сильно возбуждена.

— Он нашел меня совершенно здоровой. Так я и знала. Я говорила Владимиру Георгиевичу, что так и будет. Теперь на вопрос Литфонда он ответит, что я симулянтка. Уверяю вас, так и будет. Наверное его разозлило, что я показала ему записки от двух профессоров с очень серьезными диагнозами. Он три раза спросил меня: вы служите? Верно думал, что я хочу бюллетень получить. Он так понимает свою задачу: осаживать и разоблачать. Назначил мне солено-хвойные ванны, а электризации и ножных ванн, которые

рекомендовали Давиденков и Баранов, не назначил: "совершенно лишнее".[30]

Мы шли пешком: в гневе Анна Андреевна не пожелала ждать трамвая. Мне было ее до слез жаль: я близко вижу ее жизнь и понимаю, как она больна... И зачем судьбе понадобилось подвергать ее еще и этому унижению?

Мы шли молча. Я не могла изобрести, чем бы ее утешить.

Довела ее до самых дверей ее квартиры – так уж у нас заведено. На прощание она вдруг меня поцеловала.

18 октября 39.

Собираюсь в Долосы.*

В последние дни сижу над стихами Анны Андреевны. Она просила меня прочесть то, что отобрала вместе с Лидией Яковлевной.

Я просидела несколько дней, обложенная разными изданиями книг Анны Андреевны. Вдумывалась в пунктуацию, хронологию, варианты.

Мы условились, что я приду к ней сегодня утром. "Пораньше", – настаивала Анна Андреевна.

Я пришла в 12. Стучу, стучу в ее дверь – нет ответа.

– Анна Андреевна дома? – спросила я на кухне у какой-то растрепанной девочки. – Она не отзывается.

– А вы не так стучите, – ответила мне девочка. И лихо застучала в дверь к Анне Андреевне, сначала кулаками, а потом, обернувшись спиною, и каблуками.

– Аня, к вам пришли!

– Войдите.

Анна Андреевна лежала на диване серая, с больным, будто отекшим, лицом, с седыми растрепанными волосами. Я была в отчаянии. Оказывается, она не спала всю ночь и только недавно уснула! А растрепанная девочка, объяснила мне Анна Андреевна, это вовсе не девочка, а сама уже мама, Ира Пунина.

---

*) Санаторий в горах, над Ялтой, где от туберкулеза горла лечился – и вскоре умер – Мирон Левин.

Я разложила на столе стихи, книги, свои записи и начала задавать приготовленные вопросы.

Анна Андреевна отвечала, слушала, соглашалась на мои советы, но как-то без интереса. Может быть попросту сон еще не вполне покинул ее.

Я пожаловалась, что не понимаю одного стихотворения: "Я пришла тебя сменить, сестра".

— И я его не понимаю, — ответила Анна Андреевна. — Вы попали в точку. Это единственное мое стихотворение, которого я и сама никогда не могла понять.*

Я переворачивала страницы, задавала свои вопросы, и мучительно чувствовала, что все это ей в тягость.

— Пожалуйста, запишите все ваши соображения на каком-нибудь отдельном листке, — попросила наконец Анна Андреевна, — а то я все равно все забуду.

Я умолкла, нашла листок, принялась переписывать свои заметки: даты, отделы, варианты, прежние и теперешние циклы.

— Видели ли вы когда-нибудь поэта, который так равнодушно относился бы к своим стихам? — спросила Анна Андреевна. — Да и все равно из этой затеи ничего не выйдет... Никто ничего не напечатает... Да и не до того мне.

Я простилась.

— Возвращайтесь скорее, — сказала она мне на прощанье. — Я буду вас очень ждать.

15 ноября 39.

Вчера, впервые после приезда, я была у Анны Андреевны.

Лежит. Опять лежит. По ее словам, не спала уже ночей пятнадцать.

Мечется головой по подушке. Рука горячая.

— У вас жар?

— Я не мерила.

Собирается в Москву. Ей уже достали билет.

---

*) "Я пришла тебя сменить, сестра" — *ББП*, стр. 76 — (№8).

Прочитала книгу, которую я принесла ей в прошлый раз – *Смерть после полудня* Хемингуэя. Я рассказала ей, что Митя случайно раскрыл эту книгу на прилавке у букиниста, зачитался, пришел в восторг и купил – никогда прежде не слыша даже имени автора.

– Да, большой писатель, – сказала Анна Андреевна. – Я только рыбную ловлю у него ненавижу. Эти крючки, эти рыбы, черви... Нет, спасибо!

Скоро пришла Вера Николаевна, принесла еду.[31] Анна Андреевна ни до чего не дотронулась.

– Я ничего не ем и раздаю. Бессонница и не могу есть. Все раздаю, а то портится.

Она начала тяжело дышать. Попросила Веру Николаевну пойти к Пунину за камфарой.

Пунин вошел в комнату напевая. Начал расспрашивать Анну Андреевну, но петь не перестал. Вопросы вставлял в пение.

– Ти-рам-бум-бум! Что с вами, Аничка? Ти-рам-бум-бум!..

– Дайте, пожалуйста, камфару.

Он принес пузырек – ти-рам-бум-бум! – накапал в воду – ти-рам-бум-бум! – и она приняла.

Оказывается, Вера Николаевна пришла за какой-то картиной Бориса Григорьева, которую Анна Андреевна решила продать. Я вышла с ней вместе, чтобы помочь нести. Картина была тяжелая, даже вдвоем мы еле ее тащили. Какая-то малоприличная баба. Тащить было далеко, по Фурштадтской, по Потемкинской.

Вера Николаевна уже продала для Анны Андреевны несколько рисунков Бориса Григорьева по 75 р. штука.

4 декабря 39.

Вчера утром забежал ко мне на минуту Владимир Георгиевич, попросил вместо него встретить Анну Андреевну, возвращающуюся из Москвы. Телеграмма: "Выезжаю 10.50". Сам он не может уйти утром с работы.

– Я был у нее на квартире, протопил печку, прибрал немного...

Сегодня с утра, в указанное им время, я отправилась на вокзал. Но не встретила Анну Андреевну. Нет такого поезда – 10.50 из

Москвы... Вернувшись домой, я на всякий случай позвонила ей. Оказалось, она уже дома. Приехала "Стрелой". И попросила придти сейчас же.

Села на диван, рассказала свою эпопею.*

– Константин Александрович позвонил Александру Николаевичу.** Тот пил. Константин Александрович говорит: "Приходи, тут тебя одна дама ждет". Тот обрадовался, думал дама, действительно! А это оказалась я... Но он все-таки был очень любезен.

И дальше – все по порядку. Потом:

– Борису Леонидовичу очень понравились мои стихи. Он так все преувеличивает! Он сказал: "Теперь и умереть не страшно"... Но что за прелестный человек! И более всего ему понравилось то же, что и вы любите: "И упало каменное слово".***

Про Николая Ивановича сказала:

– Мы с ним всегда друг другу что-нибудь дарим... Этот раз я уж совсем не знала, что ему повезти. Но в альбоме Бориса Григорьева вижу вдруг набросок и подпись: В. Хлебников. Николай Иванович был счастлив. Подарок удался, я рада.

Мы начали вместе топить печку. Она долго не разгоралась, но все же в конце концов огонь затрещал.

– А знаете, – грустно сказала Анна Андреевна, – Шакалик не узнал меня, когда я вернулась. За две недели позабыл.

6 декабря 39.

Сегодня Анна Андреевна позвонила мне с утра: приходите сейчас. Я пошла. На мой стук в ее дверь она не ответила, как обычно, "войдите!", а сама вышла в коридорчик, ко мне, и тут, энергичным шепотом, сделала то сообщение, ради которого меня вызвала: насчет Корнея Ивановича и Жабы.

---

*) Московские хлопоты о Леве.

**) Константин Александрович Федин – Александру Николаевичу Тихонову. Об А.Н. Тихонове см. примеч. 32

***) По-видимому, А.А. прочла Борису Леонидовичу некоторые стихи из *Реквиема*, а также и другие на ту же тему.

– Предупредите отца, – сказала она.*

Потом перестала шептать и уже вслух попросила меня зайти. В комнате ожидала ее Лидия Яковлевна. Я села у окошка, а Лидия Яковлевна и Анна Андреевна, ходя друг против друга по комнате, продолжали давно, по-видимому, начавшийся между ними спор о новых гипотезах какой-то Эммы насчет убийства Лермонтова: будто это убийство было подстроено и организовано властью. Анна Андреевна настаивала на исторической и психологической невозможности такого предположения.

– Что за венецианские подосланные убийцы или отравители в России в тридцатых годах прошлого века! – говорила она.**

Говоря, она ходила по комнате, протягивала руки к огню в печке, а один раз даже опустилась перед печкой на колени и так и осталась. "Оказывается, так очень удобно стоять, а я не думала", – сказала она.

Потом вскочила и расставила на столе обильную, против обыкновения, еду: сыр, консервы и водку в графине. Но, как всегда, без конца искала повсюду вилки, ложки, блюдца и обнаруживала их в самых неподходящих местах... Водку мы пили из каких-то крошечных фарфоровых штучек, похожих на солонки.

Анна Андреевна сказала, что может пить много и никогда не пьянеет.

---

*) Жабой в разговорах со мной А.А. называла Анну Дмитриевну Радлову. 25 ноября 1939 года К. Чуковский выступил в *Правде* с критической статьей по поводу радловского перевода *Отелло* – "Искалеченный Шекспир". Эта статья и встревожила Анну Андреевну: у нее были сильные подозрения насчет связей Анны Радловой с Большим Домом. Однако дело ограничилось лишь полемикой: 19 января 1940г. *Правда* опубликовала статью А. Остужева в защиту перевода Радловой ("О правилах грамматики и законах театра"). Полемика продолжалась. К. Чуковский напечатал новую статью ("Астма у Дездемоны", см. журнал *Театр*, 1940, №2). Позднее он включил обе статьи в переработанном виде в свою книгу *Высокое искусство*.

**) "Эмма" – Эмма Григорьевна Герштейн. Разговор между Лидией Яковлевной и Анной Андреевной шел о статье Э. Герштейн "К вопросу о дуэли М.Ю. Лермонтова", опубликованной в 1940г. в №6 *Альманаха год XXII*. В последующих работах о Лермонтове Э.Г. Герштейн не высказывала более свое предположение с прежней категоричностью.

Об Э.Г. Герштейн см. примеч.[33]

Потом Анна Андреевна вдруг вытащила откуда-то тетрадку переписанных от руки стихов, очень аккуратную на вид, но первый лист отодран так грубо, что клочья торчат.

— Это я отодрала... — сказала она. — Ко мне явился недавно один молодой человек, белокурый, стройный, красивый, сказал, что хочет прочесть мне свои стихи. Я ему посоветовала обратиться лучше в Союз. Я очень быстро его выгнала... И вот — приезжаю из Москвы, а на столе — тетрадка. И на первой странице надпись: "Великому поэту России". Я кинулась на тетрадь зверем и выдрала страницу.

Я осведомилась, хорошие ли стихи, но Анна Андреевна не пожелала ответить. Она уверена, что это — меценат!*

Напрасно мы с Лидией Яковлевной пытались ее разуверить. "Он молод, — говорила я, — он может просто быть не осведомлен об особенностях вашего положения"... Анна Андреевна отвергала такую возможность, а Лидия Яковлевна меня поддерживала.

— Да и в надписи я не вижу ничего предосудительного, — рискнула я.

— Но я не желаю рядиться в чужое платье! — сердито ответила Анна Андреевна.

Скоро Лидия Яковлевна ушла, а меня Анна Андреевна удержала: "ну еще полчасика". Она снова начала рассказывать о Жабе, о ее интригах против нее самой, Анны Андреевны. Говорила она возбужденнее и громче обычного; исчезли глубокие, долгие паузы, столь свойственные ее речи; по-видимому водка все-таки и на нее действует. О Лидии Яковлевне отозвалась она так:

— Человек она вне-эмоциональный, холодноватый, но я очень ценю ее голову.[34]

Я спросила, нет ли новых стихов.

— Нет. С тех пор я ничего не могу.

Я рассказала ей о *Записной книжке* Марка Твена, появившейся в "Интернациональной Литературе". Она ее не читала. Но о *Томе Сойере* отозвалась так:

— Бессмертная книга. Вроде *Дон Кихота*.

---

*) Меценаты — зашифрованное наименование стукачей.

Заплакал Шакалик. Анна Андреевна поспешила к нему: оказывается, родители ушли в кино и он один.

Я простилась.

14 декабря 39.

Вчера днем, не находя, куда девать себя до вечера, когда должен был придти К. и назвать словами все, что я знаю и так, я отправилась на набережную и, с помощью туч и мостов приведя себя несколько в порядок, зашла к Анне Андреевне.*

На кухне мне сказали, что она дома.

Я постучала в ее дверь — ответа нет.

На кухне объяснили — "спит наверное!" и вызвались разбудить, но я не позволила. И ушла.

Было 5 часов дня. И какого! "Светало, но не рассвело".

Вечером — звонок; Анна Андреевна что-то объясняет мне насчет себя и моего неудачного посещения. Но разговора толком я не помню, потому что это было уже после сообщения К., когда я, Тамара и Шура (они пришли ко мне, они уже знали) молча сидели у меня на постели и даже Тусины попытки — не утешения, конечно, а ласкового прикосновения к боли — не удавались, и даже ее щедрая материнская улыбка не могла отогреть.** Из телефонного разговора с Анной Андреевной я запомнила только, что она просила меня зайти, и вот сегодня, вымывшись холодной водой, я, машинально, в полном оледенении, пошла к ней.

Болело все: лицо, ноги, сердце, даже кожа на голове.

Комната ее сейчас имеет еще более странный вид, чем обычно: стекло залеплено газетой, а с потолка, с верхней лампы, опускается какой-то скрученный обрывок шали. Рассказала мне свои хорошие новости: многозначительные слова. Потом про управдома: нужно заверить ее подпись на новой пенсионной книжке, и она ходила к управдому 16 раз и все не заставала его... 16 раз!

---

*) Должен был ко мне придти юрист Яков Семенович Киселев.[35] И Корней Иванович, и Яков Семенович примерно с апреля 1939 г. уже знали, что Митя погиб, я же об этом только догадывалась.

**) Тамара (Туся) — Тамара Григорьевна Габбе. О ней см. примеч.[52]

Я наверное очень плохо поддерживала разговор, потому что минут через десять она спросила:

– Вы, кажется, чем-то расстроены?

Я выговорила – не заплакав.

– Боже мой, Боже мой, – повторяла Анна Андреевна, – а я не знала... Боже мой!

Мне было пора за Люшей к учительнице. Я ушла.

15 декабря 39.

Сегодня днем, когда я собиралась в библиотеку, вдруг звонок – и пришла Анна Андреевна.

– Ходила сюда поблизости получать пенсию и вот забрела, – объяснила она. – Сегодня утром я застала наконец управдома. Я ему протягиваю пенсионную книжку и прошу заверить мою подпись, а он мне говорит: "Распишитесь, пожалуйста, сначала на отдельном листке". Почему? Зачем? Что же, он думает, в книжке моя подпись поддельная? Я пришла в бешенство. Я вообще хорошо отношусь к людям, но тут я очень обиделась. Я ему написала свое имя на бумажке и сказала: "Вы, по-видимому, хотите продать мой автограф в Литературный Музей? Вы правы: вам дадут за него 15 рублей". Он смутился, разорвал бумагу. Потом спрашивает: "Вы, кажется, были когда-то писательницей?"

Я послала Иду за папиросами, потом Ида подала нам чай. Анна Андреевна много курила, рассказывала про мальчиков Смирновых. Шакалик уже говорит "спасибо". Валя (она называет его "мой Валя") любит слушать, когда ему читают. Она читала ему вслух Вальтера Скотта и, окончив, сказала: "Это был замечательный писатель". Он сразу начал крутить перед собою руками и дудеть: "Значит у него была машина?"

– А я хочу не Вальтера Скотта, – сказала я. – И не буду крутить руками и дудеть.

Она прочитала мне еще раз о смерти, а потом никогда мною неслыханное "Водою пахнет резеда".*

---

*) "Водою пахнет резеда" – строка из стихотворения "Привольем пахнет дикий мед". См. *ББП*, стр. 191 – (№25).

И опять у меня от этого настоя горя ощущение такого счастья, что нету сил перенести. Я понимаю Бориса Леонидовича: если это существует, можно и умереть.

1940

13 января 40.

Сегодня, только что, была у Анны Андреевны впервые после своего возвращения из Детского.* Слухи о почестях, ей оказываемых, достигали моих ушей и там.**

— Ну, что вы слышали обо мне? — был ее первый вопрос.

Говорит, что чувствует себя плохо, еще хуже чем раньше, бессонница, и по ночам немеют то ноги, то голова. Но выглядит, по-моему, чуть получше. Сидела на диване, в пальто, причесанная, и в волосах — ее знаменитый гребень.

Все слухи оказались справедливыми. Действительно, ей уже прислали из Москвы 3 тысячи единовременно, и ежемесячная пенсия повышена до 750 р. Зощенко с каким-то листом, присланным из Москвы и уже подписанным кое-кем (Лебедев-Кумач, Асеев), ходит в Ленсовет просить для нее квартиру. В Союз принимали ее очень торжественно.*** За ней заехали секретарша и член правления — Лозинский. Председательствовал Слонимский.

— Я его по привычке все еще называю Мишей. Он как-то очень долго был маленьким... Миша сказал, что я — среди собравшихся и предложил приветствовать меня. Все захлопали. Я встала и по-

---

*) Я уезжала в Детское, в Дом Творчества, чтобы написать *Софью Петровну.*

**) После какого-то звонка "сверху".

***) Это было 5-го января 1940г.

клонилась. Потом говорил Михаил Леонидович. Он ужасные вещи говорил. Представьте себе: дружишь с человеком 30 лет, и вдруг он встает и говорит, что мои стихи будут жить, пока существует русский язык, а потом их будут собирать по крупицам, как строки Катулла. Ну что это, правда! Ну можно ли так! Народу было много, и все незнакомые. Потом Брыкин доложил про малую серию поэтов. И еще про другое мое издание.

Я заговорила о квартире. Я так хочу ей человеческого жилья! Без этих шагов и пластинок за стеной, без ежеминутных унижений! Но она, оказывается, совсем по-другому чувствует: она хочет остаться здесь, с тем, чтобы Смирновы переехали в новую квартиру, а ей отдали бы свою. Хочет жить тут же, но в двух комнатах.

– Право же, известная коммунальная квартира лучше неизвестной. Я тут привыкла. И потом: когда Лева вернется – ему будет комната. Ведь вернется же он когда-нибудь...

Меня обрадовала эта надежда.

Она налила мне и себе чай – не чай, а просто горячую воду, и придвинула клюквенное варенье.

– У меня уже недели три нету чая, – объяснила она.

Рассказала о Шакалике. Он вдруг заговорил и говорит все. Вчера, когда погас свет, закричал: "Боюсь, где моя мама".

– И меня уже называет "Андреевна". А раньше звал: "Кани". Понимаете? Направление, куда: "К Ане". Это для него было мое имя. Сейчас он простужен, сидит в кровати и теребит *Басни* Крылова. Это его любимая книга. Я ему читаю. Он понимает – а ведь ему всего полтора годика.

– А сейчас ко мне придут из *Ленинграда*. Я приготовила для них "Художнику" и "Тот город, мной любимый с детства".* Целые дни теперь приходят и приходят изо всех редакций. Вчера пришел Друзин с секретаршей и каким-то военным. У меня в эту минуту на руках был Шакалик. Я отдала его Тане и в шутку сказала ей

---

*) А.А. дала журналу *Ленинград* не два стихотворения, а шесть. В №2 за 1940 год появились: "Одни глядятся в ласковые взоры"; "От тебя я сердце скрыла"; "Художнику"; "Воронеж" и "Здесь Пушкина изгнанье началось" (*БВ, Тростник)*. Стихотворение "Тот город, мной любимый с детства" *(БВ, Тростник)* в этом номере журнала не появилось.

шепотом: "...........". * Она поверила. Правда, было очень похоже... Впрочем, я клевещу. Друзин был само великодушие и поощрение. Оказывается, он пострадал когда-то за акмеизм. Вы не знали? Я тоже. Он прибавил, что у акмеистов есть заслуги: они хорошо изображали русскую природу. Какая любезность, не правда ли?[36]

Рассказ ее был прерван приходом барышни из журнала *Ленинград*. Барышня всеми порами источала мед и патоку. Анна Андреевна вручила ей приготовленные стихотворения. А когда та ушла – вдруг смолкла и надела очки:

"Звезды неба"

Не могу видеть. Словно соучаствуешь в убийстве.**

Когда я несколько очухалась, мы с огорчением поговорили о предстоящем изъятии электрических приборов.

– А у меня как раз появился новый, – сказала Анна Андреевна, – электрическая зажигалка-пепельница. Это мне Владимир Георгиевич подарил. И вот еще, смотрите, какую коробочку. Из ляпис-лазури. Это пудреница. Мне приятно, что это новые, теперешние вещи. А то мы все живем среди вещей каких-то давних эпох.

Я сказала ей, что ей следовало бы поехать отдохнуть в Дом Творчества, в Детское.

– Нет, я там не отдохну. Царское для меня такой источник слез...

17 января 40.

Луна.

От этого город и его беда еще страшнее.

Но спасибо луне.

---

*) "За мной пришли". В оригинале пропуск: я не решилась написать эти слова.

**) А.А. написала на листке стихотворение "С Новым Годом! С новым горем!" – дала мне прочесть, и потом, по своему обыкновению, сожгла над пепельницей – (№9).

Напоминаю читателю, что 30 ноября 39г. началась война с Финляндией. Стихотворение опубликовано через 35 лет заграницей в сборнике *Памяти Анны Ахматовой*, Paris, YMCA-PRESS, 1974 (в дальнейшем это издание мы будем для краткости именовать так: *Памяти А.А.*) – Примеч. 1975г.

Сегодня Анна Андреевна позвонила мне и попросила придти к ней. По правде сказать, просьба довольно безжалостная, ибо мороз $-35°$. Но я надела валенки, обмоталась платком и пошла. И луна благополучно привела меня к ней сквозь тьму.*

Я принесла ей полпачки чая. Она обрадовалась и сразу включила чайник.

Она сильно обеспокоена тем, что Гослитиздат прислал ей договор на 4 тысячи строк, в то время как и "Издательство Писателей" взяло у нее сборник стихов.

Начала искать повсюду договор: на кресле и под креслом с бумагами.

– Приезжала ко мне директорша Гослитиздата, Кр. По-моему стерва.

Я громко рассмеялась. Я очень люблю слышать такие слова из ее уст.

– Да, да, не смейтесь, стерва. Я ей говорю: "Стихи мои уже отданы в "Издательство Писателей". А она: "Это не беда, лишь бы материал был другой". Какой же материал, Господи!

– Судя по этой реплике, она скорее дура, – сказала я.

– Целые дни теперь звонит телефон, – продолжала Анна Андреевна. – Звонят изо всех журналов. Звонил один человек, назвал свою фамилию, но я не расслышала кто и откуда. Просит стихи. Отвечаю: я уже все раздала. Молчание. И потом: "Знаете что? Поищите т а м !"

Я посоветовала ей поговорить по поводу "Издательства Писателей" и Гослита с Юрием Николаевичем Тыняновым.

Договор вдруг нашелся. Я глянула: самый обыкновенный.

Анна Андреевна заговорила о Льве Пушкине:

– Знаете, сын Модзалевского выяснил, что многие непристойные эпиграммы Пушкина в действительности принадлежат Льву. А если они и пушкинские – я бы все равно их в однотомниках не печатала. И *Гавриилиаду*. Раньше эта поэма имела антирелигиозный смысл, а теперь – один только непристойный. Ее надо печатать в академическом издании и нигде более.

---

*) Город, по случаю войны с Финляндией, был затемнен.

Затем – о мемуарах Смирновой.

– Очень бабья книга... Эта дама, оказывается, была совсем не такая, какой они все ее себе представляли... Последняя глава – нечто ужасное; она писала ее уже душевнобольная. Это эротический бред.[37]

Мы заговорили о воспоминаниях Крандиевской, напечатанных нынче в *Звезде.*[38] Я сказала, что они мне очень нравятся.

– Нет, нет, я не согласна. Барские воспоминания. Она всегда была изнеженной, избалованной барыней – такой и осталась: пяти тысяч в месяц ей мало... Помните то место у нее в воспоминаниях, где она пишет о голодном мальчике, которого они приютили? Он садился за стол за 20 минут до обеда! Какая гадость так писать о голодном ребенке! Они все смеялись над ним, потому она этот эпизод и запомнила. Сразу видно, что ее дети никогда не голодали...*

Дневник С. – вот это замечательная книга. Умный человек и правдивый. Все, что он пишет, – правда. И пишет старый уже человек, ото всего отрешившийся.**

Я спросила, знала ли она Розанова.

– Нет, к сожалению, нет. Это был человек гениальный. Мне недавно Надя, дочь его, говорила, что они все любили мои стихи и спрашивали у отца, знал ли он меня. Он не знал меня и, кажется, стихов моих не любил, зато очень любил Мариэтту Шагинян: "Девы нет меня благоуханней". А я у него все люблю, кроме антисемитизма и половой теории.

Я опять подивилась совпадению наших нелюбвей. И пересказала один розановский рассказ в *Опавших листьях*, который всегда возмущал меня: как пожилая дама, мать, посоветовала студенту, влюбленному в ее младшую дочь, жениться лучше на старшей, ибо была озабочена "зрелостью" старшей дочери. Студент послушался (экая скотина!), женился на старшей, и теперь дама нянчит внука, здоровяка...[39]

---

*) "Сергунька поправился, порозовел. Обычно минут за двадцать до обеда, когда уже накрывали на стол, он уже усаживался на свое место с ложкой в руке и терпеливо ждал еды". (*Звезда*, 1939, №9, стр.171).

**) Думаю – *Дневник* Суворина, но уверенной быть не могу.

Анна Андреевна махнула рукой.

– Ничего этого не было. Ни дамы, ни дочерей, ни внука. Все это он сам, конечно, выдумал, от слова и до слова... Гениальный был человек и слабый. Мне жаль было его, когда он, потом, голодал в Сергиеве. Мне рассказывали: ходил по платформе и собирал окурки. Я ничем не могла ему помочь, потому что сама голодала клинически.

Ее сильно беспокоит, кому дадут написать предисловие к книжке "Издательства Писателей". Боится, не Волкову ли, какому-то специалисту по акмеистам.

– Он всегда громил нас. Я ему сама в лицо скажу: писать надо только о том, что любишь.[40]

"Кубок горя".*

23 января 40.

Вчера мне позвонил Владимир Георгиевич, сказал, что Анна Андреевна совсем расклеилась, не ест, не пьет, что на днях к ней должны прислать из издательства за рукописью, а рукопись не готова. Я взялась устроить срочную допечатку на машинке. Вечером пошла к ней. Луна на этот раз не исполнила своих обязанностей и я сильно разбила себе голову в Занимательном входе: там ни одной лампочки.

Анна Андреевна дурно выглядит, желтая, серая. На секунду улыбнулась, когда я протянула ей пакетик с сахарным песком: "теперь сахар есть – а чай зато кончился".

– Я совсем не сплю. И все ночи напролет пишу. Все уже отмерло – не могу ни ходить, ни спать, ни есть, а это почему-то осталось.

И прочитала: об иве, о стихах, о портрете, об изумрудах.**Читала она спокойно, своим ровным глубоким голосом, не задыхаясь.

---

*) Название, придуманное Анной Андреевной для какого-то из ее стихотворных циклов. Для какого – не помню.

**) Думаю, этот перечень расшифровывается следующим образом: "Ива" – (№10) ; "Мне ни к чему одические рати" – (№11) ; "Когда человек умирает" – (№12) ; "Подвал памяти" – (№24) , то есть: *БВ, Тростник; БВ, Седьмая книга; БВ, Тростник* и *ББП*, стр. 196. В стихотворении "Подвал памяти" существуют разночтения: см. том второй моих *Записок*.

Я совсем потеряла дар речи. Наверно у Анны Андреевны никогда не было такого бестолкового слушателя. О стихах – чудо.

– Я давно к этому подбиралась, – сказала Анна Андреевна, – да все было не подойти.

Я стала уговаривать Анну Андреевну дать мне для перепечатки и эти стихи, новые, чтобы они успели войти в ее книгу.

Она согласилась на три.**

Кто-то постучался в дверь.

– Это Александр Николаевич, – сказала Анна Андреевна, – накинем на лампу абажур. Я сегодня не в авантаже.

Вошел высокий молодой человек. Анна Андреевна усадила его рядом с собой на диван. Они разговаривали о каких-то эрмитажных делах.[41] Я вломилась в разговор и попросила Анну Андреевну устроить меня пока переписывать. Она долго искала свою тетрадь на кресле и под креслом, потом искала бумагу. Указала мне в тетради страницы с новыми стихами и попросила переписать заодно несколько старых, давних, "которых когда-то нельзя было": "Песенку", "Я и плакала и каялась", "Я не любви твоей прошу", "Небо бело страшной белизною".***

– Только поставьте, пожалуйста, знаки сами, я не умею... Даты? О датах, пожалуйста, не спрашивайте. О датах со мной всегда говорят как с опасно больной, которой нельзя прямо сказать о ее болезни.

Переписав, я простилась. Она сказала, что хочет выйти из своей берлоги, и завтра, когда машинистка мне все перепишет, сама придет ко мне за стихами.

Сегодня, получив все у машинистки и вычитав, я звонила Анне Андреевне и в 2 и в 3 – спит. В 5 часов мы с Люшей сами отнесли ей стихи и передали их на кухне Владимиру Георгиевичу: он сказал, что Анна Андреевна нездорова и только что уснула.

Когда я слышала впервые стихотворение "Мне ни к чему одические рати", последнюю строку А.А. прочла так:

На радость вам и н а м у ч е н ь е мне.

**) Не согласилась предложить редакции "Подвал памяти".

***) "Песенка" ("Бывало я с утра молчу") – *БВ, Anno Domini*; "Я и плакала и каялась" – *ББП*, стр. 53; "Я не любви твоей прошу" – *БВ, Четки*; "Небо бело страшной белизною" ("Белая ночь") – *ББП*, стр. 281.

– Что с ней?

– Она совершенно не умеет бороться со своей неврастенией. Обратила ночь в день, и ей, конечно, от этого плохо. К тому же ничего не ест. Да и ничего не налажено. Может быть, удастся уговорить Смирновых давать ей обед.

(Все так; но спрашивается: почему, если каждую ночь человек совершает самую нужную и самую трудную работу в мире – и после этого, естественно, разбит и истерзан, – это состояние надо называть: "не умеет бороться со своей неврастенией"?)

31 января 40.

Сегодня Анна Андреевна позвонила мне с утра: приходите! Она была причесана, одета, на шее ожерелье (темно-синее, почти черное).

Топится печка.

Я спросила – встала ли она рано или совсем не спала?

– Совсем не спала.

Длинный разговор о Пушкине: о Реквиеме в *Моцарте и Сальери.* *

Потом о Пушкинских темах: Европа, во-первых, и Петербург, во-вторых.**

Объяснила мне, как пушкинистка, кого он имел в виду, когда писал о Европе.***

---

*) Пушкин ни при чем, это шифр. В действительности А.А. показала мне в этот день свой, на минуту записанный, *Реквием*, чтобы проверить, все ли я запомнила наизусть. Тогда в цикл входили следующие стихи: "Уводили тебя на рассвете", "Тихо льется тихий Дон", "Показать бы тебе, насмешнице", "Семнадцать месяцев кричу", "Легкие летят недели", "Приговор", "К смерти", "Хор ангелов великий час восславил", "Узнала я, как опадают лица"... Входило ли уже "Нет, это не я, это кто-то другой страдает" – я припомнить не могу; и в "Тихом Доне" не вполне уверена.

**) Прочитала мне, кроме *Реквиема*, два стихотворения: "Не столицею европейской" и, по-видимому, "Это было, когда улыбался" – (№13). (Тогда второе в *Реквием* не входило: А.А. включила его в цикл только в 1962г. Строки: "Это было, когда улыбался / Только мертвый, спокойствию рад" я запомнила иначе: "б е с ч у в с т в и ю рад").

***) Объяснила, что ее стихотворение "Не столицею европейской" посвящено О. Мандельштаму.

Потом наступило молчание. Мирно и уютно потрескивала печка.**

Идти прямо домой у меня не было сил. Через некоторое время я обнаружила себя на Марсовом Поле.

4 февраля 40.

Сегодня у меня большой день. Я читала Анне Андреевне свои исторические изыскания о Михайлове.***

Ранним вечером ее проводил ко мне Владимир Георгиевич. Проводил и ушел.

В России оно не напечатано до сих пор. В 1974 г. оно было опубликовано в Париже в сб. *Памяти А.А.* не совсем в том виде, в каком я его в свое время запомнила. Привожу тогдашний вариант:

Не столицею европейской
С первым призом за красоту –
Душной полночью енисейской,
Пересадкою на Читу,
На Ишим, на Иргиз безводный,
На прославленный Аксабар,
Пересадкою в лагерь Свободный,
С трупным запахом грязных нар, –
Показался мне город этот
Тою полночью голубой,
Он, воспетый первым поэтом,
Нами грешными – и тобой.

В парижском сборнике стихотворение озаглавлено "Немного географии". Когда это заглавие возникло, не знаю; во всяком случае гораздо позднее, чем были написаны стихи; неожиданно я столкнулась с этим же названием в книге П. Лукницкого "Путешествие по Памиру" (М.,1955). Так названа одна из подглавок.

А.А. и писатель Павел Николаевич Лукницкий (1900-1973) были знакомы с 1924 года; об их дружбе, о дневниковых записях Павла Николаевича см. публикацию В. Лукницкой и В. Непомнящего в журнале *Вопросы Литературы*, 1978, №1, стр.185.

**) Когда я запомнила все стихи, А.А. сожгла их в печке.

***) Шифр. Читала *Софью Петровну*.

Повесть об М. Михайлове была мною задумана в 37-м году. Толчком для этого замысла послужила заметка Герцена под названием "Убили", – о гибели поэта на каторге. Я начала собирать материал. Но о Михайлове я так и не написала, а написала *Софью Петровну* – повесть о 1937 годе "впрямую". О ней и идет речь...[42]

Я читала долго и, читая, все время чувствовала стыд за плохость своей прозы. Читать – ей! Зачем я это затеяла? Но податься было уже некуда, я читала.

Первую половину, мне кажется, она слушала со скукой.

Я сделала перерыв, мы попили чайку.

Вторую половину она слушала внимательно, не отрываясь, и, как мне казалось, с большим волнением. В одном месте, мне кажется, она даже отерла слезы. Но я не была в этом уверена, я читала, не поднимая глаз.

Все это длилось вечность. Длинная, оказывается, история!

Когда я кончила, она сказала: "Это очень хорошо. Каждое слово – правда".

В половине третьего ночи я отправилась ее провожать.

Путешествие на этот раз было трудным, словно по кругам ада.

Сначала Анна Андреевна не могла спуститься с нашей лестницы. Ей почему-то представилось, что ступеньки начинаются от самых дверей квартиры, и я никак не могла убедить ее пересечь лестничную площадку. Наконец, я свела ее с лестницы.

Когда мы пересекали Невский, совершенно в эту пору пустой, и только что ступили на мостовую, Анна Андреевна спросила у меня, как всегда: "Теперь можно идти?" – Можно, – сказала я, и мы сделали еще два шага к середине. – А теперь?! – вдруг закричала она таким высоким, страшным, нечеловеческим голосом, что я чуть не упала и не сразу могла ей ответить.

Наконец, по Фонтанке, мы дошли до ее ворот. Они оказались запертыми. Я тщетно толкалась в них плечом. Вглядывались сквозь ограду в темноту двора, отыскивая дворника. Никого. И вдруг оказалось, что калитка ворот отперта.

Мы благополучно миновали Занимательный вход, а у нее на лестнице – снова мученье. На площадках она не верит, что это площадки, хочет идти не как по ровному месту, а как по ступенькам, и пугается.

Наконец, дверь ее квартиры. Она вставила ключик в скважину, и тогда оказалось, что дверь не заперта. Это ее тоже испугало. Мы вошли вместе. Она шла по коридору, на ходу зажигая свет – в ванной, в кухне. Я доставила ее до дверей комнаты.

— Спасибо, что вы терпеливо все выслушали, — сказала я ей на прощание.

— Как вам не стыдно! Я плакала, а вы говорите — терпеливо.

Я ушла.

8 февраля 40.

Снова я получила подарок из тетради с замочком.

Вчера, открыв свою тетрадь, Анна Андреевна прочитала мне "Клеопатру".* Прочитала, с трудом разбирая карандаш.

— "Это хорошо?" — Да! Очень! — "А я еще не знаю. Я не сразу, только через некоторое время пойму... Хотите вина?"

Мы пили вино из хрустальных рюмок со смешными ручками и ели пирожные на тарелках времен Директории, и я про себя сквозь все повторяла только что услышанные строки. Мне даже разговор с самой Анной Андреевной был помехой, хотелось остаться со стихами наедине. "Вот, говорят, что на этих тарелках не надо есть, надо их беречь, но я не люблю беречь вещи... Правда, прелестные? Рисунки в стиле Давида".

Она предложила почитать мне стихи — не свои, чужие. Обыкновенно я люблю слушать из ее уст чужие строки; произнесенные с ее интонацией, они звучат по-новому. На этот раз, правда, чужих стихов мне не хотелось — хотелось "Клеопатру" — но я, конечно, не спорила. Она прочитала наизусть Федора Кузьмича (великолепен),** Цветаеву (нет, мне не понравилось, слишком уж все до конца выговорено — а, может быть, я просто не привыкла); Кузмин хорош, но для меня слишком затейлив.

Я сказала, что поэты очень похожи на свои стихи. Например, Борис Леонидович. Когда слышишь, как он говорит, понимаешь совершенную естественность, непридуманность его стихов. Они — естественное продолжение его мысли и речи.

— Борис Леонидович в самом деле очень похож, — согласилась Анна Андреевна. — А я? Неужели и я похожа?

---

*) *БВ, Тростник* — (№14).

**) Федор Кузьмич — поэт Федор Сологуб.

— Вы? Очень.

— Это нехорошо, если так. Препротивно, если так. Но вот Блок был совсем не похож на свои стихи, и Федор Кузьмич тоже. Я хорошо знала Федора Кузьмича и очень дружила с ним. Он был человек замечательный, но трудный.

Я сказала, что помню его только стариком.

— Он всегда выглядел стариком, начиная с 40 лет, — объяснила Анна Андреевна.

Я начала расспрашивать о Вячеславе Иванове, о башне.

— Это был единственный настоящий салон, который мне довелось видеть, — сказала Анна Андреевна. — Влияние Вячеслава было огромно, хотя его стихи издатели вовсе не стремились приобретать. Вячеслав умел оказывать влияние на людей, и верным его учеником в этом смысле был Макс... В Москве ко мне как-то зашла одна девица. Из породы "архивных девушек" — слышали этот термин? Это я его ввела... Она с восторгом, захлебываясь, рассказывала мне о Максе. "Он был в Москве... мы все собрались... и он говорил..." — Он говорил одной, — "Вы — Муза этого места", другой: — "Вы — Сафо"... — "Откуда вы знаете?" — закричала девица, ошеломленная моей догадливостью... — "Я это сейчас придумала", — ответила я. Дело в том, что Макс, как и Вячеслав, обожал обольщать людей. Это была его вторая профессия. Приезжала в Коктебель какая-нибудь девица, он ходил с нею по вечерам гулять по берегу. — "Вы слышите шум волн? Это они в а м поют". И девица потом всем рассказывала, что Макс объяснил ей ее самое. Она поклонялась ему всю жизнь, потому что ни до, ни после с ней никто так не говорил, по той весьма уважительной причине, что она глупа, бездарна, некрасива и пр.

Вячеслав, конечно, был тоньше. Но ему тоже нужны были свои обольщенные. Он тоже умел завлекать. Он и на мне пробовал свои чары. Придешь к нему, он уведет в кабинет: читайте! Ну что я тогда могла читать? 21 год, косы до пят и выдуманная несчастная любовь... Читаю что-нибудь вроде: "Стройный мальчик, пастушок".*

---

*) "Над водой" — *ББП*, стр.49.

Вячеслав восхищен: со времен Катулла и пр. Потом выведет в гостиную — читайте! Прочтешь то же самое. А Вячеслав обругает.

Я быстро перестала бывать там, потому что поняла его. Я тогда уже была очень избалована и обольщения на меня мало действовали.

Видя, что Анна Андреевна в повествовательном духе, я спросила ее о Зинаиде Николаевне. Была ли та красива?

— Не знаю. Я видела ее уже поздно, когда она была уже вся сделана. На вечер "Утра России" была приглашена я и они трое. Я там оскандалилась: прочитала первую строфу "Отступника",* а вторую забыла. В артистической, конечно, сразу все припомнила. Ушла и не стала читать.** У меня в те дни были неприятности, мне было плохо... Зинаида Николаевна в рыжем парике, лицо будто эмалированное, в парижском платье... Они меня очень зазывали к себе, но я уклонилась, потому что они были злые, — в самом простом, элементарном смысле слова.

Я спросила про Ларису.***

— Я была как-то в "Привале" — единственный раз — и уже уходила. Иду к дверям через пустую комнату — там сидит Лариса. Я сказала ей "до свиданья!" и пожала руку. Не помню, кто меня одевал — кажется, Николай Эрнестыч**** — одеваюсь, вдруг входит Лариса, две дежурные слезы на щеках: "Благодарю вас! Вы так великодушны! Я никогда не забуду, что вы первая протянули мне руку!" — что такое? Молодая, красивая девушка, что за уничижение? Откуда я могла знать тогда, что у нее был роман с Николаем Степановичем? Да и знала бы — отчего же мне не подать ей руки?

В другое время, уже гораздо позже, она приходила ко мне исповедоваться. Я была тогда нища, голодна, спала на досках — совсем Иов... Потом я была у нее однажды по делу. Она жила тогда в Адмиралтействе: три окна на Медного Всадника, три на

---

*) "Ты — отступник: за остров зеленый" — *ББП*, стр.133.

**) Очень может быть, что А.А. имеет в виду свое выступление в Зале Тенишевского Училища в конце 1917г. Там она выступала совместно с Зинаидой Николаевной Гиппиус, Дмитрием Сергеевичем Мережковским и Дмитрием Владимировичем Философовым.

***) Лариса — Лариса Михайловна Рейснер.

****) Радлов.

Неву. Домой она отвезла меня на своей лошади. По дороге сказала: "Я отдала бы все, все, чтобы быть Анной Ахматовой". Глупые слова, правда? Что – все? Три окна на Неву?

– И подумать только, что когда мы все умрем, – закончила Анна Андреевна – и я, и Лили Юрьевна, и Анна Дмитриевна – историки во всех нас найдут что-то общее, и мы все – и Лариса, и Зинаида Николаевна – будем называться: "женщины времени..." В нас непременно найдут общий стиль.

Я простилась.

– А знаете, – сказала мне Анна Андреевна уже у дверей, – в тот вечер, когда вы провожали меня и вошли вместе со мной в квартиру, – Николай Николаевич вообразил, что у меня было сильно романтическое приключение.

– Вы его разуверили?

– Я сказала, что это были вы.

– Он поверил?

– Ну, это уж мне все равно.

15 февраля 40.

Вчера вечером, когда я уже была одета, чтобы ехать к Шуре – позвонила Анна Андреевна и попросила придти. – "Я могу только на часок", – сказала я, растерявшись. – Ну, приходите хоть на часок.

Я пришла. Она сидела в шубе у топящейся печки. Перешла, хромая – все тот же сломанный каблук! – на диван и усадила меня рядом.

По моей просьбе прочитала вторично "Клеопатру". Я не расслышала в прошлый раз – "шалость" или "жалость": жалость. Ну, конечно, жалость!* (Она не совсем ясно произносит *ш* и *ж* : не все зубы целы.)

Потом – жалобы на Ксению Григорьевну.**

---

*) "И черную змейку, как будто прощальную жалость, / На смуглую грудь равнодушной рукой положить".

**) Давиденкову, мать Левиного товарища, Коли... Ксения Григорьевна очень любила Анну Андреевну, но, ничего не понимая в ее труде и в ее характере, постоянно вызывала гнев Анны Андреевны попытками бесцеремонной опеки.

— Она разговаривает со мной, как с душевнобольной или самоубийцей. Вечный припев: "возьмите себя в руки". Когда я тут хворала: "Что это вы лежите одна?" — С кем же мне лежать? С командующим флотом? Велит мне непременно обзавестись домработницей. Но где же я ее поселю? — "Она может ночевать у вас в комнате". Так она понимает мою бессонницу! Она не учитывает, что мой быт такой, а не другой, такой потому, что тесно связан с моей психикой. Владимир Георгиевич правильно сказал: она не понимает, что воли у вас в сто раз больше, чем у нее.

— Видите, комната моя сегодня вымыта, вычищена. Я ушла к Рыбаковым, а тут Таня, по просьбе Владимира Георгиевича, вымыла, вычистила и даже постлала половик. А на столе скатерть: Коля Гумилев когда-то привез из К.*

Владимир Георгиевич зашел за мной к Рыбаковым и по дороге проговорился про комнату. Я очень испугалась и сказала: тогда я туда не пойду.**

Провожая меня по коридору, Анна Андреевна бормотала стихи. Услышав, я боялась слово сказать, даже "до свиданья". Но она сама перебила себя:

— Так ничего, если я плохо буду обращаться с Ксеньей Григорьевной?

— Валяйте! — сказала я. — Долой! К собачьим чертям!

3 марта 40.

За это время я виделась с Анной Андреевной четыре раза. То, что не записано сразу, можно считать утраченным. Восстанавливаю лишь кое-что.

Недели две у Анны Андреевны было очень холодно, дрова кончились, она жила в пальто. Но спать стала по-видимому лучше.

Сильно беспокоилась о Шакалике — он болел воспалением легких. "Он такой трогательный", — говорила Анна Андреевна.

---

*) Каира? Не помню.

**) О Рыбаковых см. примеч. [67]

Перечитывала *Старую записную книжку* Вяземского.

Вчера вечером долго сидела у меня. Мне позвонил Владимир Георгиевич, зашедший за ней к Рыбаковым, где она обедала, и привел ее ко мне.

Она уселась глубоко на диван и мы пили чай.

– Вы знаете, – начала она озабоченно, – уже двое людей мне сказали, что "пошутить" – нехорошо. Как думаете вы?

– Чепуха, – сказала я. – Ведь это "Клеопатра" не ложно-классическая, а настоящая. Читали бы тогда Майкова, что ли...

– Да, да, именно Майкова. Так я им и скажу! Все забыли Шекспира. А моя "Клеопатра" очень близка к шекспировскому тексту. Я прочитаю Лозинскому, он мне скажет правду. Он отлично знает Шекспира.*

– Я читала "Клеопатру" Борису Михайловичу** – он не возражал против "пошутить". Но он сказал такое, что я шла домой как убитая: "последний классик". Я очень боюсь, когда так говорят...

– Бухштаб прислал мне Добролюбова. Я прочла весь том, от доски до доски. Какие стихи плохие! Слова точно слипаются в строчке. А каков *Дневник*! Ничего и никого не видно. Еще в начале чувствуется быт, брезжит кое-что. А уж дальше – скука и женщины. И более ничего... Я никогда не читала Белинского, ни одной строчки – что, он тоже так плохо писал?

Я ответила по правде, как думаю, хотя и понимала, отвечая, что спорить с ней о литературе – неумно и ненужно: – Дневник Добролюбова и по-моему мерзок и пуст, – сказала я, – и стихи какие-то не стихи. Из статей же видно, что если бы Добролюбов не умер рано, он стал бы настоящим критиком. Белинский же писатель замечательный, иногда по силе равный Герцену. Интенсивность его духовной жизни поражает. Я люблю многие его статьи и очень люблю письма.

Анна Андреевна выслушала эту речь без гнева, но без большого доверия. Не думаю, чтобы она принялась читать Белинского после моих слов.

---

*) – (№14).

**) Эйхенбауму.

— А примечания Бухштаба хороши, добросовестны? — спросила я.

— Да, очень. Слишком даже добросовестны... Подумайте только — ну зачем приводить разночтения таких плохих стихов?..[43]

Рассказала о своей библиотеке, которую продала в 1933 г.

— В большой комнате на полу стопками лежали книги. Все редкие и все с надписями. Теперь Николай Николаевич, конечно, говорит: — "Этого никогда не было". Он умеет не помнить того, чего не хочет помнить... Теперь книг у меня нет.

— Я никогда не любила видеть свои стихи в печати. Если на столе лежала книжка *Русской Мысли* или *Аполлона* с моими стихами, я ее хватала и прятала. Мне это казалось неприличным, как если бы я забыла на столе чулок или бюстгальтер... А уже чтобы при мне читали мои стихи — просто терпеть не могла. Если Николай Николаевич или Левушка произносили при мне какую-нибудь мою строчку — я бросала в них тяжелым предметом.

Потом она прочитала мне новонайденные пушкинские строки — из его *Реквиема*. "Лунный круг".*

В первом часу ночи я пошла ее провожать. Невский мы долго не могли перейти. Она еле решилась ступить на мостовую. "Теперь можно?" — Можно. — "А теперь?" — вдруг закричала она на середине, высоким голосом, будто тонула и звала на помощь. Опять!

Когда мы шли по набережной, я спросила ее о реке.**

— А вот Николай Иванович догадался, — вместо объяснения ответила она. — Он удивительно понимает стихи. Он так же хорошо слышит стихи, как видит картины.

---

*) Строка из ахматовского *Реквиема* ("Посвящение"):

Что мерещится им в лунном круге?

В первых пяти строчках мне запомнились два других, чем в окончательном тексте, эпитета: "Не течет м о г у ч а я река" вместо "великая" во второй строке, и "в е л и к а я тоска" вместо "смертельная" — в пятой. Когда возникли замены — не знаю — (№15).

**) Я спросила, что означает строка: "Тихо льется тихий Дон". Почему Дон? (*Реквием*, 2) — (№16).

6 марта 40.

Вчера днем – вдруг звонок в передней – и на пороге Анна Андреевна. Была здесь поблизости в сберкассе, зашла спросить о Люшином здоровье и прочитать новые стихи.

Мы сидели в Люшенькиной комнате, потому что Люша лежит у меня – там теплее. Анна Андреевна осталась в пальто, только шляпу сняла. Горло обмотала каким-то некрасивым шарфом – я не поручусь, впрочем, что это шарф.

Прочла стихи Маяковскому, слегка сбиваясь, неуверенно. Чудо энергии строка: "то, что разрушал ты, – разрушалось". Я попросила прочитать еще раз и, когда она задумалась, подсказала первые две строчки.

– Как? уже? – воскликнула Анна Андреевна. – У меня такое впечатление, что вы знаете мои стихи наизусть за 5 минут до того, как я их напишу. За 10, может быть, и нет, но за 5 – безусловно.

– Правда, это не похоже на мои стихи Пастернаку? Нисколько? Я рада, если так.*

Потом я рассказала ей о нашей с Шурой статье;[44] отсюда мы перешли почему-то к фольклору, а от фольклора к Гомеру. Я призналась, что всегда всякий эпос воспринимаю со скукой. Понимаю, что стихи замечательны, могу объяснить, ч е м замечательны, но не тянет меня их читать. Ложась в постель, не вынимаю из-под подушки *Илиаду*. "Я список кораблей прочел до середины" – это не про меня.

– Я думаю, – сказала А.А., – что так, в постели, *Илиаду* никто теперь и не читает... А вы знаете *Гильгамеша*? Нет? Это великолепно. Это еще сильнее *Илиады*. Николай Степанович переводил по подстрочнику, но В.** переводил мне прямо с подлинника, и потому я могу судить.

Потом она рассказала о конфликте "Резец" – "Звезда" и о разрешении, которое ей дала Кр.***

---

*) "Маяковский в 1913 году" – *БВ, Тростник* – (№17).

**) Думаю, В. – В.К. Шилейко.

***) Конфликт – вероятно, спор из-за ее стихов. О разрешении, которое ей дала Кр. – см. дальше на стр. 99.

Мне надо было непременно сбегать в аптеку – Люша спала, а чуть проснется, надо было устроить ей полоскание. Ида – на рынке. Я спросила у Анны Андреевны, может ли она посторожить Люшу и что ей дать почитать пока. Стеречь она легко согласилась, а насчет книги ответила:

– Дайте Маяковского, но только непременно комментированное издание. Мне нужно проверить, действительно ли "Владимир Маяковский" шел в Луна-Парке.

Когда я вернулась, Ида была уже дома. Люшенька проснулась веселая, хотя t° оказалась 38,5. Я дала ей полоскание, а потом Ида соорудила компресс на горло. И я пошла провожать Анну Андреевну.

Я сказала ей, что сегодня она хорошо выглядит – розовая, большие глаза – и что я приписываю это Таниным заботам.

– Нет, просто полнею... Это от возраста – пора... А вы заметили, как я сегодня хорошо перехожу?

В самом деле, она без запинки пересекла Невский и даже почти не держалась за меня.

По дороге:

– Я познакомилась с Маяковским в двенадцатом году... Мне нужно было видеть кого-то по делу в Луна-Парке, и я отправилась туда. Там мне и представили Владимира Владимировича. Молодой, беззубый. Он очень настойчиво упрашивал меня придти на премьеру, но я не могла – не помню теперь, почему.

Я спросила у нее, с какого возраста она пишет.

– С 11 лет... Боже, какие позорно плохие стихи я писала! Я недавно перечитывала, хотела что-нибудь оставить на память. Нет, ничего нельзя. Все позор. Все – не мое, а чужое, общее – то, что писали тогда третьестепенные, четверостепенные авторы. Я уверена, что и у Маяковского было много такого же – раннего, плохого – но когда Бурлюк открыл ему, кто он, – он все уничтожил. И правильно сделал.

Когда мы уже свернули к ней во двор – на этот раз с Литейного – я сказала, что читаю Люше *Руслана и Людмилу* и на этот раз не нравится мне поэма.

– Да, конечно, это очень блестяще и очень холодно. Он был молод тогда и использовал все, что успел узнать у своих учителей, –

Ариосто, Вольтера. Учителя же были весьма холодные люди...* Но какие блестящие стихи, какая смелость! Я недавно читала Вале и дивилась каждому эпитету.

– Вы ясно представляете себе Пушкина по-человечески? – спросила я.

– Да, вполне... "Арап, бросавшийся на русских женщин" – как говорил С.** Вы не знали этого? Да, он Пушкина не выносил. Ненавидел. Быть может, завидовал ему: Соперник! С. был человеком таким причудливым, что мог и завидовать Пушкину. Оленька, которая знала С. гораздо ближе, чем я, говорит, что оно так и было... А если вы хотите представить себе Пушкина по-человечески – прочтите его пометки на полях стихотворений Батюшкова. В своих стихах Пушкин себя одергивал – как всегда все себя одергивают в искусстве, нельзя же подавать себя *au naturel* – а тут, на полях книги, он писал безоглядно для себя самого. Батюшков к тому времени уже умер или был уже сумасшедшим, во всяком случае, как живой поэт, сброшен со счетов. Против "Умирающего Тасса" Пушкин писал: "Разве это умирающий Тасс? Это умирающий Василий Львович". Правда, прелесть?

Мы вошли в ее маленький дворик через Занимательный вход.

– Как жаль, что садик ваш огородили, – сказала я.

– Да, очень. Николаю Николаевичу дали билет туда, а мне нет.

– Это почему же?

– Все потому же. Он – человек, профессор, а я кто? Падаль.

"Все равно это ваши деревья, ваш дом и сад", подумала я, но сказать не успела. Навстречу нам шла Таня. Она сообщила Анне Андреевне, что наверху ее ждет Владимир Георгиевич. Анна Андреевна быстро со мной простилась и пошла вверх по лестнице. А я зашагала рядом с Таней. Я ей сказала, что, на мой взгляд, Анна Андреевна очень поправилась, и все – благодаря ее, Таниным,

---

*) О связях пушкинского творчества с традициями классической западно-европейской поэзии, о наблюдениях, сделанных Анной Андреевной, см. примеч. на стр. 24, 25.

**) По-видимому, Федор Сологуб. Это явствует из дальнейшего текста: О.А. Глебова-Судейкина, о которой дальше говорит А.А., дружила с Сологубом.

трудам. "Да уж я стараюсь для ей все", – ответила польщенная Таня. Я спросила, чем она будет сейчас кормить Анну Андреевну. "А вот щец дам, потом буду себе блинчики печь и ей напеку из своего. Мы с этим не считаемся, когда ейное нам перейдет, когда наше ей".

9 марта 40.

Сегодня вечером Анна Андреевна пришла меня навестить. Я усадила ее в Люшиной комнате – Люша в это время лежала у меня в постели и ее смотрел врач. Когда доктор ушел, Ида перенесла Люшеньку в ее кровать. Анна Андреевна ласково возле нее посидела, а я пока застлала у себя постель и привела комнату в порядок.

У меня Анна Андреевна закурила и заговорила, сидя глубоко на диване.

– Я так устала... Каждую ночь пишу... Клин.*

– Николай Николаевич отыскал теперь новый повод, чтобы на меня обижаться: почему я, когда мы были вместе, не писала, а теперь пишу очень много. Шесть лет я не могла писать.** Меня так тяготила вся обстановка – больше, чем горе. Я теперь наконец поняла, в чем дело: идеалом жены для Николая Николаевича всегда была Анна Евгеньевна: служит, получает 400 рублей жалованья в месяц и отличная хозяйка. И меня он упорно укладывал на это прокрустово ложе, а я и не хозяйка, и без жалованья... Если бы я дольше прожила с Владимиром Казимировичем, я тоже разучилась бы писать стихи.

– А там вы кем должны были быть? – спросила я.

– Там – никем, но просто человек был невозможный для совместного обитания.

---

*) Прочитала мне стихотворение "Все это разгадаешь ты один" (посвященное Борису Пильняку), где есть строчка "Тот солнечный, тот ландышевый клин". Она не сказала тогда, кому посвящены эти стихи, и я почему-то плохо поняла их, особенно слово "клин" – (№18).

**) См. примеч. на стр. 168.

Я спросила, любит ли Николай Николаевич ее стихи.

– Этого разобрать нельзя – любит или не любит. Он ведь человек бессознательный.

Я сказала ей, что "клин" хоть и непонятен мне, но понятно, что автор говорит о чем-то ему известном, в самом деле бывшем: так очень часто случается в стихах у Пастернака. Прямой смысл неясен, но ясно, что речь идет о подлинно состоявшемся.

– Да, у него так бывает, вы правы. И часто. Но случается и по-другому. Вот, например, – она вскочила с дивана и взяла с полки стихотворения Пастернака, – вот, например, "Баллада". Как ни старайся, а ничего понять нельзя.Тут еще какой-то сюжет мельтешит...[45]

– Мне он подарил эту книгу с надписью: "Анне Андреевне, в звуке долгой. После ссоры". А ссора была такая: приехав в Ленинград, Борис Леонидович передал для меня одному общему знакомому 500 рублей. Я была в это время больна и с ним не видалась. Выздоровев, я поехала в Москву, продала свой архив Бончу. Приношу Борису Леонидовичу деньги. Он – ни за что, шумит, не принимает. "Я от вас никак не ожидал. Я вам их с таким чистым чувством принес". – "Я тоже с таким чистым чувством продавала свой архив". Он так сердился, что даже хватал меня за коленки, сам того не замечая.

Я спросила:

– А вы не находите, странно устроена душа человеческая: стихи, даже самые великие, не делают автора счастливым? Ведь вот Пушкин: он ведь знал, что это он написал *Медного всадника*, – и все-таки не был счастлив.

– Не был. Но можно сказать с уверенностью, что больше всего на свете он хотел писать еще и еще...

За нею зашел Владимир Георгиевич. Она сразу переменилась. Не то он мешал ей и мне, не то я ей и ему. Они скоро ушли.

11 марта 40.

Сегодня Анна Андреевна позвонила днем – не могу ли я придти. Я пошла.

В том же черном халате, но из-под халата большой белый

воротник новой ночной рубашки. Она стала похожа не то на Байрона, не то на Марию Стюарт.

– Вот, взгляните, – и протянула мне рецензию. – Это вчера Ж. принес мне собственноручно.*

Я прочла. Сначала – дубовые похвалы, потом – отверженье стихов, одного за другим, совершенно произвольное. Например, такая мотивировка: "бледно".

Она отложила рецензию в сторону. И прочла новые стихи. Какие-то дивные и не вполне уловимые.** Я попросила прочесть еще раз: не совсем поняла. Она отказалась. – "Не кончено".

– Этого вы понимать и не обязаны... Так вот и сижу целыми ночами в кресле. Спать ложусь, когда уже все встают и уходят за сахаром.

Разговор о квартире.

– На новостройку я не поеду. Ни в Стрельну, ни в Лесной. Здесь ко мне все мои друзья близко, я до всех могу сама дойти пешком, а там я буду отрезана. И Владимир Георгиевич сможет навещать меня не чаще раза в неделю.

Не помню каким путем, но разговор привел нас к ее уходу от Николая Степановича.

– Три года голода. Я ушла от Гумилевых, ничего с собой не взяв. Владимир Казимирович был болен. Он безо всего мог обходиться, но только не без чая и не без курева. Еду мы варили редко – нечего было и не в чем. За каждой кастрюлькой надо было обращаться к соседям: у меня ни вилки, ни ложки, ни кастрюли.

Я рассказала ей, что в голодные годы меня больше всего унижала обувь, или, точнее, отсутствие ее. Когда мне было лет 12, я, зимою, чтобы выйти на улицу, должна была надевать огромные калоши Корнея Ивановича поверх тапочек. Так и шла по улице – в шлепающих, падающих калошах.

– А для меня самым унизительным были спички. Их не было, и я с утра выбегала на улицу у кого-нибудь прикурить.

---

*) Не могу вспомнить, кто это. По-видимому, Анне Андреевне показана была чья-то "внутренняя" рецензия на сборник *Из шести книг*.

**) Она прочитала мне "Так отлетают темные души" – (№19). Первую половину.

Оказалось, она любит Гончарова – *Обломова*, а *Обрыв* – не любит.

– В *Обломове* есть поток жизни, сплошной, глубокий, плотный, которого у Тургенева никогда не бывало. У Тургенева всегда поверхность, фельетон. А *Обрыв* – неудача: этот роман написан слишком уж прямо в лоб времени. Очевидно, так в искусстве нельзя.

Вошла в комнату – не постучав – Таня, принесла завернутого в одеяло, похудевшего, хмурого Шакалика.

– Хочешь к Ане?

– Не хочу! – и отвернулся.

– Анна Андреевна, подержите его, – сказала Таня. – Я с утра не жрамши.

20 марта 40.

Я не была у Анны Андреевны довольно давно. Она звонила несколько раз, но я все не могла вырваться. Наконец сегодня я пошла, и не очень-то удачно: там были люди.

Анна Андреевна сама мне открыла. Губы слегка подкрашены, поверх халата – шаль.

– У меня Осмеркин [46] и Верочка.*

Анна Андреевна была молчалива и рассеяна, все больше сидела в кресле, раскинув руки. Скоро пришел И., Анна Андреевна без конца ходила в кухню, искала ложки, чашки – на кухне и у себя в шкапу. Наконец, все кое-как уселись чай пить. Разговор вертелся вокруг Эрмитажа и Русского Музея, развески картин, прочности красок и т.д. Анна Андреевна вытащила из-за шкапа какой-то холст, и все (кроме меня) угадывали: Судейкин это или Григорьев? Осмеркин прочел целую лекцию о манере письма того и другого.

Анна Андреевна снова уселась в кресло, раскинув руки, и совсем смолкла. Общий разговор шел без нее. И., сидевший на диване, два раза упал (диван, оказывается, тоже сломан); я каждый раз подскакивала чуть не до потолка. И. ушибался – но на Анну

---

*) "Верочка" – Вера Николаевна Аникиева.

Андреевну эти происшествия не производили никакого впечатления. Наконец, И. и Осмеркин попросили ее почитать. Она заупрямилась было. "Я уже три ночи читаю их вслух, у меня от них горло болит". Но все-таки прочитала "Клеопатру" (с переменой в строфе о детях), "Мне ни к чему одические рати" (с переменой в последней строке). Она читала усталым голосом, иногда задыхаясь. И прочитала до конца то, которое я в прошлый раз не поняла. "Сотый". Какая там усталость – уже даже не предсмертная, а посмертная. И освобождение:

Мне ничего на земле не надо…
Скоро я выйду на берег счастливый…

И та мечта, которая гложет и меня, и не одну меня, конечно: если бы не случилось то, что случилось – проснуться утром:

… И Троя не пала, и жив Эабани…*

В половине второго все поднялись. Во дворе И. и Осмеркин решили идти пить к Вере Николаевне и усиленно приглашали меня. Я отказалась, сославшись на раннее вставание. Осмеркин предложил проводить меня до дому. Я и от этого отказалась, чтобы не расстраивать их компании, а главное потому, что мне было не страшно и хорошо идти одной.

… И Троя не пала, и жив Эабани.
И все потонуло в душистом тумане…

Мне ничего на земле не надо, –

Ни громов Гомера, ни Дантова дива.
Скоро я выйду на берег счастливый…

21 марта 40.

Захватив свои тетрадки, я отправилась в библиотеку, но вместо этого свернула к Анне Андреевне.

Она пила чай в прибранной, чисто выметенной комнате.

---

*) Речь идет о стихотворении "Так отлетают темные души" – см. *ББП*, стр.196 – (№19).

Я предложила ей погулять по солнышку. "Я знала, что вы придете", – сказала она и согласилась. "Подождем только, пока прогорит печка". Она села перед печкой в кресло, я возле нее на сундучке. Лицо ее, мгновениями озарявшееся беглым блеском печного огня, сегодня показалось мне сухим и темным, как на монете или на иконе.

Я спросила, кто придумал ей псевдоним.

– Никто, конечно. Никто мной тогда не занимался. Я была овца без пастуха. И только семнадцатилетняя шальная девчонка могла выбрать татарскую фамилию для русской поэтессы. Это фамилия последних татарских князей из Орды. Мне потому пришло на ум взять себе псевдоним, что папа, узнав о моих стихах, сказал: "Не срами мое имя". – "И не надо мне твоего имени!" – сказала я.

Она протянула мне корректуру из *Ленинграда*. Я прочла и предложила перемены в знаках, которые должны были отчетливее выделить ритмическую фигуру. Она все приняла.

– И дает же Бог такой талант! – сказала Анна Андреевна, глядя через мое плечо, когда я правила. – Мне бы ввек не научиться.

Это было очень смешно.

Вошла Таня:

– Анна Андреевна, идите мерить платье!

Анна Андреевна заколебалась было, но я ей объяснила, что мне все равно необходимо уйти по делу минут на 15.

Когда я вернулась, Анна Андреевна была уже у себя и ждала меня в пальто. Однако на улице солнце уже померкло. Мы отправились в сад возле Инженерного замка.

– Вы, я вижу, этот сад любите? – сказала я.

– Да, это моя постоянная резиденция... А платье макабристое. Знаете, кто его шьет? Водопроводчица. Жена водопроводчика.

Мы сели на скамеечку, залитую солнцем. Перед нами – две березы, и белые стволы освещены так ярко, что больно смотреть.

– Вы вчера с неодобрением отозвались о Есенине, – сказала мне Анна Андреевна. – А Осмеркин его любит. Он огорчился. Нет, я этого не понимаю. Я только что его перечла. Очень плохо, очень однообразно, и напомнило мне нэповскую квартиру: еще висят иконы, но уже тесно, и кто-то пьет и изливает свои чувства

в присутствии посторонних. Да, вы правы: все время – пьяная последняя правда, все переливается через край, хотя и переливаться-то собственно нечему. Тема одна-единственная – вот и у Браунинга была одна тема, но он ею виртуозно владел, а тут – какая же виртуозность? Впрочем, когда я читаю другие стихи, я думаю, что я к Есенину несправедлива. У них, бедных, и одной темы нет.

Мы пошли по Фонтанке к Летнему. Во дворе Инженерного замка учили солдат. От Марсова Поля неслась музыка. С Пантелеймоновской нам стало видно – там развеваются знамена. Анна Андреевна пыталась разглядеть, что там делается, но на Пантелеймоновской густо толпились люди и машины. Ничего не видать. На лакированных боках и в стеклах машин вспыхивало, ослепляя, солнце. Мы повернули домой.

Долго не могли пересечь Фонтанку: она боялась.

– Как я завидую тем, кто не боится!

Она рассказала мне о своем брате, отравившемся, когда у него от малярии умер ребенок.

– Оставил нам письмо – замечательное. О смерти ни слова. Кончалось оно так: "целую мамины руки, которые я помню такими прекрасными и нежными и которые теперь такие сморщенные". Жена его тоже приняла яд вместе с ним, но когда взломали дверь и вошли в комнату, она еще дышала. Ее спасли. Она оказалась беременной и родила вполне здорового ребенка.

9 апреля 40.

Анна Андреевна была у меня вечером 29-го, т.е. в вечер моего отъезда в Москву. Нарядная, причесанная, в ожерелье – видно, шла куда-то или откуда-то. У меня была Шура. Анна Андреевна прочитала нам "Кто может плакать в этот страшный час".*

Вчера я вернулась из Москвы и не успела чемодана разобрать – телефон. "Вы приехали? Приходите же! Приходите как можно скорее!"

---

*) Прочитала стихотворение, посвященное Борису Пильняку, "Все это разгадаешь ты один". Когда я слушала его впервые, оно показалось мне не вполне понятным: "клин" – *БВ, Тростник* – (№18).

Я пошла днем.

С наслаждением, со счастьем шла по городу.

Анна Андреевна сама мне открыла.

– Ну, как ваши успехи? – спросила я, когда мы уселись.

– Пока что одни неуспехи. Читала в Выборгском Доме Культуры. Туда билеты дают наверное чуть не насильно. Я вышла и сразу почувствовала: Боже! как им хочется в кино или танцевать!

Она протянула мне *Ленинград* №2.

– Вы уже видели это?

– Нет.

Я стала перелистывать. Океанский пароход, плавающий в пруде. Она вынула из моих рук журнал:

– Лучше я вам новое почитаю.

Прочла про плакальщиц.*

Рассказала о распределении стихов в обеих книгах.

Потом о своем визите к Тынянову.

– И я еще жаловалась вам – помните? – что он со мной как-то вяло говорил по телефону. Я перед ним виновата. Он просто болен. Очень болен. Шапка молодых каштановых волос, а под ними крошечное сморщенное старческое личико. Он вышел в переднюю меня провожать и вдруг упал на пол и, представьте себе, я его сама подняла. Одна! О! какой он легонький – как тряпочка.

Потом рассказала, что была в издательстве, – оформляла сберкнижку – и там ее упросили подняться в редакцию.

– Были ли вам оказаны соответствующие почести?

– Да! Божеские! И надарено было книг. Я прочитала. Ужасно. После этого никаких стихов читать не хочется и писать невозможно. Все похожи друг на друга.

– Был у меня Цезарь Самойлович.** Послушайте, он же совсем болен. Посмотрите, как он надписал мне свою книгу – видите:

---

*) По-видимому, кусок из поэмы *Путем всея земли*: "Я плакальщиц стаю веду за собой" – *БВ, Тростник* – (№20). Пользуюсь случаем, чтобы исправить опечатку и цензурные искажения в *БВ*: на стр. 288 вместо "Из аквамарина / Пылает закат" – "О *Salve, Regina!* – / Пылает закат"; на стр. 287 вместо "За новой утратой / Иду я домой" – "Столицей распятой / Иду я домой".

**) Вольпе.

"Анне Андреевой". Меня часто переименовывают. Один мой поклонник, заика, недавно в одном доме сказал: "еееeё н-напечатали. – Кого ее? – Астафьеву".

Много расспрашивала о Николае Ивановиче.

– Он обрадовался, узнав, что я приеду?

– Очень!

Помолчали. Потом:

– А знаете, – сказала Анна Андреевна, – Николай Николаевич сильно разгневался по поводу "От тебя я сердце скрыла". Ходит как туча.

– Разве он раньше не знал?

– Знал, конечно, а теперь вот вдруг обиделся. Но мне это все равно.*

Пришел Владимир Георгиевич, поговорили о билете в Москву и о выступлении 11-го.** Я простилась.

– Я ведь еще увижусь с вами до своего отъезда, не правда ли? – сказала Анна Андреевна, провожая меня. – Я приду к вам.

3 мая 40.

1-го, по поручению Анны Андреевны, позвонил Владимир Георгиевич: Анна Андреевна приехала и просит зайти. Но мне не с кем было оставить Люшу: Ида празднует. Я попыталась мобилизовать кого-нибудь из друзей – не удалось.

2-го, вчера, перед вечером, она пришла сама. Нарядная и почти румяная.

– Как вы хорошо выглядите! – сказала я.

– Ну что вы! Просто вымылась горячей водой и напудрилась. А чувствую себя очень плохо. Устала в Москве. Там, где я жила, паровое отопление, а моя базедова этого не переносит.

– Вы много бывали в гостях в Москве?

– Нет. Я только брала такси и ездила к Николаю Ивановичу. Что за голова у него! Как вы думаете – мне это важно знать –

---

*) Напоминаю читателю, что это стихотворение в марте 1940 г. появилось в печати (в журнале *Ленинград*, №2) – (№21).

**) Каком, где – не помню.

способен он с восхищением говорить о стихах, если они ему не нравятся?

– Нет. Конечно, нет. Он вообще не дает себе труда лгать. А уж о стихах!

– Знаете, что он сказал мне? – "Я всегда любил вас, но раньше был равнодушен к вашим стихам. А теперь я понимаю, что ваши стихи даже лучше вас. Вы заставляете меня любить ненавидимое". Он так сказал, но все это на самом деле не так. Я сейчас прочитала верстку и ясно увидела: какая бездарная, какая мелкая, какая ничтожная книга.

Я не перечила, мне хотелось понять. И она объяснила мне.* Я ее не утешала. Чем же тут утешить. Я только напомнила ей: будет иначе.

Она устало махнула рукой.

Потом рассказала мне свой новый замысел: "Думали, нищие мы" *а)*, "Страх, во тьме перебирая вещи" *б)*, "Но это вздор, что я живу грустя" *в)*, "Привольем пахнет дикий мед" *г)* и пр. И добавила:

– Покойный Алигьери создал бы десятый круг ада.**

Прочитала два новых: о башне. И впечатление от стихов.***

– А как понравилось в Москве "Путем всея земли"? – спросила я.

– Тишенька**** в восторге от "времени назад", а Борису Леонидовичу не понравилось. Он не сказал этого, но я догадалась.

Потом:

– Если бы вы знали, как меня встретил Вовочка! "Наша Аня приехала!" А когда я уходила, была уже в пальто и Таня вышла

---

*) Ее мучило и угнетало, что в книгу не могли войти стихи, тогда самые для нее дорогие – из цикла *Реквием*, "Венок мертвым" и еще многие.

**) В качестве особого цикла перечисленные стихи так и не появились. Но в разные годы в разных изданиях были опубликованы: а) "Белая стая" – (№22); б) "*Anno Domini*" – (№23); в) *Москва*, 1966, №6 – (№24); г) *Памяти А.А.* – (№25).

***) "Впечатление от стихов" – по-видимому, "Про стихи" – *БВ, Седьмая книга* – (№26). "О башне" – это, вероятно, "Мои молодые руки" со строками: "Кто знает, как пусто небо / На месте упавшей башни, / Кто знает, как тихо в доме, / Куда не вернулся сын" – *ББП*, стр.195 – (№27).

****) Александр Николаевич Тихонов.

с ним в переднюю, он потянулся к дверям: "Надо Ане открыть дверь". Такой трогательный. Я решила взять для него дачу. Попрошу в Литфонде для себя и поеду с ним и с Таней. Валю отправят на лето в лагерь. А Шакалику воздух необходим.

Я спросила, как прошло ее выступление в Капелле.

– Все очень странно. По-моему было самое обыкновенное выступление. Я ничего особенного не заметила. А Верочка и все другие знакомые уверяют, будто были овации.

6 мая 40.

Вчера я сильно устала днем и, вернувшись из библиотеки, легла. Звонок. Говорит Владимир Георгиевич: "Анна Андреевна нездорова и умоляет вас придти".

Я отдохнула немного и пошла. Пошла, хотя и понимала, что ничего не случилось, что просто она не спала, ей тоскливо и она хочет, чтобы кто-нибудь сидел возле.

Действительно, она "просто не спала" – а я все-таки хорошо сделала, что явилась.

Опять халат, диван, скомканное одеяло, спутанные, нечесанные волосы. Трудно поверить, что какие-нибудь два дня назад она была так моложава, нарядна, победительна. Желтое, осунувшееся старое лицо. Жалуется на боль в ноге.

7-го будет верстка. Гослитиздата? "Издательства Писателей"? Не помню, перепутала. В общем – будет верстка. И Анна Андреевна хочет поручить мне читать и, главное, следить за тем, чтобы все – и знаки – совпадало с версткой, только что прочитанной Лозинским.

Я присягнула.

– Имейте в виду, там одиннадцать листов, – сказала Анна Андреевна.

– Не боюсь! – ответила я.

– В Гослите на 150 строк меньше, чем в "Издательстве Писателей". Из книги "Издательства Писателей" пока что вынули, сверх программы, только "Последний тост".* Я уже заказала себе, по

---

*) – (№28).

пониженной цене, 40 экземпляров; друзьям буду дарить книгу "Издательства Писателей", а Гослитиздата – никому.

Умолкла. Совершила обряд.

"И лип встревоженные тени".*

И я сразу поняла все; желтизну, растрепанность, бессонность.

– Это вы сегодня ночью?

– Нет, вчера днем. Под непрерывные звонки из издательства.

Она надела очки и стала перелистывать свою тетрадь. Я увидела, что тетрадь исписана вся, до последней страницы. Она захлопнула ее, ничего не прочитав мне.

– Вам надо новую завести, – сказала я.

– Две новые заведены! Смотрите, какие.

Достала из комода два альбома, один старинный, чудесный, толстая бумага.

– Это мне Николай Иванович подарил. Пушкинского времени, видите?

Села на диван, поджав ноги, и взяла папиросу. Она сильно возбуждена – чем? – вероятно, скорым выходом книги, хотя и скрывает это. Показала мне свой портрет работы Тырсы, который будет приложен к книжке "Издательства Писателей". Мне не понравился портрет – очень уж внешний. А ей нравится. (Конец двадцатых годов.)

Закурив, она сказала:

– И все это понапрасну: портрет, корректуры... Не хватит бумаги или еще чего-нибудь не хватит. Посмотрим. Знаете, я поняла, почему я терпеть не могу своих ранних стихов. Я теперь все про них знаю с совершенной точностью. Я их давно не видала, а теперь ясно увидела в верстке, когда смотрела с Лозинским, и могу точно сказать, какие они: недобрые по отношению к герою, неумные,

---

*) А.А. записала – дала мне прочесть – сожгла над пепельницей – стихотворение из *Реквиема, 9:* "Уже безумие крылом" – стихотворение о тюремном свидании с сыном – (№29). Первоначальный вариант строки "И лип взволнованные тени" – "в с т р е в о ж е н н ы е тени".

Впервые напечатано с тяжелыми цензурными искажениями и под заглавием "Другу" в сб. : *Анна Ахматова. Избранное*, Ташкент, "Советский писатель", 1943. Затем, в 1974г. с цензурными искажениями и с опечатками вдобавок – в сб.: *Анна Ахматова. Избранное,* М. "Худож. Литература".

простодушные и бесстыдные. Уверяю вас, это совершенно точно. И нельзя понять – чем они так понравились людям?

Я сказала, что могу согласиться, пожалуй, только с одним: недоброта к герою.

– Нет, нет, все так, как я говорю... Опасная вещь искусство. В молодости этого не сознаешь. Какая страшная судьба с капканами, с волчьими ямами. Я теперь понимаю родителей, которые пытаются уберечь своих детей от поэзии, от театра... Подумайте только, какие страшные судьбы... В молодости этого не видишь, а если и видишь, то ведь "наплевать"...

Она была возбуждена и сосредоточена. Ей хотелось разговаривать.

– Вы ведь знаете Лотту? Самая острая женщина. Сплошное острие. Она очаровательна. Я ей на днях говорю: "Хочу вам прочесть, Лотта, я написала одно стихотворение..." А она мне: "Кто? Вы?" Правда, прелесть? Это очень смешно: – "Кто? Вы?" [47]

Мы заговорили о Достоевском.

– Я недавно перечла Достоевского: *Идиот, Подросток* и *Униженные и оскорбленные*. Да, вы правы, *Идиот* лучше всех. Поразительный роман. И знаете, что я заметила? Вы никогда не думали о старичках у Достоевского? Об этих надушенных, учтивых, порхающих, шаркающих, французящих, влюбчивых, наивных старичках? Я поняла, что это все – люди пушкинской поры, зажившиеся на свете, и он показывает их такими, какими они представлялись его поколению. Такими он и его сверстники видели людей пушкинской поры – таким был для них, например, князь Вяземский.

Я стала расспрашивать ее о Москве, о Борисе Леонидовиче.

– Он погибает дома... Своих стихов он уже не пишет, потому что переводит чужие – ведь ничто так не уничтожает собственные стихи, как переводы чужих. Вот Лозинский начал переводить и перестал писать... Но у Бориса Леонидовича главная беда другая: дом. Смертельно его жаль... Зина целыми днями дуется в карты, Леничка заброшен. Он сам говорит: Леничка в каких-то лохмотьях, а когда пытаешься ей объяснить – начинается визг. Все кругом с самого начала видели, что она груба и вульгарна, но он не видел, он был слепо влюблен. Так как восхищаться решительно нечем

было, то он восхищался тем, что она сама моет полы... А теперь он все видит, все понимает ясно и говорит о ней страшные вещи... Если бы он произносил их наедине со мною, я бы никому не повторила, конечно, но он говорил о Зине при Нине Антоновне, которую едва знает. Мы с Ниной друг на друга глаз поднять не смели – так было неловко.[48] "Это – паркетная буря, побывавшая у парикмахера и набравшаяся пошлости". Точно, не правда ли? Потом: "Была бы, по крайней мере, чем-нибудь чрезвычайным, знаете, как тот сарай, который можно иностранцам показывать: вот какой у нас страшный сарай! – как было, например, у меня (она указала пальцем в стенку, за которой живет Николай Николаевич) – а то самая обыкновенная пошлячка". Он понимает все, но не уйдет, конечно. Из-за Ленички. И, кроме того, он принадлежит к породе тех совестливых мужчин, которые не могут разводиться два раза. А в такой обстановке разве можно работать? Рядом с пошлостью? Нищета еще никогда никому не мешала. Горе тоже. Рембрандт все свои лучшие вещи написал в последние два года жизни, после того, как у него все умерли: жена, сын, мать... Нет, горе не мешает труду. А вот такая Зина может все уничтожить...

– Но, если она такова, – сказала я, – то непонятно, зачем ей Борис Леонидович? Не только ему нужна другая жена, но и ей – другой муж. Ведь он для нее тоже должен быть неудобен.

– Видите ли, их роман начался в разгар его благополучия. Он был объявлен лучшим поэтом, денег было много, можно было кататься в Тифлис в спальном вагоне. Ах, если бы теперь можно было найти для нее какого-нибудь преуспевающего бухгалтера. Но, боюсь, это не удастся.

Я сказала, что мне очень понравился пастернаковский перевод *Гамлета*.

– Да, да, и я его полюбила. Я так счастлива за Бориса Леонидовича: все хвалят, всем нравится, и Борис Леонидович доволен. Перевод действительно превосходен: могучая волна стиха. И, как это ни странно, ничего пастернаковского. Маршак сказал мне, что, по его мнению, Гамлет в пастернаковском переводе слишком школьник, упрощен, но я не согласна с этим. Жаль мне только, что пастернаковский перевод сейчас принято хвалить в ущерб переводу

Лозинского. А он очень хорош, хотя и совсем другой. Перевод Лозинского лучше читать, как книгу, а перевод Пастернака лучше слушать со сцены. В сущности незачем пренебрегать одним для другого, а надо просто радоваться такому празднику русской культуры.

Я заговорила о непонятных для меня вкусах Бориса Леонидовича в поэзии; я видела письмо его к нашему Коле,* в котором он с бурной похвалой отзывался о стихах Всеволода Рождественского.

— О, это он всегда так. И в этот мой последний приезд в Москву тоже так было. Он привел к Федину Спасского, который хотел послушать мои стихи. И тут же, при нем, повторял бесконечно: "Сергей Дмитриевич создал нечто грандиозное, я уже целых три дня живу его последними стихами". И все вздор. Стихи Рождественского — ведь это такое убожество, ни слова своего, и, конечно, Борису Леонидовичу они ни к чему. Он часто хвалит из самой наивной, грошовой политики. Уверяю вас. Ему мерещится, что так для чего-то кому-то надо. А иногда он и сам не понимает, что говорит. Вот ему не понравилось "Путем всея земли". А он гомерически хвалил, необузданно.

— Откуда же вы знаете, что ему не понравилось?

— Я догадалась. Во-первых, он сказал: похоже на Мандельштама. А Мандельштама он терпеть не может, он позабыл, что говорил мне об этом раньше. Потом он сказал: "это так прекрасно, что не может существовать одно. Я уверен, где-то еще существует подобное". Я догадалась потом: подобное — это настоящие стихи, его собственные, которые он еще не написал, а я написала; но мое — это не настоящее, это случайное, а настоящее — подобное — это его, это то, что должно быть и будет... Такова его подсознательная мысль, он сам ее еще не понял, а я догадалась.

Вскипел чайник. Анна Андреевна как всегда пустилась бродить по комнате, разыскивая необходимые для чаепития предметы: "Куда запропастился сахар? Таня достала мне сахар и очень гордилась этим, а теперь он исчез".

Сахар нашелся. Она села, разлила по чашкам чай и снова принялась говорить.

---

*) "Наш Коля" — мой старший брат, Николай Корнеевич Чуковский.

– А главная причина всех этих неистовых похвал Бориса Леонидовича – профессиональная болезнь, которой страдают все литераторы. Это – как мозоль у пахаря. Писатель, поэт не способен спокойно относиться к своим вещам и к их судьбе. Вот сейчас Борис Леонидович страшно огорчен, что Корнею Ивановичу и Самуилу Яковлевичу не понравился его перевод. А что тут огорчительного? Одним нравится одно, другим другое. И – хуже: он перестал любить людей, которым что-то из его вещей не понравилось. Меня он любит главным образом за то, что я посвятила ему стихи, и за то, что я люблю его поэзию.

– А вашу поэзию он любит?

– Вряд ли. Он когда-то читал мои стихи – очень давно – и позабыл их. Помнит, может быть, случайные строчки. А вообще-то стихи ему ни к чему. Вы разве не заметили, что поэты не любят стихи своих современников? Поэт носит в себе собственный огромный мир – зачем ему чужие стихи? В молодости, лет 23-24, любят стихи поэтов своей группы. А потом уже ничьи не любят – только свои. Остальные не нужны, они ощущаются как лишние, или даже враждебные.

Помолчав, она сказала:

– Во мне множество недостатков, пороков даже, но человеческих, а болезней профессиональных во мне нет. Мне нисколько не мешает, если человек не любит моих стихов. Что писал обо мне Мандельштам! "Столпник паркета"! Уж, кажется, куда обидней.[49]

– Но ведь вас он любил?

– Да, вероятно. А я его очень любила. Как я их обоих люблю, и Осипа, и Бориса Леонидовича.

– Кто же в силах не любить Бориса Леонидовича! – сказала я.

– Находятся такие, однако. Асеев, например... Но Осипа, уверяю вас, тоже нельзя было не любить, хотя он совсем другой, чем Борис Леонидович... Трудно о нем рассказать, объяснить его. Вот, умрет Борис Леонидович, и тоже нельзя будет объяснить, в чем было могущество его очарования. С Осипом я дружна была смолоду, но особенно подружилась в 37 году. Да, в 37. Стихов моих он не любил,[50] но если бы я была его сестрой, он не мог бы относиться ко мне доверчивее. Он мне, потихоньку от Нади,

рассказывал обо всех своих любвях:* он всю жизнь легко влюблялся и легко разлюблял... А один раз он сказал мне: "Я уже готов для смерти".

Я поднялась, прощаясь. Она встала.

– А профессиональных болезней во мне нет, уверяю вас. И знаете почему? Я не литератор.

Она проводила меня до самых дверей. Было два часа ночи. В дверях она сказала:

– Только не думайте, пожалуйста, что я говорила вам что-нибудь плохое о Борисе Леонидовиче.

10 мая 40.

Третьего дня с утра мне позвонила Анна Андреевна: просит придти. Гослит сейчас пришлет ей корректуру. Я отправилась. Мы долго сидели, пили чай, смотрели на часы, ждали. Анна Андреевна жаловалась, что сборник Гослита гораздо хуже "Издательства Писателей": на 150 строк меньше, без эпиграфов, и вообще "Ахматова *pour les pauvres*".

Цветная книга. Ее оглавление.**

Наконец, принесли корректуру. Действительно, вид убогий, неряшливый. Анна Андреевна хотела, чтобы новые вещи были непременно сверены с корректурой "Издательства Писателей" – с той, которую держал Михаил Леонидович. Я позвонила в издательство нашей милой Тане,[51] но она сказала, что корректура уже ушла в типографию и ничего поделать нельзя. Анна Андреевна сердилась и заставляла меня звонить несколько раз: "скажите ей, что дефективная старуха ничего не понимает и требует". Но я-то понимаю, и мне было неловко перед Танечкой, которая и без моих

---

*) "Надя" – жена Осипа Мандельштама, Надежда Яковлевна. О ней см.: Анна Ахматова, *Мандельштам (Листки из дневника)*, а также: Никита Струве, "Восемь часов с Анной Ахматовой" – в книге: *Анна Ахматова. Сочинения.* Международ. Лит. Содружество, т.2, 1968, стр.176 и 327. В дальнейшем это издание мы будем для краткости именовать так: *Сочинения.*

**) Эту строчку расшифровать не могу. По-видимому, речь идет о какой-то задуманной, но не состоявшейся книге.

звонков все готова была сделать для Анны Андреевны. Таня позвонила через час сама и предложила вот что: пусть Анна Андреевна, пользуясь своим правом автора, задержит у себя корректуру Гослита – на 4 дня, как положено законом – а к тому времени в редакцию подоспеют листы. Но Анна Андреевна сказала: "я не в силах с ними препираться, Гослит торопит".

Я схватила корректуру и отправилась к Тусе:* она все сделает идеально, не хуже Лозинского. Мы работали запоем, почти не отрываясь, с 4 часов дня до часу ночи. Когда мы кончили, я позвонила Анне Андреевне – она просила, чтоб я принесла верстку не утром, а сейчас же.

Я принесла.

Вчера вечером она пришла ко мне с портфелем. Впервые я видела у нее в руках портфель! Вялая, раздражительная – по-видимому суета вокруг книги утомляет ее, а тут еще из Москвы вести о безрезультатном походе Б.**

Она развернула свой список поправок – кое-где новые варианты, новая пунктуация и опечатки. Опечатка, которая привела ее в бешенство – "иглой" вместо "стрелой" в строках:

И башенных часов большая стрелка
Смертельной мне не кажется иглой.

– Что за бессмыслица! Смертельны стрелы, а не иглы. Как невнимательно люди читают стихи. Все читают, всем нравится, все пишут письма – и не замечают, что это полная чушь.***

Затем она указала мне новую пунктуацию в конце стихотворения "Как белый камень в глубине колодца": строка "Чтоб вечно жили дивные печали" должна быть знаком оторвана от

---

*) К Тамаре Григорьевне Габбе.[52]

**) Какая-то неудача в хлопотах о Леве.

***) Опечатка "иглой" вместо "стрелой" в стихотворении "Слаб голос мой, но воля не слабеет" возникла в сборнике *Белая Стая* (1917); и, к моему удивлению, несмотря на поправку Анны Андреевны, та же опечатка повторена в сб. *Из шести книг* на стр. 122. Во всех последующих изданиях и вплоть до *Бега времени* – "стрелой" (стр. 93).

последующей ("Ты превращен в мое воспоминанье"); к ней она не относится.*

Потом я принялась ее допрашивать по нашему с Тусей списку. И предлагать некоторые перемены в пунктуации. Она отвечала и соглашалась охотно. Только один раз, когда я предложила многоточие, ответила: "Не надо... Не люблю". Иногда она не могла ответить на вопрос – такой или другой поставить знак? Тогда я просила ее прочесть вслух 2-3 строчки и ставила знаки в соответствии с ее интонациями.

Она продиктовала мне строфу из стихотворения "Борис Пастернак", наличествующую в книге "Издательства Писателей" и почему-то убранную в Гослите. И восстановила несколько эпитетов.**

Танечка принесла ей экземпляр, который вернул Юрий Николаевич из Детского – тот самый, с поправками Анны Андреевны и Михаила Леонидовича. Я взглянула: в самом деле, совсем другой вид. Ю.Н. и Таня добились со скандалом старинного шрифта.

Все новые стихи в верстке Гослита я, строка за строкой, считала с экземпляром "Издательства Писателей". Анна Андреевна не помогала мне, даже мешала, заговаривая, но смотрела с благоговением на корректурные значки и смешно радовалась моему умению их ставить.

Я кончила.

– Неужели все стихи кажутся вам плохими? – спросила я, вспомнив давешний разговор.

– Все, или почти все... Уверяю вас: плохие стихи, плохая книга. А вот: "Он длится без конца – янтарный, тяжкий день" – это я люблю.***

Я сказала, что стихи "Где, высокая, твой цыганенок" меня всегда трогали чуть не до слез.****

---

*) Однако, в обоих сборниках, и в *Из шести книг*, и в *Беге времени*, пунктуация не соответствует моей записи.

**) Которая строфа – не помню; одна из трех: IV, V или VI; а эпитеты, кажется: "смертельный" и "кладбищенский".

***) *БВ, Четки* – (№30).

****) *ББП, Четки* – (№31).

— Это давние дела, — непонятно ответила Анна Андреевна. И, ничего не объяснив, продиктовала мне мелкие поправки к стихотворению ”Не будем пить из одного стакана”.*

— Михаил Леонидович обиделся, увидав, что я переменила, сделала не так, как было в молодости. И вот, восстанавливаю по-старому, — объяснила она.

”Как? Значит это ему!” — подумала я, но не произнесла.

Ида подала нам обед. Анна Андреевна старалась быть приветливой и любезной, но была суха и рассеянна. Впрочем, очень мило рассказала о нашем Данииле Ивановиче; она познакомилась с ним на днях, и он ей понравился.

— Он мне сказал, что, по его убеждению, гений должен обладать тремя свойствами: ясновидением, властностью и толковостью. Хлебников обладал ясновидением, но не обладал толковостью и властностью. Я прочитала ему ”Путем всея земли”. Он сказал: да, властность у вас, пожалуй, есть, но вот толковости мало.[53]

Она заторопилась домой: Владимир Георгиевич к 6 часам должен привезти какого-то врача.

Ушла. А из Гослита ко мне прислали за версткой. Я написала руководство для техредов; приложила также фотографию, принесенную Анной Андреевной (1936, ”хорошая фотография, тут я уже не моложусь”).

А вечером, вернувшись из редакции домой, позвонила мне Таня. Оказывается, вокруг Анны Андреевны целая интрига — и она была права, не желая подписывать договор с двумя издательствами сразу. Гослит ее обманул, уверив, будто располагает каким-то особым разрешением. Никакого у них нет и быть не может: напротив, выпускать одинаковые книги одновременно в двух местах запрещено категорически. И теперь каждое издательство торопится выпустить книгу первым, чтобы поставить под удар чужую.

И все это плетут вокруг человека, который так не хочет, изо всех сил не хочет оказаться в ложном, недостойном положении...

Я ей не расскажу. Она заболеет. Сделать же все равно уже ничего нельзя.

---

*) *БВ, Четки* — (№32).

А что, если первой выйдет "Ахматова *pour les pauvres*"? А "писательская" не выйдет совсем?*

11 мая 40.

Вчера вечером, когда у меня сидели Шура и Туся, позвонил Владимир Георгиевич и сказал, что Анна Андреевна просит разрешения зайти и показать корректуру из *Звезды*. Мне это было не особенно удобно (мы работали), но я, разумеется, сказала "жду".

Она появилась очень поздно, в двенадцатом часу, нарядная, вся в черном шелке, любезная, светская и даже веселая. Познакомившись с Тусей (Шуру-то она уже видела раньше), она сразу сообщила нам весьма оживленно, что потеряла брошку – египетскую, – целых два часа искала и так и не нашла. "Брошка лежала на комоде... Беда в том, что у Пуниных домработница новая".

– У меня сегодня две неприятности, – весело пояснила она, – во-первых, брошку потеряла, во-вторых, вот эту книгу приобрела.

И протянула Тамаре книгу, полученную ею сегодня в подарок от Шкловского. Туся огласила надпись... Кончается так: "мне очень трудно".[54]

Анна Андреевна отозвалась о книге крайне неодобрительно. Затем она вручила мне верстку своих стихов в *Звезде*. Я прочитала. Опечаток уйма. Анна Андреевна проявила полную непоследовательность, разрешив мне вставить в "Бориса Пастернака" новое четверостишие, но не разрешив заменить эпитеты.** Затем, для верности, прочитали корректуру по очереди и Шура, и Тамара.

"Последний тост" решено выбросить, чтоб не дразнить гусей.

Шура ушла. Мы сели чай пить. Заговорили о деятельности Петра Иваныча.

– Это как бубонная чума, – сказала Анна Андреевна. – Ты еще жалеешь соседа по квартире, а уже сама катишь в М.***

---

*) Случилось наоборот: *Из шести книг*, сборник "Издательства Писателей", вышел; гослитовский же не вышел совсем. Когда именно была прикончена гослитовская книжка и при каких обстоятельствах – не помню.

**) В пятом четверостишии: "февральская" (вместо "московская"), "прозрачный" (вместо "смертельный"). См. *Звезда*, 1940, №3-4 – (№1).

***) В Магадан.

Я попросила Анну Андреевну почитать стихи – попросила и сейчас же раскаялась: ей, видно, не хотелось, но она считала неловким отказать мне и Тусе после того, как мы возились с ее корректурами.

– Скажите, Лидия Корнеевна, что читать? – спросила она подчеркнуто покорным голосом.

Она прочла про память (с новыми первыми строчками), потом начала какую-то поэму 1924 года, но сбилась и бросила, потом "Путем всея земли".*

Туся заговорила о "Путем". Сказала, что вещь очень современная, что вещь отозвалась на гул времени.

– Я все стараюсь обобщить, – ответила Анна Андреевна, – каким людям она нравится, каким – нет. Но обобщение не удается. Я думала: искушенным в литературе будет нравиться, людям попроще – нет. А все оказалось не так. Борису Леонидовичу она, например, совсем не понравилась. Хармс упрекнул ее в недостаточной толковости. А вот Александру Николаевичу** она так понравилась, что он обошел вокруг стола, чтобы поцеловать мне руку, и говорил всякие высокие слова... Ну, что вам еще прочесть? Никак не вспомню.

– Не читайте ничего, – сказала я.

– А можно? Тогда я не буду.

Но чуть только Тамара начала рассказывать о работе над исторической хрестоматией и перечислила несколько заглавий, – Анна Андреевна, наверно по ассоциации, сама предложила: – Я вам прочту "Клеопатру".

Прочла. Потом смешно рассказала о своей беседе в Москве с одной молодой поэтессой.

– Я в Москве чувствовала себя плохо, уставала, мучилась от парового отопления и ждала звонка. А тут меня стали просить, очень настойчиво, чтобы я приняла одну молодую даму, пишущую стихи, мечтающую меня увидеть и т.п. Просили люди, у которых

---

*) "Про память" – "Подвал памяти"; поэма 1924 г. – *Русский Трианон*. Сохранившиеся отрывки из этой поэмы (и черновые наброски к ней) см. в сб. *Памяти А.А.*, стр.12.

**) Тихонову (Сереброву).

я гостила, и я не могла отказать им. Назначили время. Она явилась, страшно извинялась, что по каким-то причинам не принесла мне в подарок свою книгу, прочитала стихи. Я вообразила, будто она интересуется моим мнением, подробно разобрала одну ее вещь и сказала ей, между прочим, что вот у Пушкина в *Полководце* и Эрмитаж, и Барклай, и время, и он сам – и все это умещается на сравнительно небольшой площади – а у нее вещь длинная, но незаполненная. Она ответила: "и у Пушкина не всегда так". Потом я читала ей свои стихи. Прочла несколько стихотворений, после одного она сказала: "Вот *это* хорошо". Когда она ушла, мне объяснили, что она очень важная шишка. Значит, я совершенно напрасно вела себя с ней как мэтр.

– По-видимому, – сказала Туся, – она представляла себе это свидание иначе: встреча двух представительниц поэзии разных поколений. В ее мечтах вы на прощание подарили ей свой портрет с надписью: "Победителю ученику от побежденного учителя"...

Когда Анна Андреевна и Туся собрались уходить, было 2 часа ночи. Мы вышли все втроем. На улице было тепло, полусветло и тихо. Изредка нам попадались пьяные. Один из них крикнул нам: "ддевочки, пойдемте".

– Однажды я шла от вас, – припомнила Анна Андреевна, – был какой-то праздник – и ко мне не приставал только тот мужчина, который в эту минуту приставал к какой-нибудь другой женщине. Им ведь все равно: от 15 до 65 лет все годятся.

Мы подошли к Невскому. Он был пуст. Анна Андреевна пересекла его вместе с нами свободно и легко.

– Когда уже нам удастся разлюбить этот город! – сказала я.

– Мне это уже вполне удалось, – отозвалась Туся.

– Я тоже увидела другой его лик, – сказала Анна Андреевна, сразу догадавшись, что имеет в виду Тамара.* – А вы заметили: в конце Литейного всегда, когда ни взглянешь, лежит туча. Она бывает разных цветов, но лежит там всегда.

Продолжая разговор о пьяных, Анна Андреевна рассказала, как, когда у нее однажды на улице подвернулся каблук и она

---

*) То есть, что речь идет о застенке.

топнула ногой, чтобы он стал на место, один прохожий сказал: "Ты мне еще топни, топни, посмей только!"

– А жаль, что из города почти исчезли лошади, – сказала Туся. – Я любила из-за окон цокающий стройный звук, или мягкий на торцах.

Анна Андреевна стала рассказывать о верховой езде, т.е. о том, как ездил верхом Н.С.*

– Когда К.Г.** был вольноопределяющимся, я навещала его под Новгородом, и он говорил мне, что учится верховой езде заново. Я удивлялась – он отлично ездил на лошади, красиво и подолгу, по много верст. Оказалось, это не та езда, какая требуется в походе. Надо, чтобы рука непременно лежала так, а нога этак, иначе устанешь ты или устанет лошадь и т.д. И без битья не обходится ученье. Он рассказывал, что великого князя берейторы стегали по ногам.

Мы дошли до ее ворот со стороны Литейного. Тут Туся простилась в нами. Анна Андреевна любезно пообещала прислать ей книгу в подарок. Я, как всегда, проводила Анну Андреевну через двор и вверх по лестнице до самых дверей. И, как всегда, идти от нее назад мне было почему-то совсем не страшно. Впрочем, ночи уже не черные, а серые.

14 мая 40.

У Анны Андреевны беда – все то же. Из доброго ее колдовства ничего не прядется.

Сегодня она вызвала меня к себе днем, усадила на диван, сама села рядом и рассказала подробно о новой своей неудаче.*** Она какая-то торжественная, тихая, аккуратно причесанная, с челкой и даже со знаменитым своим гребнем в волосах. Но торчит он как-то криво.

– Это мне Вовка так заколол, – сказала она, проследив мой взгляд и вынимая из волос гребень.

---

*) Николай Степанович Гумилев.
**) Коля Гумилев.
***) Очередная неудача в хлопотах о Леве.

Вошли мальчики, Вовка и Валя, она поцеловала каждого в обе щеки и велела им идти к себе.

— Шакалик такой ласковый. Сегодня говорит: "ня, голубка, доченька..."

Я сидела возле, не находя никаких слов, никаких утешений. Я не Шакалик и не могу сказать ей: "ня, голубка, доченька". Но может быть ей все-таки делалось легче от того, что кто-то сидел рядом и слушал — короткие слова, длинные молчания...

15 мая 40.

Вечером я была у Анны Андреевны. У нее — Лотта. Анна Андреевна грустная, желтая сидела в своем кресле, раскинув руки — а Лотта болтала без умолку, стараясь, видимо, ее развлечь. Болтала очень развязно, но иногда в самом деле остроумно. Анна Андреевна отвечала коротко, иногда не отвечала совсем, но остротам смеялась.

В комнате появился — на что обратила мое внимание Лотта — сундук. Большой, кованый — "XVI века, — пояснила нам Анна Андреевна. — Я держу в нем книги. У меня очень неинтеллигентная комната: книг не видно. Они в комоде — и вот в сундуке".

— И под креслом, — сказала Лотта.

Она нашла, что в этом сундуке очень бы хорошо держать шелковые платья и длинные свечи.

— Ах, как бы мне хотелось венчаться! — закончила Лотта. — В церкви, и чтобы все как положено.

— Я венчалась, — сказала Анна Андреевна. — По всем правилам. И, уверяю вас, гораздо интереснее смотреть, как венчаются другие, чем венчаться самой.

Лотта стала рассказывать всякие анекдоты о неграмотных учителях. В самом деле, смешно и страшно. Анна Андреевна рассказала, как, несколько лет тому назад, Анна Евгеньевна уехала с Ириной на Кавказ и не вернулась к началу занятий.

— Из школы пришла грозная повестка. Николай Николаевич попросил меня пойти туда, поговорить. Я пошла. Вижу "Учительская". Вхожу — там какая-то женщина. Протягиваю повестку ей. Она налилась красной кровью, даже похорошела. "Вы понимаете,

что ей грозит исключение?” Она ждала просьбы. А я вдруг как заору: ”Ну и валите! Исключайте! Мне-то что! Мне наплевать! Я просто соседка по квартире”. (Анна Андреевна произнесла эти слова, столь необычные в ее устах, несколько раз — ”валите! мне наплевать!” — видимо радуясь их грубости.) Она как-то вся обмякла и сразу смолкла.

Оказывается, Анна Андреевна и Лотта поджидали Роз.,*который звонил из ”Издательства Писателей” и обещал в 7 часов принести сигнальный экземпляр. Было однако уже 9. Лотта принялась уговаривать Анну Андреевну не ждать его, а выйти с нами пройтись.

— Нет, я уж подожду его, — сказала Анна Андреевна.

— Не можете перенести лишней минуты разлуки с экземпляром? Признайтесь! — закричала Лотта.

— Нет, не то. Я ведь обещала ему быть дома.

— Свинство так опаздывать. Он говорил: в 7 часов, а сейчас 9.

— Он воображает, — сказала Анна Андреевна, — что если у него в руках такой предмет, он может придти, когда ему угодно. Попозже и с ночевкой!

— Ну, если с ночевкой, — заявила Лотта, — то мы уходим. Идемте, Лидия Корнеевна!

И мы ушли.

20 мая 40.

Сегодня, раздобыв для Анны Андреевны *Русскую Мысль* со статьей Недоброво, — о чем она давно просила, — я начала ей звонить. Звоню: раз, другой, третий, — занято. И чуть только я, досадуя, повесила трубку — звонок: звонит Анна Андреевна и просит придти.

Желтая, больная, лежит на диване под толстым одеялом, в халате, с неубранными волосами.

— Сердце шалит. Я сегодня устала — была во ВТЭК’е. Мне дали вторую категорию, а раньше была третья. Я постепенно приближаюсь к идеалу инвалидности. У меня нашли перерождение клапана сердца.

---

*) — ?

Но сегодня она не такая грустная, как в последние разы. По-видимому, виною тому синенькая фото-телеграмма, которую она дала мне прочесть.*

На кресле я увидела книгу – сигнальный экземпляр – и, конечно, с жадностью схватила его и принялась разглядывать.

– Пожалуйста, спрячьте книгу в ящик комода, – почти невежливо приказала Анна Андреевна. – Поглубже, поглубже. И задвиньте ящик. Я не люблю ее видеть.

– Это у вас профессиональная болезнь наоборот, – сказала я.

– Я прочитала "Путем всея земли" еще одному очень понимающему человеку, – начала рассказывать Анна Андреевна. – Он был ошеломлен.

– Как и я.

– Может быть это потому, что там есть новая интонация. Совсем новая, какой еще никогда не было. Ведь ошеломляет только новое... А двое слушателей признались, что не поняли: Сандрик** и Ксения Григорьевна.

И, наверное, вспомнив, как интересно говорила об этой вещи Туся, прибавила вдруг:

– Приходите ко мне когда-нибудь вместе с Тамарой Григорьевной, хорошо?..

... – Вот, посмотрите, Владимир Георгиевич принес мне целую кипу стихов из Лавки писателей. – Она изогнулась по-акробатски, достала со стула кипу маленьких книжечек и положила их ко мне на колени. – В Лавке всегда говорят ему: вышли стихи, это, наверно, Анне Андреевне будет интересно. – Найдите А.Е. Читайте.

Я прочитала маленькое стихотворение о любви, вялое, эклектическое.

– Подумайте, как холодно, как равнодушно, – говорила Анна Андреевна. – И о чем он пишет так! Самое главное в стихе – своя, новая интонация... А тут все интонации чужие. Как будто сам он никогда не любил.

Я спросила, как она относится к Остроумовой – я собираюсь повести на выставку Люшу.

---

*) – ?
**) А.Н. Болдырев.

— Да... люблю... но, пожалуй, средне. Меня тоже маленькую водили в Эрмитаж и в Русский музей, который тогда был совсем молодой. Мы жили в Царском, мама возила меня из Царского. Чего я терпеть не могла, так это выставок передвижников. Все лиловое. Я шла по лестнице и думала: насколько эти старые картины, развешанные на лестнице, лучше.

Анна Андреевна попросила меня дать ей с комода топаз и положила его себе на грудь, на сердце.

— Холодный, — заметила она. — Хорошо.

Разговор набрел на Маяковского и Бриков — я рассказала о нашем детиздатском однотомнике, и о поездке моей и Мирона Левина в Москву к Брикам. Общаться с ними было мне трудно: весь стиль дома — не по душе. Мне показалось к тому же, что Лиля Юрьевна безо всякого интереса относится к стихам Маяковского. Не понравились мне и рябчики на столе и анекдоты за столом... За столом сидели, кроме меня и Мирона, приехавших по делу, Примаков, Осип Максимович и "наша Женичка". Более всех невзлюбила я Осипа Максимовича: оттопыренная нижняя губа, торчащие уши и главное — тон, не то литературного мэтра, не то пижона. Понравился мне за этим семейным столом один Примаков — молчаливый и какой-то чужой им.[55]

— Очень плохо представляю себе там, среди них, Маяковского, — сказала я.

— И напрасно, — ответила Анна Андреевна. — И вы, и не вы неправильно делаете, что в своих представлениях отрываете Маяковского от Бриков. Это был его дом, его любовь, его дружба, ему там все нравилось. Это был уровень его образования, чувства товарищества и интересов во всем. Он ведь никогда от них не уходил, не порывал с ними, он до конца любил их.

Я сказала, что рассуждать об отношениях Маяковского с Бриками я не вправе, потому что про это не знаю, но была удивлена небрежностью их работы, полным равнодушием к тому, хорош ли, плох получится однотомник, за который они в ответе.

— Это дело другое. Но и сам он в своих отношениях к литераторам и литературе был на их, то есть на очень невысоком уровне. Однажды Николай Леонидович Степанов[56] спросил у него о Хлеб-

никове. Он ответил: "а к чему сейчас Хлебникова издавать?" Так он отозвался о своем товарище, о своем учителе... В чем же тогда разница между ним и Бриками? Они равнодушны к изданию его стихов, он – к изданию стихов Хлебникова. Разница есть, и большая, но она в другом: в его великом таланте. В остальном – никакой. Он, так же, как и они, бывал и темен, и двуязычен, и неискренен... Но это не помешало ему стать крупнейшим поэтом XX века в России.

Постучал и вошел Владимир Георгиевич. Она очень нежно усадила его у своих ног на диван. Он жаловался – устал безмерно – вскрытия, экзамены. Зашел узнать о результатах медицинского осмотра. Анна Андреевна, снова изогнувшись по-акробатски, достала с кресла заключение врачей. Он прочел, произнес: "все вздор, полуграмотная чепуха", и поднялся. Перед уходом наклонился к ней, близко заглянул ей в глаза и спросил инфантильным тоном, каким часто говорил с ней при мне:

– Вы хорошая сегодня?

– Хорошая, – ответила Анна Андреевна и передала ему синенькую телеграмму.

(В самом деле, она сегодня хоть и больна, но гораздо веселее, чем в недавние дни).

Я хотела уйти вместе с В.Г., потому что нам по дороге, но Анна Андреевна положила мне руку на колено: "Посидите со мной еще немного", – и я осталась.

Анна Андреевна поднялась на минуту, нашла варенье и сахар, включила чайник и снова легла. Заговорили о собирателе материалов.*

– Он приходил ко мне и рассказывал все, что насобирал. Так я узнала, как обо мне дурно думают люди. Одна дама обещала ему к следующему разу припомнить: чей сын в действительности Лева – Блока или Лозинского? А я ни с Блоком, ни с Лозинским никогда не была близка. И Лева так похож на Колю, что люди пугаются. Моих черт в нем почти нет... Но чего только обо мне не говорили!

---

*) – ?

– А собрал ли он что-нибудь дельное? – спросила я. – Или одни только сплетни?

– Пустяки! Да ведь он и сам скоро сделался великим писателем земли русской.

Потом она рассказала мне о безобразном поступке "Ленинских Искр". Без спроса газета напечатала стихотворение о Маяковском, которое Анна Андреевна дала не "Искрам", а "Литературной", да к тому же напечатала с ошибками: в 12 году, вместо в 13, "до сих пор", вместо "до тех пор"...

– А заглавие! Пошлейшее: "поэтесса – поэту". Какая гадость! Стыдно теперь и на улицу выйти.

Я ей рассказала о стихах Благининой, где, как и в знаменитых ахматовских, флаги развешаны на деревьях осенью.* Впрочем, добавила я, стихотворение Благининой мне нравится.**

– Что ж, – сказала Анна Андреевна, – я ничего тут не вижу. И Пушкин так всегда делал. Всегда. Брал у всех, все, что ему нравилось. И делал навеки своим.

Она стала расспрашивать меня о Люше, я рассказала о Люшиных любимых книгах – Диккенсе, Пушкине – отсюда мы перешли к Чарской, и я пересказала ей Тамарин рассказ о том, как Тамара и Зоя, по поручению Литфонда, относили Чарской деньги и как Лидия Алексеевна, со скромной гордостью, весьма картинно, повествовала о девочках-школьницах, навещающих ее и задающих роковые вопросы. "Они приходят ко мне с самым своим задушевным", – говорила Лидия Алексеевна, прижимая обе руки к сердцу и слегка задыхаясь.

– Ко мне тоже приходят, и тоже все с роковым и самым задушевным, – сказала Анна Андреевна. – Но кто пришел один раз, тот во второй не сунется, так я их встречаю.

---

*) Осень ранняя развесила
Флаги желтые на вязах, –

строки из стихотворения Ахматовой "Мне с тобою пьяным весело" – *БВ, Вечер.*

**) Ошибка записи: в стихах Елены Благининой подобных строк нет. (Примеч. 1975 г.).

Помолчали. Когда она долго молчит – я уже научилась понимать – она готовится. И в самом деле: черный обряд. Замо́к и дверь.*

– Какая жесткость, сила, – сказала я.

– Вы находите? Я так и хотела.

Опять помолчали. Я вспомнила об утреннем телефонном совпадении: я звонила ей – она мне. Одновременно. Я рассказала ей об этом.

– У меня всегда так, – объяснила она. – Со всеми так.

21 мая 40.

Сегодня я вспомнила один не записанный мною сразу рассказ Анны Андреевны – в ответ на мой вопрос. Вспомнила точно.

Я спросила у нее однажды, как это так бывает, что не понимаешь стихов, а любишь их? Почему нам с Женей Лунц[57] было –

---

*) Записала, дала мне запомнить и сожгла стихотворение:

И вот, наперекор тому,
Что смерть глядит в глаза, –
Опять по слову твоему
Я голосую з а :

То́, чтоб дверью стала дверь,
Замок опять замком,
Чтоб сердцем стал угрюмый зверь
В груди... А дело в том,
Что суждено нам всем узнать,
Что значит третий год не спать,
Что значит утром узнавать,
О тех, кто в ночь погиб.

(сб. Памяти А.А.)

Читая мне это стихотворение, А.А. произнесла эпиграф, сказав: "В лесу голосуют деревья. Н. Заболоцкий". Сколько я ни искала впоследствии у Заболоцкого эту строку – я ее не нашла... Оказывается (на что обратил мое внимание Вяч. Вс. Иванов), А.А. вольно или невольно проредактировала для эпиграфа строки из стихотворения Заболоцкого "Ночной сад", из первоначального варианта:

И души лип вздымали кисти рук,
Все голосуя против преступлений.

("Литературный современник", 1937, №3) – Примеч. 1975 г.

мне 11, а ей 10 лет, когда мы влюбились в блоковскую "Незнакомку" и, после уроков, спрятавшись между двумя плотными дверьми – то есть, собственно, в шкафу, – упоенно читали в два голоса или по очереди:

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу
И очи синие, бездонные
Цветут на дальнем берегу.

Мы еще никогда не пили вина, не видывали пьяниц с глазами кроликов, не знали ресторана – не понимали и того, что стоит за этими стихами, но любили их до упоения.

– Они были для вас новой гармонией, вот чем, – сказала Анна Андреевна. – Таким был для меня Иннокентий Анненский. Я пришла один раз к К.Г.* Он кончал срочную корректуру. "Посмотрите пока эту книгу", сказал он мне и подал только что вышедшую книгу Анненского. И я сразу перестала видеть и слышать, я не могла оторваться, я повторяла эти стихи днем и ночью... Они открыли мне новую гармонию.**

24 мая 40.

Вчера вечером, поздно, когда я около одиннадцати пришла к Шуре, она встретила меня словами: "Не застав тебя дома, Анна Андреевна звонила сюда".

У меня сердце остановилось от испуга. И, наверное, это было заметно.

– Да нет, ничего не случилось! – сказала Шура. – Напротив, хорошее! Анна Андреевна просила тебе передать, что ею получены авторские и ты можешь хоть сейчас идти к ней и получить экземпляр.

---

*) Коле Гумилеву.

**) Я только недавно заметила, что, говоря со мной о "новой гармонии", А.А. воспользовалась выражением Пушкина. Так, в письме к П.А. Вяземскому от 5 июля 1824г. Пушкин писал: "Ламартин хорош в Наполеоне, в Умирающем поэте – вообще хорош какой-то новой гармонией". (А.С. Пушкин *Полное собр. соч. в десяти томах*, т.10, М.–Л., изд-во АН СССР, 1949).

(Примеч 1980г.)

Надо было позвонить немедленно в ответ на такой добрый и поспешный зов, но Шурина мама спала там, где телефон, и мне неудобно было ее беспокоить.

Я позвонила сегодня утром, и когда Зоечка повела Люшу и Таню – по случаю их школьных успехов – в кафе "Норд", отправилась к Анне Андреевне.[58]

В комнате у нее на маленьком столике розы, а я не догадалась в такой день принести цветы!

Анна Андреевна лежит, а на стуле, рядом с диваном, столбики белых книг. Дожили мы, значит, все-таки до светлого дня. Мне хотелось сразу схватить книжечку и рассмотреть ее, но я не решилась.

Анна Андреевна выглядит дурно, лицо грустное, желтое, волосы заколоты кое-как.

Оказывается, завтра ее будут оперировать – опухоль на груди, нестрашная, незлокачественная: вечером она уже придет домой. Я спросила, под каким наркозом.

– Не знаю. И не интересуюсь знать. Мне это все равно. Хотя бы и совсем без наркоза. Я никогда не боялась физической боли. Однажды один мой знакомый мельком проговорился при мне, что боится удалить зуб без наркоза – и сразу перестал быть мне интересен. Я таких людей не умею уважать.

Оперировать меня будут завтра, в три часа, но я так прочно позабыла об этом, что даже назначила одной даме придти завтра в три часа за книгой.

Книга была, оказывается, запрещена Обллитом, – продолжала Анна Андреевна. – Вот почему несколько дней мне из издательства весьма туманно отвечали на вопрос, когда прибудут авторские. Оказывается, 16-го книгу запретили, а 22-го разрешили. Вчера она поступила в Лавку писателей, по записи роздали писателям 300 экземпляров, а на прилавок не положили ни одного…

Я сказала, что, стало быть, книгу получили одни только хорошие знакомые, которым, так или иначе, стихи эти все равно известны.

– То есть, вы хотите сказать, *нехорошие* знакомые, – поправила меня Анна Андреевна. – Члены Союза моих стихов никогда не знали и знать не хотели, они моих стихов не любили и сейчас берут книгу в Лавке потому, что вот, мол, достать ее простым смертным невозможно, а они – пожалуйста! – могут получить. Это укрепляет их чувство превосходства, привилегированности. Поэзию же мою

они терпеть не могут. Они ведь всегда считали, все эти 20 лет, что не к чему вытаскивать из нафталина это старье... А я бы хотела, чтобы моя книга дошла до широких кругов, до настоящих читателей, до молодежи...

Потом она спросила меня, прочитала ли я статью Недоброво в *Русской Мысли* и что о ней думаю.

Я сказала: – Статья глубокая, умная, особенно интересно говорит он о героях стихов. Но...

– Потрясающая статья, – перебила меня Анна Андреевна, – пророческая... Я читала ночью и жалела, что мне не с кем поделиться своим восхищением. Как он мог угадать жесткость и твердость впереди? Откуда он знал? Это чудо. Ведь в то время принято было считать, что все эти стишки – так себе, сантименты, слезливость, каприз. Паркетное ломанье. Статья Иванова-Разумника кажется так и называлась "Капризники"...[59] Но Недоброво понял мой путь, мое будущее, угадал и предсказал его потому, что хорошо знал меня.*

Мы снова заговорили о книге: она непременно разойдется за один день.

– В нашей стране очень любят стихи, – сказала я.

– Да, удивительно. Нигде в Европе этого нет. В Париже я рассказала одному поэту, сколько раз переиздаются у нас книги стихов – он едва верил. Публичные чтения у них не приняты. Если знаменитый художник сделает рисунки или виньетки к новой книжке стихотворений – тогда она приобретает шанс быть распроданной.

---

*) По-видимому, А.А. имела в виду такое место из статьи Недоброво: "Эти муки, жалобы и такое уж крайнее смирение – не слабость ли это духа, не простая ли сентиментальность? Конечно, нет: самое голосоведение Ахматовой, твердое и уж скорее самоуверенное, самое спокойствие в признании и болей и слабостей, самое, наконец, изобилие поэтически претворенных мук, – все это свидетельствует не о плаксивости по случаю жизненных пустяков, но открывает лирическую душу, скорее жесткую, чем слишком мягкую, скорее жестокую, чем слезливую и уж явно господствующую, а не угнетенную". (Н.В. Недоброво – "Анна Ахматова", *Русская Мысль*, 1915, кн. 7, стр. 639).

Как мне известно, в настоящее время многие исследователи заняты разработкой темы: "Ахматова и Недоброво". Пока же отсылаю читателя к *ББП*, стр. 461, и решаюсь высказать уверенность, что В.М. Жирмунский напрасно не упомянул среди стихов, обращенных к Недоброво, стихотворение 1928 г. "Если плещется лунная жуть" (*БВ, Тростник*). Примеч. 1980 г.

Из-за рисунков – вы подумайте! В России всегда любили стихи, а французы преимущественно заняты живописью.

Я поднялась уходить. Анна Андреевна взяла два экземпляра своей книги и надписала один мне, другой Тамаре. Я обратила ее внимание на то, как странно сделан перенос на корешке книги: "Стихот-ворения".

Вошел Владимир Георгиевич с букетом ландышей. Анна Андреевна взяла их у него из рук, нашла стакан и, ставя ландыши в воду, сказала нам:

– Утром я здесь лежала на диване, а кругом цветы, цветы... Совсем как мертвая.

29 мая 40.

Не записала вовремя. Теперь вспоминаю крохи.

Я пришла к Анне Андреевне 25-го вечером в день ее операции. Она лежала, укрытая и забинтованная, со спокойным и, я сказала бы, просветленным лицом. Операция прошла благополучно и длилась 20 минут. Назад она шла пешком, так как машины Владимиру Георгиевичу достать не удалось; повязка от ходьбы сползла, дома ей сделала новую перевязку медицинская сестра, ее знакомая, которая и завтра придет перевязывать.

Кажется, ни о чем интересном мы на этот раз не говорили, только одно мне запомнилось: она мельком сообщила, что к одной ее приятельнице, после двухлетнего разрыва, вернулся муж.

– Странно мне всегда это слышать, – сказала я. – Вернулся, вернулась... Я думаю, любовь так же невоскрешаема, как мертвец.

– Да, конечно... – помедлив, сказала Анна Андреевна. – Возвращаются не к человеку, не к прежней любви, а к стенам, к комнате.

Вчера мы были у нее с Тамарой. Мы встретились с Тусей в сквереке, купив цветы и пирожные, и посидели немного на скамеечке, пока Туся рассмотрела врученную ей мною книгу.

Анна Андреевна не лежит, бродит по комнате. Говорит, что был сердечный приступ. "Мой отец умер от первого", – сказала она. Лицо измученное. Все время была любезна, особенно с Тусей, только изредка впадала в рассеянность и молчание.

Туся осведомилась, нет ли в сборнике опечаток? Анна Андреевна, не ответив, вдруг произнесла:

– Всю жизнь меня мучает одна строка: "Где мил*ому му*жу детей родила". Вы слышите: Му-му?! Неужели вы обе, уж такие любительницы стихов, этого мычания не заметили?*

Туся рассмеялась, а потом ответила очень серьезно:

– Во-первых, никакого му-му не слыхать. Долгие слоги, протяжные: *ми*лому *му*жу: тут нет столкновения двух *му*, тут *ми* в начале одного слова и *му* другого. Столкновение му-му чисто зрительное, а не слуховое, то есть для стиха безразличное. А во-вторых, ведь эти два *му* совершенно естественны, заложены в самом языке, существуют там – зачем же избегать их? Какая же тут возможность замены? Толстому мужу? Доброму? Глупому? Все будет *му* – таков уж закон склонения в нашем языке.

Анна Андреевна уселась в свое любимое кресло, драное, хромое, и, раскинув по-своему руки, прочитала нам пушкинский "Памятник".**

Туся сказала:

– Есть такое выражение: нужно, как хлеб, как воздух. Я теперь буду говорить: нужно, как слово... Простите меня, Анна Андреевна, но даже вы, создавшая это, даже вы не знаете, как оно нужно. Потому что вы не были т а м – к великому всеобщему счастью... А я помню себя т а м , и помню лица и ночи... Если бы они, т а м , могли себе представить, что э т о есть... Но они уже никогда не узнают. Сколько уст смолкло, сколько глаз закрылось навсегда...

Помолчали. "Спасибо вам", – сказала Анна Андреевна. Потом заговорила о другом, спокойным голосом:

– 23-го у меня был особенный день. Курьер из издательства привез мне экземпляры, друзья приходили, приносили цветы. Я лежала, мне было нехорошо: сердце. Вошла ко мне в комнату Таня, поглядела на меня, поглядела на цветы, фыркнула:

---

*) "Лотова жена" – *БВ, Anno Domini.*

**) Шепотом; усадив нас возле; и не пушкинский, а свой – эпилог *Реквиема*, где есть такие строки:

А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне... (№33)

— Беспокойная старость! — и вышла.

В тот же день высказался и Николай Николаевич. Он забежал на минутку, поглядел на цветы, поглядел на книжки: "Я вижу, Аничка, вы переживаете вторую молодость!" — И выбежал очень сердито. Так поздравили меня мои соседи — и с той и с этой стороны.

Мы с Тусей поднялись. Было более часа ночи. Провожая нас до дверей, Анна Андреевна сказала Тусе:

— Так значит я могу не стыдиться му-му? И не переделывать строчку?

1 июня 40.

Вчера Анна Андреевна позвонила мне утром и попросила непременно зайти. А у нас — гвозди, веревки, тюки, ящики, полный разгром; друзья раздобыли для меня внезапно бесплатный грузовичок, необходимо было такой удачей воспользоваться. Ида едет с большими вещами, а я должна накормить девочек, собрать их мелкие вещички и часа через три ехать поездом. Мы с Идой мечемся. Девочки в ажиотаже, укладывают кукольные чемоданчики и рвутся на вокзал, хотя поезд наш нескоро.

Я сказала Анне Андреевне, что непременно зайду к ней, но не сразу и ненадолго.

Отправив грузовик, я взяла чемодан с мелкими вещами, Люша и Таня — свои кукольные, заперла наши комнаты, и мы отправились на вокзал — но по дороге зашли к Анне Андреевне. Девочки обещали подождать меня внизу на досках, сторожа наше барахлишко, а я поднялась к Анне Андреевне.

Оказалось, она хотела познакомить меня со статьей, написанной каким-то молодым человеком для "Литературного критика", статьей, которую Катя* принесла показать ей. Я прочитала. Статья развязная и неверная. Автор, некто О., говорит, что Ахматова воскрешает в своей поэзии ложноклассическую традицию Расина, что героиня ахматовской поэзии — героиня расиновского театра.

---

*) "Катя" — Екатерина Романовна Малкина. О ней см. примеч. [61]

— А я Расина совсем и не читала, когда начала писать стихи, и театр его был мне неизвестен, — сказала Анна Андреевна.

— Да ведь не в том дело, читали вы Расина или нет! — закричала я. (Крикливость моя вызывалась, по-видимому, глупостью статьи и еще тем, что меня ждали девочки и я торопилась). — В ваших стихах ничего ложноклассического нет и ничего расиновского. Они растут из русской классики, преображая ее, в них нет ничего риторического, они начисто лишены пышности, они — сама естественность и тишина, они — живая, русская, и притом современная речь. Откуда же тут взяться Расину? И знаете что? — вдруг осенило меня, — ведь это все он придумал из-за четырех мандельштамовских строчек:

Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.

и

Так — негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель.

Вот вам и вся причина его многоумных догадок о вашей поэзии!

— Осип имел здесь в виду вовсе не мою поэзию, — сказала Анна Андреевна. — Тогда мы чуть ли не каждый день встречались в Цехе, и он просто написал о женщине, которая ему нравилась.

Я спросила, как она себя чувствует.

— Очень плохо. Кажется, никогда еще не было хуже. Пять сердечных припадков за пять дней. Владимир Георгиевич перепугался и даже посоветовал мне лечь в больницу. Может быть, от этого я сразу поправилась: вчера и сегодня приступов нет.

Мы снова заговорили о статье.

— Огорчила она меня, — сказала Анна Андреевна. — Вспомнился мне один вечер, на котором присутствовал величавый Бальмонт. О, он всегда был величав, ни на минуту не забывал, что он не простой смертный, а поэт. (Между прочим, как это ни странно, он и в самом деле поэт. Когда-то издан был сборник *Сирена*. Там были поэты и маленькие, и большие, и средние, а лучшим оказался Бальмонт. Стихотворение о луне — прелестное).[60] Да, так на этом пышном вечере сначала был ужин, потом одни уехали, другие

остались, и начались танцы. Я не танцевала. Бальмонт сидел рядом со мной. Заглянув в гостиную, где танцевали вальс, он сказал мне нараспев: "Я такой нежный... Зачем мне это показывают"... Мне тоже хочется сказать про эту статью: "Я такая нежная, зачем мне это показывают". Статья Перцова, написавшего про меня когда-то: "эта женщина забыла умереть вовремя", – задела меня гораздо менее.*

– Не понимаю, как может задевать вас такая чушь? – сказала я, но спорить уже было некогда. Выглянув в окно, я увидела Люшу и Таню. Они уныло сидели на досках, не спуская глаз с двери, из которой я должна была появиться. У Тани выражение лица скорбное, совершенный мальчик Пикассо с картины "Старик и мальчик". Кукольные чемоданчики лежали у них на коленях, а мой чемодан, полураскрытый, валялся на земле.

Пора было идти. Я поспешила к ним.

3 июня 40.

Я приезжала в город за продуктами и по всяким делам. Освободилась поздно и позвонила Анне Андреевне вечером от Туси. Она попросила придти. Она все еще сильно расстроена статьей О., обдумывает, встретиться ли с ним самой или передать свои соображения через Катю.

– Посоветуйте, самой или через Катю?.. Конечно, мнений его я оспаривать не стану, но укажу на фактические ошибки.

Памятуя об изобилии сердечных припадков, я посоветовала ей говорить с О. не лично, а через Катю. А то скажет ей этот ложноклассический мудрец мельком какую-нибудь новую глупость, а она потом сутками внутри себя будет опровергать ее. (Между прочим, у меня мелькнула мысль: не из этой ли способности сосредоточенно

---

*) В. Перцов. По литературным водоразделам. Журнал "Жизнь искусства", 1925, 27 октября. Глумясь над Ахматовой и ее стихами, Перцов, между прочим, писал: "... у языка современности нет общих корней с тем, на котором говорит Ахматова, новые живые люди остаются и останутся холодными и бессердечными к стенаниям женщины, запоздавшей родиться или не сумевшей вовремя умереть..."

полемизировать, опровергать, изобличать рождаются ее любовные стихи, такие раскаленно-драматические? Но это – мельком. Надо было дать совет о статье).

Я настаивала на ее встрече с Катей.

– Вы правы, через Катю было бы лучше, но, как это ни странно, Кате статья нравится. Она так погрузилась в свою рабочую сутолоку, что ничего уже не понимает. Я давно заметила: женщины, если у них есть профессия, служба, превращают ее для себя в настоящие шоры.[61]

Пожаловалась, что ей звонит Каминская, которая собирается устроить вечер поэзии Блока и Ахматовой и осведомляется, имеет ли Анна Андреевна что-нибудь против?[62]

– Разумеется, – все. Посоветуйте, что сказать ей, чтобы она не обиделась.

– Блок и Ахматова – очень уж неверное сочетание, – сказала я. – Да и вообще – никогда не следует в один вечер исполнять стихи двух больших поэтов зараз – погружать слушателей в два разные мира. Да и кроме того, Блок умер, а вы-то живы и сами можете читать свои стихи. Для чего вообще это надо, чтобы кто-то вместо вас исполнял их? Терпеть не могу, когда актеры читают стихи.

Постучался и вошел Николай Николаевич. Анна Андреевна встретила его любезно, но сесть не предложила. Он сообщил последние известия с фронта и вышел.

Анна Андреевна рассказала мне, что была в Пушкинском доме на панихиде по Якубовичу.

– Было хорошо, все говорили о нем очень сердечно. Особенно Томашевский. Якубович был бы так рад услышать эти слова, он всю жизнь обожал Томашевского прямо по-институтски.[63] И вот – не слышал... Когда гроб несли вниз по лестнице – на площадке зазвонили часы – там старинные часы с прелестным мелодическим звоном. А он уже их не слышал. Под ногами всех, кто нес гроб, и провожающих, на ступеньках валялись цветы – хризантемы, случайно рассыпанные. Я обошла их, не могла наступить – живые. Он их уже не видел. *

---

*) Не из этих ли хризантем выросли впоследствии строки в *Поэме без героя*:

И была для меня та тема,
Как раздавленная хризантема
На полу, когда гроб несут. ("Решка")

Я поднялась, прощаясь. Но Анна Андреевна удержала меня.

— Вы домой? Разве уже ночь? В белые ночи никогда не поймешь, когда спать ложиться...

(Я-то, к сожалению, всегда слишком хорошо понимаю, когда мне следует спать ложиться — и без часов, и в белые ночи, и всегда).

Анна Андреевна взяла тетрадь, надела очки, и я услышала:

"Царскосельский воздух", "Пятым действием драмы" и "В том доме было очень страшно жить" — ах, какое страшное, еще страшнее, чем "Страх, во тьме перебирая вещи".*

— Я никогда никому не читала этого... (Самой страшно)... А как вы думаете, это можно печатать? Если можно, то оно должно быть третьим: "Теперь не знаю, где художник милый", "Храм Ерусалимский" и вот это, о доме...**

Я решилась спросить у нее: сейчас, после стольких лет работы, когда она пишет новое — чувствует она за собой свою вооруженность, свой опыт, свой уже пройденный путь? Или это каждый раз — шаг в неизвестность, риск?

— Голый человек на голой земле. Каждый раз.

Помолчав, она сказала еще:

— Лирический поэт идет страшным путем. У поэта такой трудный материал: слово. Помните, об этом еще Баратынский писал? Слово — материал гораздо более трудный, чем, например, краска. Подумайте, в самом деле: ведь поэт работает теми же словами, какими люди зовут друг друга чай пить...

Потом она сказала еще:

— В молодости я была очень общительна, любила гостей, любила и сама бывать в гостях. Коля Гумилев объяснял мою общительность

---

*) Первые три стихотворения написаны в начале двадцатых годов и посвящены памяти Гумилева: "Все души милых на высоких звездах", "Пятым действием драмы" (*БВ, Седьмая книга* — (№34) и (№35) и "В том доме было очень страшно жить" — (№36). "В том доме..." А.А. собиралась ввести в *Эпические мотивы*, а еще позже — в *Северные элегии* (сделав ее третьей). Но работа над элегией осталась незавершенной, и потому А.А. не хотела ее печатать. (В сб. *Памяти А.А.* элегия опубликована как неоконченный набросок).

"Страх, во тьме перебирая вещи" — *ББП*, стр. 168 — (№23).

**) "Теперь не знаю, где художник милый" и "Храм Ерусалимский" — строки из *Эпических мотивов*, из второго и третьего отрывка (*БВ, Anno Domini)*.

так: Аня, оставаясь одна, без перерыва пишет стихи. Люди ей нужны, чтобы отдохнуть от стихов, а то она писала бы, никогда не отрываясь и не отдыхая.

Потом, безо всякого перехода, она прибавила:

– Второй брак его тоже не был удачен. Он вообразил, будто Анна Николаевна воск, а она оказалась – танк... Вы ее видели?

Я сказала, что видела: очень хорошенькая, с кротким нежным личиком и розовой ленточкой вокруг лба.

– Да, да, все верно: нежное личико, розовая ленточка, а сама – танк. Николай Степанович прожил с нею какие-нибудь три месяца и отправил к своим родным. Ей это не понравилось, она потребовала, чтобы он вернул ее. Он ее вернул – сам сразу уехал в Крым. Она очень недобрая, сварливая женщина, а он-то рассчитывал, наконец, на послушание и покорность.*

Идя домой и припоминая неумную статью О., всю – невпопад, всю – мимо, я думала о той, которую я напишу когда-нибудь сама. Это будет статья о мужестве, женственности, о воле, о постоянном ощущении себя и своей судьбы внутри русской культуры, внутри человеческой и русской истории: Пушкин, Дант, Шекспир, Петербург, Россия, война... Она не может ни любить, ни ссориться в стихах, не указав читателю с совершенной точностью момент происходящего на исторической карте...

8 июня 40.

Вчера утром я позвонила Анне Андреевне и предложила ей поехать вместе со мной на несколько дней к девочкам на дачу. Я бы засунулась к Люше и Тане, а ей отдала бы свою комнату. Она ответила: "Не могу сегодня. Приходите ко мне скорее".

Часа в два я выбралась к ней. Выглядит очень плохо, глаза усталые, лицо осунувшееся и словно потерявшее четкость, отчетливость очертаний.

– Что с вами? Вы хворали эти дни?

– Нет.

---

*) Анна Николаевна Энгельгардт (ок. 1897– ок. 1942) – вторая жена Гумилева.

И рассказала мне свою очередную достоевщину, в самом деле и страшную и нудную. Хорошенький клубочек – эти дети, которых она нянчит, и этот Двор Чудес.*

Она собиралась на обед к Рыбаковым, но все не отпускала меня, и мы разговаривали долго. Я призналась, что сильно хочу есть, и Анна Андреевна, к моему удивлению, очень ловко разогрела мне котлету с картошкой на электрической плитке.

– Да вы, оказывается, отлично умеете стряпать, – сказала я.

– Я все умею. А если не делаю, то это так, из одного зловредства, – ответила Анна Андреевна.

Я сказала, что сегодня с раннего утра сидела у Туси, и мы, вместо того, чтобы делать свою работу, рассуждали о поэзии Анны Ахматовой, причем Туся высказала по этому поводу собственную теорию.

– Расскажите, пожалуйста, она умная женщина и мне интересно, – попросила Анна Андреевна.

И я сразу пожалела, что проговорилась. Туся обладает замечательным даром слова, которого я лишена. Она сама развила бы свою мысль гораздо сильнее и богаче. А я могла передать только схему.

При первом восприятии поэзия Ахматовой не поражает новизной форм – как, скажем, поэзия Маяковского. Слышатся и Баратынский, и Тютчев, и Пушкин – иногда, реже, Блок. В ритмике, в движении стиха, в наполненности строки, в точности рифмовки. Сначала кажется, что это тропочка, идущая вдоль большой дороги русской классической поэзии. Маяковский оглушительно нов, но при этом не плодоносящ, не плодотворен: он поставил русскую поэзию на обрыв, еще шаг – и она распадется. Следовать за ним нельзя – придешь к обрыву, к полному распаду стиха. Тропочка же Ахматовой оказывается на деле большой дорогой, традицион-

---

*) А.А. подозревала, что Тане Смирновой, ее соседке, матери Вали и Вовы, поручено за нею следить, и обнаружила какие-то признаки этой слежки. "Всегда выходит так, – сказала она мне, – что я сама оплачиваю собственных стукачей".

Деятельностью Двора Чудес А.А. называла надзор, который постоянно чувствовала – надзор за собой и своими рукописями.

ность ее чисто внешняя, она смела и нова и, сохраняя обличье классического стиха, внутри него совершает землетрясения и перевороты. И, в отличие от стиха Маяковского, следом за стихом Ахматовой можно идти – не повторяя и не подражая, а продолжая, следуя ей, традицию великой русской поэзии.

Анна Андреевна слушала внимательно и как бы сочувственно, однако ничего не ответила мне.

Я спросила у нее, писала ли она в эти дни?

– Совсем немного. Я оканчиваю "Смеркается, и в небе темно-синем". Дописываю конец.

Рассказывала мне, что некий книжник, увидав у нее на стуле стопочку экземпляров, предложил: "Дайте мне 5 штук, я завтра же принесу вам 500 рублей".

– Значит, уже спекулируют. Какая гадость... И вы подумайте только: оказывается, писатели в Лавке уже подписываются на следующее издание, на Гослит. Ну, зачем им? Какое безобразие. Снова кроме них книга никому не достанется.

Она сидела на диване, поджав ноги, и курила папиросу за папиросой. Я что-то спросила о ее прежних выступлениях, она рассказала об одном – а от него перешла к Сологубу. Она рассказала, что в десятых годах однажды у Сологуба – или устроен Сологубом? – был вечер в пользу ссыльных большевиков, где за билет брали 100 рублей.

– И я участвовала. Я была в белом платье с большими воланами, с широким стоячим воротником и в страшном туберкулезе... Сологуб несколько лет был знаменит, чрезвычайно, самый знаменитый из поэтов. Настя любила пышность, а вкуса никакого, так что в доме царила роскошь тяжелая, грубая.* Денег надо было много, Сологуб печатал дрянные рассказики в ничтожных журнальчиках и жили они пышно. Настя была некрасивая, но с живым, умным, привлекательным лицом. Я с ней дружила через Олю, скорее не с ней, а с ее сестрой. И с Федором Кузьмичом я дружила.

– С ним было трудно?

---

*) "Настя" – Анастасия Николаевна Чеботаревская (1876-1921) – писательница, переводчица, жена поэта Федора Сологуба.

— Да… Впрочем, нет, не очень. А каким страшным я видела его году в 22-м у Блоха. Старый, в невыглаженных брюках, запущенный… Он пришел предложить к изданию одну свою книгу. Блоха не было, ему сказали: – Придется подождать, подождите немного… И он сел ждать.[64]

— Я знаю, почему погибла Настя. Этого никто толком не знает, а я знаю, как все это было и почему. Она психически заболела из-за неудачной любви. Ей тогда было года 42, она влюбилась в человека холодного, равнодушного. Он сначала удивлялся, часто получая приглашения к Сологубам. Потом, когда он узнал о чувствах к нему Анастасии Николаевны, перестал там бывать. Она уводила меня к себе в комнату, и говорила, говорила о нем без конца, часами. Иногда она надевала белое платье и шла к нему объясняться… вообще делала ужасные вещи, которые никогда не должна делать женщина. В последний раз я видела ее за несколько дней до смерти: она провожала меня, я шла в Мраморный дворец к Володе. Всю дорогу она говорила о своей любви – ни о чем другом она уже говорить не могла. Когда она бросилась в Неву, она шла к своей сестре, но, не дойдя два дома, бросилась в Неву… Федор Кузьмич потом переехал жить к Настиной сестре и жил там, не зная, что Настя утонула у него под окном.

У меня до сих пор где-то хранится газета с его объявлением о розысках. Она попала ко мне случайно. Кто-то незнакомый прислал цветы – так бывает со мной иногда – и букет был завернут в газету с этим объявлением.

Чувствуя, что Анна Андреевна настроена сегодня мемуарно, я спросила – любил ли Николай Степанович ее стихи?

— Сначала терпеть не мог. Он выслушивал их внимательно, потому что это была я, но очень осуждал; советовал заняться каким-нибудь другим делом. Он был прав: действительно, стихи я писала тогда ужасающие. Знаете, вроде тех, какие печатались в маленьких журналах на затычку… А потом было так: мы поженились в апреле. (Перед этим очень долго были женихом и невестой). А в сентябре он уехал в Африку и пробыл там несколько месяцев. За это время я много писала и пережила свою первую славу: все хвалили кругом – и Кузмин, и Сологуб, и у Вячеслава. (У Вячеслава

Колю не любили и старались оторвать меня от него; говорили – "вот, вот, он не понимает ваших стихов"). Он вернулся. Я ему ничего не говорю. Потом он спрашивает: "Писала стихи?" – "Писала". И прочла ему. Это были стихи из книги *Вечер*. Он ахнул. С тех пор он мои стихи всегда очень любил.

И снова вернулась к Анне Николаевне.

– У меня в молодости был трудный характер, я очень отстаивала свою внутреннюю независимость и была очень избалована. Но даже свекровь моя ставила меня потом в пример Анне Николаевне. Это был поспешный брак. Коля был очень уязвлен, когда я его оставила, и женился как-то наспех, нарочно, назло. Он думал, что женится на простенькой девочке, что она воск, что из нее можно будет человека вылепить. А она железобетонная. Из нее не только нельзя лепить – на ней зарубки, царапины нельзя провести.

Я спросила – была ли у нее Каминская и удалось ли отговорить ее от выступления.

– Была. Нет, не удалось. Но вечер состоится только осенью. Авось до тех пор я умру, либо она умрет – знаете, как в анекдоте. Представьте, она спросила меня: правда ли, что "Сероглазый король" – это о Блоке и что Лева – сын Блока? Как вам это нравится? Но "Сероглазый король" написан за 4 месяца до того мгновения, когда Александр Александрович поклонился и сказал "Блок"... Подумайте, какая развязность! Ведь я-то ее ни о чем и ни о ком не спрашивала.*

Внезапно Анна Андреевна обратила внимание на мою новую шляпу, широкополую, белую, лежавшую на стуле. И примерила ее перед зеркалом. Ей пора было переодеваться, идти к Рыбаковым обедать, и я предложила, что подожду ее внизу во дворе.

– Нет, нет, не уходите никуда, я раскрываю дверцу шкафа – одеваюсь внутри, и тогда меня не видно.

Пока она переодевалась, я, по ее просьбе, читала ей вслух стихи (Шефнера и Лифшица из последнего номера "Литературного Современника"). Ей не понравилось.

---

*) "Сероглазый король" – *БВ, Вечер.*

В новом шелковом платье она вышла из-за дверцы шкафа и начала перед зеркалом втирать в щеки крем, потом надела белое ожерелье, потом ярко накрасила губы. Сейчас она была уже совсем не такая, как час назад, а нарядная, величественная – даже отсутствие некоторых передних зубов сделалось как-то незаметно.

Она снова надела мою шляпу и пошла о ней с кем-то посоветоваться, кажется, с Анной Евгеньевной.

– Решено, я покупаю такую же. Это единственная шляпа, которая мне понравилась: мне ведь никакие шляпы не идут... А не знаете ли вы, где можно купить перчатки?

Я не знала.

Мы отправились. Во дворе я заметила, что на ней новое пальто и новые изящные туфли. Я порадовалась: деньги в действии.

Вошли в троллейбус. Анна Андреевна прошла вперед, а я застряла платить. И вдруг, на весь вагон, даже не поворачивая ко мне головы, она спросила свободным звонким голосом:

– А сколько стоит эта шляпа?

12 июня 40.

Звонила вчера Анне Андреевне, чтобы поточнее условиться на сегодня: она обещала придти. Она сказала: "Приходите сейчас ко мне и мы вместе пойдем к вам..." Было уже поздно, но я, как всегда, послушалась.

Она сама открыла мне дверь. Встретила словами:

– Я вас обманула: я не пойду к вам сегодня. Устала. Вы посидите у меня.

Она сообщила мне неприятную новость. Прежде всего, со слов Нади Р.: Ф. вызывали к директору по поводу книги. Это сильно не понравилось мне.*

---

*) Кто такой Ф. и почему "вызов к Ф." был дурным знаком для книги Ахматовой – я не помню.

Надя Р. – Надежда Январьевна Рыкова (р. 1901) – литературовед, переводчица, специалистка по французской и английской литературе – работала в то время редактором в Гослитиздате.

— Борис Михайлович говорит, — продолжала Анна Андреевна очень серьезно, — что книга крупная, значительная.

(Будто бы без Бориса Михайловича нам это не было известно!)

— Уже посыпались письма. Сегодня получила два: одно женское, обычное, восторженное, а другое очень милое — от Крученыха. Прочитайте.

Я прочитала. Письмо показалось мне нисколько не милым, а очень глупым и ничем не интересным.

Крученых пишет, что стихи "прожгли" его, и в доказательство прилагает придуманные им самим "концы" некоторых стихотворений — напр. "Когда человек умирает" — концы необыкновенно пустые и плоские. Шутка это, что ли? Если шутка, то несмешная. Приложено также его собственное стихотворение, посвященное Анне Андреевне: теперь она уже не "вечерняя дама", а нечто другое.

Видя, что меня письмо это не смешит и не радует, Анна Андреевна убрала его в сумку. И прочитала мне конец стихотворения "Смеркается, и в небе темно-синем".*

— Правда, теперь это уже не отрывок, а оконченная вещь? — спросила она. И мы стали обдумывать — нельзя ли включить его в издание Гослита, которое так замешкалось! Это зависит от верстки — существует ли место на той же странице. А более всего — от желания редактора.

Заговорили об *Анне Карениной* во МХАТе. Ругая этот спектакль, я сказала, что публику в нем более всего привлекает возможность увидеть "роскошную жизнь высшего света".

— Исторически это совершенно неверно, — сказала Анна Андреевна. — Именно роскошь высшего света никогда и не существовала. Светские люди одевались весьма скромно: черные перчатки, черный закрытый воротник... Никогда не одевались по моде: отставание по крайней мере на 5 лет было для них обязательно. Если все носили вот такие шляпы, то светские дамы надевали маленькие, скромные. Я много их видела в Царском: роскошное ландо с гербами, кучер в мехах — а на сиденье дама, вся в черном, в митенках и с кислым выражением лица... Это и есть аристократка... А роскошно одева-

---

*) Строки после "что кувыркались в проруби чернильной" — (№37).

лись, по последней моде, и ходили в золотых туфлях, жены знаменитых адвокатов, артистки, кокотки. Светские люди держали себя в обществе очень спокойно, свободно, просто... Но тут уж театр не виноват: на сцене изобразить скромность и некоторую старомодность невозможно...

Потом она заговорила о том, что вообще не любит *Анну Каренину*.

— Я вам не рассказывала, почему? Я не люблю повторяться.

Я соврала, что нет — и не раскаиваюсь. На этот раз Анна Андреевна объяснила свою нелюбовь подробнее, полнее и по-другому.

— Весь роман построен на физиологической и психологической лжи. Пока Анна живет с пожилым, нелюбимым и неприятным ей мужем — она ни с кем не кокетничает, ведет себя скромно и нравственно. Когда же она живет с молодым, красивым, любимым — она кокетничает со всеми мужчинами вокруг, как-то особенно держит руки, ходит чуть не голая... Толстой хотел доказать, что женщина, оставившая законного мужа, неизбежно становится проституткой. И он гнусно относится к ней... Даже после смерти описывает ее "бесстыдно-обнаженное" тело — какой-то морг на железной дороге устроил. И Сережу она любит, а девочку нет, потому что Сережа законный, а девочка нет... Уверяю вас... На такой точке зрения стояли окружавшие его люди: тетушки и Софья Андреевна. И скажите, пожалуйста, почему это ей примерещилось, будто Вронский ее разлюбил? Он потом из-за нее идет на смерть...

— Потом, — сказала я. — Да, потом идет.

На этот раз я не удержалась и стала спорить с ней. Ведь Вронский и в самом деле любит ее совсем не так, как прежде. Я предложила Анне Андреевне вспомнить их встречу на площадке вагона: "Зачем вы едете?" — спрашивает Анна у Вронского, внезапно появившегося рядом. — "Чтобы быть там, где вы", — отвечает Вронский. А потом, когда она уже оставила мужа и сына и они — вместе, он скучает с ней, ищет для себя развлечений и однажды поздно застревает в клубе. Анна спрашивает: "Зачем же вы остались?" — "Хотел остаться и остался", — отвечает Вронский.

— Согласитесь, — сказала я, — что между первым диалогом и вторым в чувствах Вронского что-то изменилось, и притом

кардинально. Любовь всегда зависимость ("еду, чтобы быть там, где вы"), а уж когда речь зайдет об отстаивании своей независимости ("хотел остаться и остался") – конец любви. А что он потом идет умирать, так это потому, что его совесть мучает: шутка ли? загнал под поезд женщину, которую любил.

Анна Андреевна ни в чем со мной не согласилась.

– Вздор, – сказала она. – Никаких у нее не было оснований думать, что он разлюбил ее. И сомневаться. Любовь всегда видна сто раз на день. И у Толстого эта ее чрезмерная подозрительность неспроста: Анна думает, что Вронский не может ее любить потому, что она сама про себя знает, что она проститутка... И не защищайте, пожалуйста, этого мусорного старика!*

Заговорили о Фрейде. Я сказала, что не люблю и не верю; единственно, что для меня привлекательно в его учении, это мысль о той огромной роли, какую играет в жизни каждого человека раннее детство. Чем дольше живешь, тем яснее это понимаешь.

– Да, разве что это, – вяло согласилась Анна Андреевна. – А во всем остальном... во всех этих сексуальных рассуждениях и мифах так и видишь отражение той прокисшей, косной, провинциальной среды, в которой он жил... Я читала книгу пошляка Цвейга

---

*) Когда мы говорили в те годы с А.А. об *Анне Карениной* – мне ее мысль казалась интересной, но неверной, придуманной... Года через два я случайно взяла в руки один из старых толстовских томов "Литературного Наследства": там напечатана глава, выброшенная впоследствии Толстым из окончательного текста. В один из отъездов Вронского Анна, скучая и сердясь, просит одного гвардейского офицера, о котором знает, что он был влюблен в нее, проводить ее на цветочную выставку; в полутьме кареты она ведет себя столь вызывающе, что, когда они доезжают до места и он открывает перед нею дверцы – в этом жесте больше презрения, чем учтивости.

Прочитав эту главу, я поняла, что, хотя Толстой и вычеркнул эти страницы, – А.А. глубоко проникла в его замысел.

Об отношении Ахматовой к Толстому не раз будет говориться в томе втором моих *Записок* ("полубог" – отзывалась она о нем иногда...) Шутливое же прозвище "мусорный старик" возникло так: Б.В. Томашевский, вскоре после кончины Толстого, посетил Ясную Поляну и пытался расспрашивать о нем местных крестьян. Они же в ответ на расспросы о Льве Николаевиче упорно рассказывали о Софье Андреевне. Когда же Б.В. Томашевский попытался перевести все-таки речь на Толстого, один крестьянин ответил: "Да что о нем вспоминать! Мусорный был старик".

о Леонардо да Винчи. Там он цитирует Фрейда: у Леонардо был, конечно, комплекс Эдипа, и если он любил птиц, то это потому, что детей приносят аисты... Вы только подумайте, какая чушь: почему он воображает, будто и в те времена существовал обычай врать детям про аистов?

Мы условились, что она придет ко мне завтра в 4, и я ушла.

*12 июня 40.**

Сегодня в 4 полил дождь, и Анна Андреевна пришла ко мне с опозданием и ненадолго. Была усталая, грустная, жаловалась на озноб. Рассматривала разные издания Пастернака, стоявшие у меня на полке; побранила "Второе рождение" ("попытка быть понятным"), восторженно отозвалась и о моих любимых: "Детстве Люверс" и "Охранной грамоте".

— Тут каждому слову веришь.

Рано ушла.

18 июня 40.

Вчера к Анне Андреевне я зашла на минутку днем, чтобы разузнать о ее новостях. Анна Андреевна рассказала мне все подробности своего похода... Она обнадежена и рада этому — но в то же время несколько унижена.

— "Уже на коленях пред Августом слезы лила", — сказала она посредине рассказа.**

Потом протянула мне журнал "Ленинград" со статьей о Есенине, а в статье — высокий отзыв о ее поэзии. "Когда мне Верочка сказала, я не поверила".***

---

*) По-видимому, моя ошибка. Из текста явствует 13-е, а не 12-е. (Примеч. 1979 г.)

**) Речь идет о каком-то эпизоде из истории хлопот о Леве и потому зашифровано. Вспомнить теперь, о чем именно речь, — не могу.

"Уже на коленях пред Августом слезы лила" — строка из стихотворения "Клеопатра".

***) "Верочка" — Вера Николаевна Аникиева; "высокий отзыв" о поэзии Ахматовой — строки в рецензии Л. Рахмилевича на книгу Есенина, где имя Ахматовой названо среди "замечательных поэтов". (См. "Ленинград", 1940, №5).

Пришел Владимир Георгиевич. Я поднялась, но Анна Андреевна меня удержала.

– Вы очень плохо выглядите, – сказала она мне. – Что с вами делается? Вы с дачи приехали худая, белая...

И начала советоваться с Владимиром Георгиевичем, как бы поскорее показать меня Баранову.*

Я не спорила. Разумеется, затея эта не имеет никакого смысла. Но если ей так спокойнее – пусть.

Обратившись к Владимиру Георгиевичу, сидевшему рядом с ней на диване, Анна Андреевна доложила ему подробный бюллетень о болезни Веры Николаевны. Потом:

– Подумайте, меня вчера поразил Осмеркин. Он был у меня. Я предложила ему пойти вместе навестить Веру. И вдруг вижу – он не хочет. Ни за что. Боится. Я была поражена. Во-первых, Верочка лежит по всей форме, завитая, одетая, без температуры, и зрелище кислородных подушек и холодного пота ему не угрожает. Во-вторых – как не стыдно! Пить с ней коньяк – это он может, а видеть ее больной – нет. Терпеть не могу.

Я сказала, что часто встречаются люди, которые рассуждают так: если я не могу помочь – зачем же мне мучиться, глядя?

– Да, да, это бывает, – сказала Анна Андреевна. – Какое убожество! Да ведь и неправда: если человек хочет помочь другому, сильно и бескорыстно хочет, то он всегда может. Но я знала одну даму, она уверяла, что не в силах навещать свою больную подругу: зрелище больницы, халатов, больных ей непереносимо. А есть и такие, которые мертвых не хотят видеть: им слишком тяжело.

– Ну, *своих* мертвых, любимых мертвых, они непременно хотели бы увидеть, – сказала я. (А про себя подумала: и могилы).

– И я заметила, – продолжала Анна Андреевна, – что у таких боящихся людей всегда бывает страшная судьба: им-то и приходится видеть много мертвых.

---

*) У меня в это время в полном разгаре была базедова болезнь.

20 июня 40.

Я позвонила Анне Андреевне среди дня, сказала, что больна, лежу. Она сразу вызвалась навестить меня (не в пример Осмеркину!).

И пришла. Принесла мне ландыши в подарок. В черном шелку, в белом ожерелье. Сегодня лицо у нее спокойное, и как на всяком спокойном лице – меньше видны щеки, рот, лоб – и ярче глаза. Сегодня они большие, серые. Расположившись у меня на диване, она была явно похожа на свой парижский портрет.

Мы заговорили о том, что книжка Гослита задерживается неспроста. Да, конечно так.

Затем Анна Андреевна рассказала мне о внезапном приезде Ш. и о гадостях, которые та ей наговорила.

"Ты была такая эффектная женщина! Что же это ты так поседела?" – "Ты ведь написала что-то советское и теперь тебе отовсюду авансы". (Советское – это о Маяковском, пояснила Анна Андреевна). "Не послушался меня, вот и..."

– Ну, я сразу прекратила поток гадостей, которые были у нее в запасе, просьбой передать 1000 рублей. Насчет авансов же я ее нисколько не разубеждала.*

Я спросила, нет ли новых стихов.

– Нет... Хотите, я прочту вам одно маленькое, совсем старое? Оно нигде не было напечатано.

И прочитала:

Подушка уже горяча
С обеих сторон...

такое удивительно точное, что его мгновенно запомнит каждый, кто знает бессонницу. И какое изящество, какое совершенство. И какое – я бы сказала – девичество.**

---

*) Думаю, что "Ш." – это Шура, то есть Александра Степановна (в замужестве Сверчкова, ок.1875–ок.1952), сводная сестра Николая Степановича Гумилева, дочь его отца от первого брака. "Не послушался меня..." – это упрек Леве. Деньги же А.А. просила, я думаю, передать своей свекрови, Анне Ивановне Гумилевой, которую очень любила.

**) *БВ, Вечер* – (№38).

– Это стихотворение должно было быть последним в книге "Вечер". "Вечер" я сначала хотела назвать "Лебеда", и тогда первым стихотворением было бы "Я на солнечном восходе / Про любовь пою / На коленях в огороде / Лебеду полю".* Но меня отговорили.

– Но почему же вы его не дали хоть в теперешнюю книгу *Из шести*?

– Вы будете смеяться, господин учитель. Не дала потому, что, начав переписывать, не знала, как расставить знаки.

(Со знаками у нее такая же мания, как с переходом через улицу; она их расставить м о ж е т очень хорошо, но почему-то не верит себе и боится).

Я сказала ей, что из стихов видно – она очень любит лебеду.

– Да, очень, очень, и крапиву и лопухи. Это с детства. Когда я была маленькая, мы жили в Царском, в переулке, и там в канаве росли лопухи и лебеда. Я была маленькая, а они большие, широколистные, пахучие, нагретые солнцем – я так их с тех пор люблю.

Я расхрабрилась – мы пили чай, она курила – и я решилась спросить, не были ли некоторые ее стихи – письмами.

– Нет... Это давно говорили: похоже на письма или на дневник. Нет. Однажды, правда, я переложила одно полученное мною письмо – в стихотворение. Когда я умру, письмо найдут.

Она заторопилась уходить: ей еще нужно было зайти к Давиденковым.

24 июня 40.

Сегодня я позвонила ей, чтобы разузнать, что было 23-го. Она сказала: "Пожалуйста, зайдите, но только поскорей, потому что мне надо, к сожалению, уходить. Вера очень плоха, мы идем ее навещать".

У нее сидели двое: Владимир Георгиевич и незнакомый мне человек, молодой, но старообразный. Анна Андреевна была уже в шляпе: по-видимому я ее задержала.

---

*) *БВ, Вечер* – (№39).

— У Тани гемоколит. Ее только что на скорой помощи отправили в больницу. Вовочка видел, как увозили маму.

Потом:

— Мне сегодня позвонила из издательства Софья Ивановна и спросила, когда я могу принять директора. Я сказала, что не сегодня: сегодня ведь день моего рождения.

Ах вот почему на столе розы!

Анна Андреевна спросила у меня, что я думаю о предстоящем визите директорши. "Я думаю, они хотят снять два-три стихотворения", сказала я.

Анна Андреевна покачала головой.

Я стала расспрашивать о ее вчерашнем визите. Оказалось, разговор не состоялся; надо было не 23-го придти, а 25-го, чтобы записаться на 28-е.

Я предложила завтра, 25-го, пойти вместо нее: ведь ей идти невозможно, она должна быть дома с Вовочкой, раз Тани нет.

Она согласилась. Мы вышли вчетвером. На улице Анна Андреевна взяла меня под руку и увела вперед. Я заметила, что, опираясь на мою руку, она ступает как-то тяжело, неловко, болезненно. Анна Андреевна высказала мне свои мрачные предположения о книге, не позволяя возражать. Мы простились на углу Пантелеймоновской и Литейного. Я повторила свое обещание.

25 июня 40.

Утреннее поручение потребовало у меня не более трех часов. Исполнив, я сразу отправилась к Анне Андреевне. Она уже беспокоилась и ждала меня. Расспросила обо всем и осталась довольной.

Она сидела в кресле, в старом выцветшем халатике. Я предложила пойти и купить, наконец, шляпу. (Выходить она может, потому что Вовочку взяла тетка). Но ей не хотелось — жара. Она пожаловалась, что с тех пор, как Таня в больнице, совсем уж ничего не ест и "наконец голодна". Я предложила, что выйду купить чего-нибудь, мы позавтракаем, а часа через два пойдем в Дом Писателей обедать.

— Если вы принесете масла, ветчины, хлеба, то зачем же тогда обедать? Это и будет в и х о д.

Взяв сумку, я отправилась. С удивлением заметила, что даже в очереди для Анны Андреевны мне стоять приятно. А потом меня застигла гроза — великолепная, бурная, освежающая...

— Промокли? — вскрикнула Анна Андреевна, открыв мне дверь.

Но я была сухая. Только плечи.

Мы позавтракали.

Стоя у зеркала, она вдруг спросила:

— Вы любите Спекторского?

— В целом — нет. Зато отдельные места... куски... в высшей степени.

Я прочитала:

Пространство спит, влюбленное в пространство,
И город грезит по уши в воде.
И море просьб, забывшихся и страстных,
Спросонья плещет, неизвестно где.

Стоит и за сердце хватает бормот
Дворов, предместий, мокрой мостовой,
Калиток, капель... Чудный гул без формы.
Как обморок и разговор с собой.

— Это неудачная вещь, — сказала Анна Андреевна, — я не про то, что вы прочли, говорю, а про всю вещь. Я ее всегда не любила. Но почему — догадалась только сегодня. Дело в том, что стихи Пастернака написаны еще до шестого дня, когда Бог создал человека. Вы заметили — в стихах у него нету человека. Все, что угодно: грозы, леса, хаос, но не люди. Иногда, правда, показывается он сам, Борис Леонидович, и он-то сам себе удается... Он действительно мог крикнуть в форточку детям: "Какое, милые, у нас / Тысячелетье на дворе?" Но другие люди в его поэзию не входят, да он и не пробует их создавать. А в Спекторском попробовал. И сразу крах. Имя и фамилия Мария Ильина в его стихе звучит никчемно, дико...

Мы разговаривали очень долго, и я, заметив, что отняла у нее целый день, поднялась прощаться, но она так жалобно сказала: "ну зачем вы уходите? посидите еще!" — что я осталась.

Я стала расспрашивать Анну Андреевну о ее семье. Она такой особенный человек и изнутри и снаружи, что мне очень хочется понять: есть ли в ней что-нибудь родовое, семейное, общее? Неужели она может быть на кого-то похожа?

Она рассказала мне о своих сестрах – Ии, Инне.

– Обе умерли от туберкулеза. Ия – когда ей было 27 лет. Я, конечно, тоже умерла бы, но меня спасла моя болезнь щитовидной железы – базедова уничтожает туберкулез. У нас был страшный семейный *tbc*, хотя отец и мать были совершенно здоровы. (Отец умер от грудной жабы, – мать от воспаления легких в глубокой старости). Ия была очень особенная, суровая, строгая...

– Она была такой, – продолжила, помолчав, Анна Андреевна, – какою читатели всегда представляли себе меня, и какою я никогда не была.

Я спросила, нравились ли Ии Андреевне ее стихи?

– Нет, она находила их легкомысленными. Она не любила их. Все одно и то же, все про любовь и про любовь...

Анна Андреевна стояла у окна и грубым полотенцем протирала чашки.

– В доме у нас не было книг, ни одной книги. Только Некрасов, толстый том, в переплете. Его мне мама давала читать по праздникам. Эту книгу подарил маме ее первый муж, застрелившийся... Гимназия в Царском, где я училась, была настоящая бурса... Потом, в Киеве, гимназия была немного лучше...

Стихи я любила с детства, и доставала их уж не знаю откуда. В 13 лет я знала уже по-французски и Бодлера и Верлена и всех проклятых. Писать стихи я начала рано, но удивительно то, что когда я еще не написала ни строчки, все кругом были уверены, что я стану поэтессой. А папа даже дразнил меня так: декадентская поэтесса...

Вошла, не постучав, старуха, вся в платках и морщинах – Танина мать. Анна Андреевна подробно и очень толково объяснила ей Танину болезнь и большими буквами на листке написала адрес больницы. Чуть только старуха ушла, раздался громкий стук и в комнату вошел молодой человек в грязном белом халате – санитар, что ли. Он уселся и стал задавать Анне Андреевне вопросы о Таниной болезни, очень грубо и настойчиво. Он может быть и не

хотел быть грубым, но просто не умел иначе. Настоящий допрос. Анна Андреевна отвечала терпеливо, спокойно, кротко, без тени обиды.

Наконец, он ушел.

Анна Андреевна стала расспрашивать меня о моем детстве. И я вдруг рассказала ей многое, чего никогда и никому не рассказывала. Понимает она, угадывает, схватывает с удивительной тонкостью и верностью.* Она была так ласкова, так добра и осторожна со мной сегодня, – да благословит ее Бог! – что я даже почувствовала себя человеком.

Впрочем, ненадолго.

---

*) Прошу читателя сопоставить это мое наблюдение с несколькими строками из статьи Н.В. Банникова "Высокий дар" (т.е. из послесловия к книге *Анна Ахматова. Избранное.* М., "Художественная Литература", 1974, стр.552):

"Понимает она, – записал один ее собеседник, – угадывает, схватывает с удивительной тонкостью и верностью", – цитирует мои *Записки* Банников. Схватывает и цитирует он с полной верностью, только ссылки на источник – нет, и я – собеседница – превращена в собеседника. Подобных цитат – то откровенных, то полуприкрытых, то превратившихся в вольные пересказы моего дневника, в послесловии Банникова немало. (Наиболее разительные: см. стр. 546, 551, 554). Зато ссылки на мою работу – ни одной.

Начав, в 1966 году, расшифровывать свои записи, я не предназначала их для распространения. Я постоянно показывала их только исследователям творчества и биографии Анны Ахматовой – К. Чуковскому и академику В.М. Жирмунскому, а также тесному кругу ее близких друзей. Но случилось так, что один экземпляр *Записок* выскользнул из-под моего контроля и некоторое время вел самостоятельную жизнь. По-видимому, в ту пору он и сделался добычей Банникова; автор статьи "Высокий дар" не постеснялся использовать мой многолетний труд без моего ведома, вопреки моей воле, твердо ведая только одно: имя мое на родине – запрещенное имя, и возможности протестовать я лишена. (Примеч. 1975 г.).

Выход в свет моих *Записок* на Западе (1976 и 1980) нисколько не мешает желающим обворовывать меня на родине. Запрещенную книгу запрещенного автора обильно цитируют в статьях и докладах об Анне Ахматовой – не ссылаясь при этом ни на автора *Записок*, ни на сами *Записки*. Правда, идя на риск, благородные люди поступают иначе, но их мало. А хищников множество, и им раздолье: до здешнего читателя книга, выпущенная на Западе, почти не дошла, и хватать воров за руку – некому и небезопасно.

О запрете на мое имя см. *Записки*, т.2, стр. 542, а также книгу *Процесс исключения* – 1979. (Примеч. 1981 г.).

26 июня 40.

Я позвонила Анне Андреевне часа в 4, чтобы узнать о результатах посещения директора; по обыкновению, она не стала рассказывать, а попросила придти. Я пошла. На этот раз она нарядно одета, причесана, комната чисто выметена; вечером она ждет кого-то из МХАТ'а и Владимира Георгиевича.

Оказалось, я была права: директор приезжал, чтобы снять всего два стихотворения, попросить Анну Андреевну заменить их и показать ей предисловие. Сняты: "Все расхищено, предано, продано" и "Не с теми я, кто бросил землю".*

– В предисловии много похвал. Я сказала, что неудобно, по-моему, печатать похвалы себе в своей книжке. Он ответил – то ли еще будет! Насчет двух изъятых стихотворений мотивировка невнятная: в той книге они не будут заметны, а в этой будут... почему? Но я не стала настаивать и спорить, он даже удивился легкости, с какой я согласилась выкинуть и заменить. Он спросил, что значит "Мы ни единого удара / Не отклонили от себя".** Я ответила: поэт не может объяснять свои слова десяткам тысяч читателей. Если что-нибудь непонятно, лучше не печатать.

Позвала она меня, по словам ее, затем, чтобы вместе выбрать стихи для замены. Она надела очки, достала тетради и начала перелистывать.

Глядя через ее плечо, я заметила, что "Воронеж" посвящен Н.Х., а "Годовщину веселую празднуй" – В.Г.*** Я предложила

---

*) *БВ, Anno Domini* – (№40) и (№41).

**) Строка из стихотворения: "Не с теми я, кто бросил землю" – *БВ, Anno Domini* – (№41).

***) "Воронеж" – *БВ, Тростник* – (№42).

Это стихотворение, в котором А.А. как бы рассказывает Н. Харджиеву о своей поездке к их общему другу, ссыльному поэту О. Мандельштаму, впоследствии обрело другое посвящение: вместо "Н.Х." – "О.М.", и в конце новые четыре строки. В 40-м же году и в сборнике *Из шести книг* последних четырех строк еще не было. Впервые я услышала их от Анны Андреевны в марте 1958г. (см. *Записки*, т.2).

"Годовщину п о с л е д н ю ю празднуй" – *БВ, Тростник* – (№4). Через много лет, в Москве, увидев у меня в экземпляре сборника *Из шести книг* над стихотворением "Годовщину веселую празднуй" инициалы "В.Г.", поставленные моей рукой карандашом по памяти – А.А. рассердилась и велела немедленно стереть их. "Никакого отношения к В.Г.".

дать взамен "Подушка уже горяча" (в тетради оно называется "Послесловие") и "Другу".*

Анна Андреевна согласилась и попросила меня переписать их. (По-видимому, она никогда не дает в редакции ничего написанного ее собственной рукой).

Я переписала два, очень обдумывая знаки.

Анна Андреевна показала мне листок с мелкими переменами в стихотворении "Одни глядятся в ласковые взоры" (вместо "спокойный и двурогий" – "и зоркий, и двурогий"), и затем – конец отрывка "Смеркается, и в небе темно-синем".

– Он хотел вписать мои поправки, но не мог найти стихотворений... А я балованная, я привыкла, что мои стихи все знают наизусть.

Затем она заговорила об эмигрантах – о том, с каким негодованием встречены были ими стихи "не с теми я, кто бросил землю". Недавно ей показали строки Бунина, явно написанные про нее, хотя имя ее там не упомянуто. Она прочитала мне эти стихи наизусть. Там муфта, острые колени, принца ждет, беспутная, бесполая. Стихи вялые, бледные. Ее внешний образ составлен из Альтмановского портрета и из "Почти доходит до бровей / Моя незавитая челка".**

Мне было стыдно подтвердить на ее спрос: да, это про вас. Стыдно за Бунина.

– Северянину я тоже не нравилась, – сказала Анна Андреевна. – Он сильно меня бранил. Мои стихи – клевета. Клевета на женщин. Женщины – грезерки, они бутончатые, пышные, гордые, а у меня несчастные какие-то... Не то, не то...

Потом она вдруг спросила:

– Скажите, вот вы так хорошо знаете Пастернака – не правда ли, у него нет никаких периодов? Я сегодня впервые задумалась об этом. Все стихи написаны словно в один день.

Я сказала только, что "Второе рождение" – книга, сильно отличающаяся от всех предыдущих.

---

*) "Другу" – ?

**) Строка из стихотворения "На шее мелких четок ряд", *БВ, Подорожник* – (№43).

— Не люблю эту книгу, — сказала Анна Андреевна. — Множество пренеприятных стихотворений. "Твой обморок мира не внес"... В этой книге только отдельные строчки замечательные... Не знаете ли вы, между прочим, что такое магнето? И вы не знаете? Никто не знает.

Я не умела ответить, что такое магнето, но спросила у нее в свою очередь, что плохого находит она в стихотворении — или строке? — "Твой обморок мира не внес"?.

— Не знаю, не знаю, — ответила Анна Андреевна, слегка поморщившись. — Быть может, книга эта мне неприятна потому, что в ней присутствует Зина... А может быть знаете почему? Помните, вы сказали мне однажды, что у Маяковского не любите стихов "Я ученый малый, милая", что здесь слышен голос холостяка, старого, опытного, самодовольного? Так вот, "Второе рождение" — это стихи жениховские. Их писал растерявшийся жених... А какие неприятные стихи к бывшей жене! "Мы не жизнь, не душевный союз, — обоюдный обман обрубаем". Перед одной извиняется, к другой бежит с бутоньеркой — ну, как же не растерянный жених? Знаете, какие стихи я люблю у него? Ирпень. "Откуда же эта печаль, Диотима?"

30 июня 40.

А сегодня я узнала Анненского. Спасибо Анне Андреевне.

Я позвонила ей днем и пошла к ней. У нее Владимир Георгиевич. Кругом беспорядок, грязная посуда, сырные корки. Жалуется, что опухла нога. Жалуется, что простудилась, — ночью было резкое похолодание. Действительно, говорит в нос.

Владимир Георгиевич распрощался, и я пошла закрывать за ним дверь. По дороге спросила — что с Анной Андреевной?

— Да ничего, — ответил он, слегка раздраженно. — Ногу натерла, вот и все.

Уже переступив порог квартиры, он вдруг вернулся в переднюю:

— Только вы, пожалуйста, скажите ей, что ни о чем меня не спрашивали.

Я не нашлась, что ответить, и заперла за ним дверь.

Эта просьба меня и удивила и обидела. Неужели я пойду сообщать Анне Андреевне свой вопрос, его ответ. Но у него был такой измученный, расстроенный вид, что рассердиться я не могла.

Я вернулась к Анне Андреевне. Новостей никаких. Таня еще в больнице. Вовочка у тетки. Я предложила пойти купить что-нибудь.

Когда я вернулась, Анна Андреевна была уже на ногах, в халате, причесанная, и стол расчищен. Она включила чайник, и мы принялись завтракать. Я спросила, ходит ли она обедать – ведь Тани нет и стряпать некому.

– Хожу иногда, но редко. Вот на днях отправилась, и сразу же встретила всех, кого не хотела видеть. И теперь голод борется во мне с нежеланием идти туда.

Она заговорила об Анненском. Она уже не раз упоминала о нем, как о замечательном поэте. Я вынуждена была признаться в полном своем невежестве.

Анна Андреевна оживилась.

– Хотите, я вам почитаю? – Вскочила. Сняла с комода (бюро) зеркало, открыла крышку и начала перебирать книги. Анненский не попадался. Она показала мне группу: гимназисты и среди них сестра ее, Ия. Красавица, лицо греческой императрицы. Похожа на Анну Андреевну. Потом фотографии отца, матери – никакого сходства с дочерьми. У матери лицо простоватое. Потом карточка молодого человека – тонкого, черноглазого, со ртом Анны Андреевны – брат. Потом фотография Анны Андреевны, любительская: она полулежит в саду, в шезлонге, лицо молодое, спокойное, и очень милое – не патетическое, не роковое, не пронзительное, а именно милое.

– Хотите, подарю? – спросила Анна Андреевна, и я с радостью согласилась.

Анненский нашелся. Анна Андреевна села на диван и надела очки.

– Вот сейчас вы увидите, какой это поэт, – сказала она. – Какой огромный. Удивительно, что вы его не знаете. Ведь все поэты из него вышли: и Осип, и Пастернак, и я, и даже Маяковский.[65]

Она прочитала мне четыре стихотворения, действительно, очень замечательные. Мне особенно понравилось "Смычок и струны",

”Старые эстонки” и ”Лира часов”. В самом деле, очень слышна она, и Пастернак слышен.

Перед моим уходом, она надписала мне фотографию. На лестнице я прочла: ”в день, когда мы читали Анненского”.

В фамилии ошибка – пропущена буква.

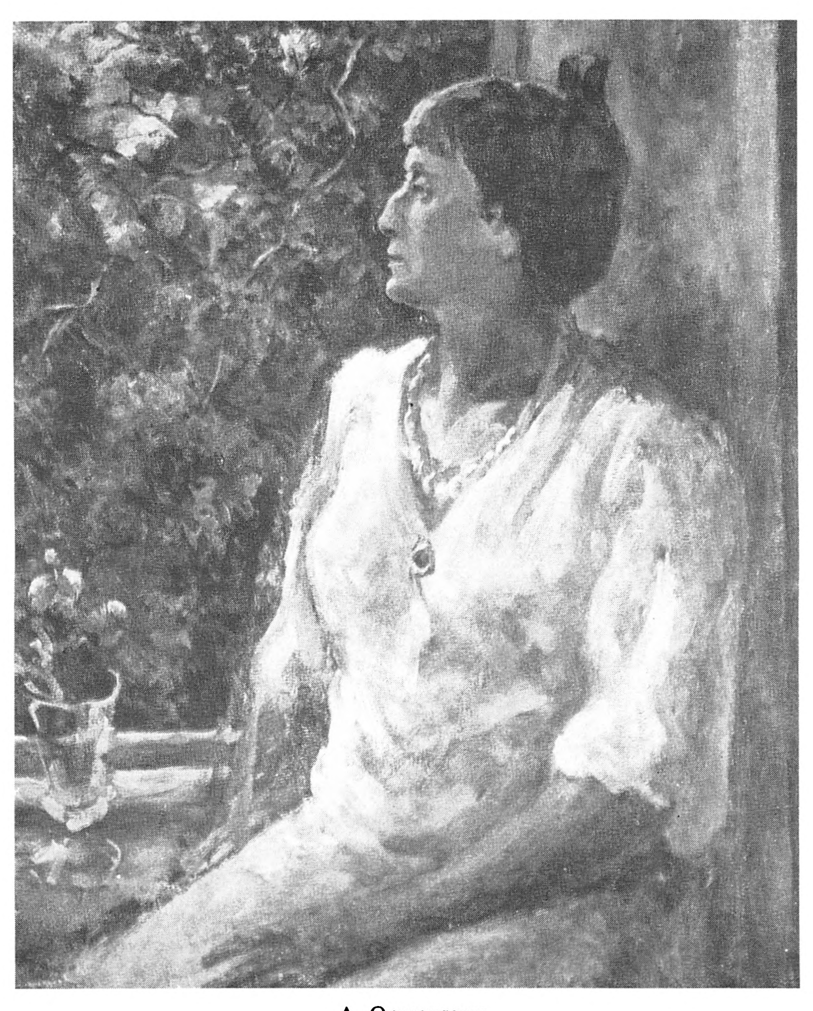
5 июля 40.

Сегодня, вернувшись с дачи, я позвонила Анне Андреевне и услышала обычное: ”Приходите сейчас, пожалуйста”. У нее я застала Осмеркина и неизвестного мне, чрезвычайно вежливого человека, оказавшегося Всеволодом Николаевичем Петровым.[66] Анна Андреевна была в новом, белом, очень красивом платье. В комнате вкусно пахло красками: Осмеркин переписывал или дописывал портрет. На столе три бутылки вина и бокалы. Усадив меня, Анна Андреевна заняла свое место на подоконнике. Было уже полутемно: портрет освещали наставленные на него яркие лампы без абажуров.

Общий разговор шел о Репине, о Пенатах (где Осмеркин побывал), о Татлине. Анна Андреевна упросила Осмеркина бросить на сегодня портрет и пересела на диван. О Татлине заявила, что он – клинический сумасшедший: однажды не допустил ее к себе в мастерскую, опасаясь – как выяснилось позднее, – что она скалькирует его рисунки. Петров вскоре ушел. Осмеркин посидел немного и поднялся тоже. Меня Анна Андреевна оставила, очень настойчиво. Осмеркин обещал придти завтра и наверняка окончить портрет.

Проводив его, Анна Андреевна сказала мне:

– Я только для него позирую, я очень его люблю, он хорошо ко мне относится, а вообще-то писать меня не стоит, эта тема в живописи и графике уже исчерпана. Да и не до того мне. У меня ноги отекли опять, на этот раз обе. Вчера я еле доплелась в Дом Писателей и там поняла, что до дому дойти не могу. Еле-еле добрела до Рыбаковых. Шла по улице, как андерсеновская русалка. Хотела снять туфли и пойти босиком, но сколько было бы сплетен! Ведь в этом районе у меня много знакомых... Рыбаковы позвонили Владимиру Георгиевичу, он меня и доставил домой.[67]



А. Осмеркин
Портрет Анны Ахматовой ("Белая ночь")
Ныне хранится в Москве, в Государственном Литературном Музее.

Милой Лидии Корнеевне
Чуковской

в день, когда мы читали
Анненского

Ахматова.

30 июня 1940

9 июля 40.

Среди дня я позвонила Анне Андреевне и предложила вместе пообедать в Доме Писателей.

Она согласилась, но когда я пришла за ней, выяснилось, что никуда она не пойдет, потому что ожидает доктора Баранова.

– Я хочу с вами серьезно поговорить, – начала Анна Андреевна, усадив меня. (Я испугалась). – О той книге, которую вы принесли мне в прошлый раз. – (Отлегло; я ей приносила Мориака).* – Я прочла ее единым духом, залпом, как я всегда читаю книги, а некоторые места даже и по два раза, чтобы быть вооруженнее в разговоре с вами. Это очень ложная книга. По-видимому, автор хотел создать нечто значительное, но ему не удалось. Героиня не возбуждает во мне никакого сочувствия. Вот, вы говорили о необходимости воображения. Но где же было воображение Терезы, когда она каждый вечер травила своего мужа мышьяком? И никакой мотивировки! Она, видите ли, рвалась из дому! Но зачем? Чтобы окончить любовью к домработнице? И муж и мать мужа, которых она так ненавидит, гораздо лучше, чем она сама. Простые, спокойные люди, делающие свое дело. Автор возмущается тем, что мамаша де ла Трав не пожелала жить в доме, где жила Тереза. Но скажите, пожалуйста, если бы какой-нибудь мерзавец каждый день отравлял вашу дочку – вы согласились бы потом жить с ним в одном доме?.. Нет, нет, как ни поверни – все это неправдиво и непонятно.

Я не нашла возражений, но спросила в ответ: почему же, когда читаешь книгу, – все кажется правдивым, естественным, вполне убедительным? Почему, без всяких размышлений, симпатизируешь героине, а не де ля Трав? Почему для меня таятся в этой книге какие-то чары – ведь не потому же, что я вообще имею обыкновение симпатизировать отравителям?

– А это все оттого, что книга – ваша современница, – помедлив, ответила Анна Андреевна. – От нее на вас веет современным искусством. У вас такое чувство, будто кто-то знакомый и долгожданный окликнул вас по телефону. И вы покоряетесь знакомому голосу, не размышляя.

---

*) *Тереза Декейру.*

Меня это ее замечание – о современном искусстве – сильно заинтересовало. (Более, чем замечания о книге Мориака). Потому что я и сама в своих постоянных мыслях и в наших постоянных спорах о стихах утверждаю: если душа не тронута современной поэзией – она и на классическую не откликнется. Путь к пониманию классической поэзии лежит через современную, через ту, которая "про меня". Если не любишь, не слышишь Блока, Маяковского, Ахматову, Пастернака, Мандельштама – то и Пушкина не услышишь, не научишься его воспринимать л и ч н о . Он останется всего лишь примером, образцом холодного совершенства.

– Вот и держитесь этой мысли, – сказала Анна Андреевна. – Она правильна и плодотворна: только сквозь современное искусство можно понять искусство прошлого. Нет иного пути. И когда появляется нечто новое – знаете, какое чувство должно быть у современника? Будто это чистая случайность, что не он написал, будто он сам вот-вот написал бы, да выхватили из рук...

Явились Владимир Георгиевич и д-р Баранов. Я решила, пока Анну Андреевну будут осматривать, сбегать за едой. Отправилась на Невский. Было чудовищно жарко. Я купила сосиски и сладкую булку.

Когда я проходила по двору обратно, вдруг из садика меня кто-то позвал. Оказалось, сад случайно отперт, и это В.Г. – он сидит на скамье и поджидает, пока от Анны Андреевны выйдет доктор. Я присела с ним рядом, и мы некоторое время молчали, наслаждаясь тенью. Потом я спросила В.Г., почему это у Анны Андреевны постоянно отекают ноги?

– А, ноги пустяки! – отозвался он. – Отекают слегка от жары. Надо носить более просторные туфли и на низком каблуке. Вот и все. Но она не хочет: ничего не поделаешь, *ewig weiblich*! Вы недовольны? Вам кажется, что я говорю зло? Право же нет. Но, уверяю вас, у нее все и все нервы. Конечно, от этого ей не легче... Беда в том, что она ничего не хочет предпринять. Прежде всего ей необходимо уехать отсюда, из этой квартиры. Тут травмы идут с обеих сторон, от обоих соседей. А она ни за что не уедет. Почему? Да потому, что боится нового. И бесконечные мысли о своем сумасшествии: видела больную Срезневскую и теперь выискивает в себе

те же симптомы.* Вы заметили: она всегда берет за основу какой-нибудь факт, весьма сомнительный, и делает из него выводы с железной последовательностью, с неоспоримой логикой?.. А эта страшная интенсивность духовной и душевной жизни, сжигающая ее!

Доктор Баранов не выходил и не выходил, и мы решили подняться.

– Всякому человеку трудно помочь – сказала я, переводя дыхание на площадке, – а ей в особенности.

– Да, – ответил Вл. Георг. каким-то рыдающим голосом и вдруг схватил меня за плечо, – но что бы кто ни говорил – (он оттолкнул меня), – что бы кто ни говорил, а я эти два года ее на руках несу.

Мы застали Анну Андреевну и доктора Баранова в тихой беседе у окна. Едва мы вошли, Анна Андреевна стала просить доктора записать меня к себе на прием.

Доктор любезно согласился, написал что-то на листке блокнота и протянул мне.

Откланялся чинно. Ушел.

– Что же он предписал вам? – спросила я у Анны Андреевны.

– По-видимому он считает меня безнадежной, – гневно ответила она, – потому что единственное его предписание: ехать на дачу, на воздух.

И она начала объяснять мне и В.Г., почему она ни в коем случае не может ехать на дачу. В.Г. сначала пробовал было спорить, потом умолк и, огорченный, простился. Анна Андреевна отправилась на кухню варить сосиски, а мне дала пока что стихи графа Комаровского, с поэзией которого я еле-еле знакома.

– Ну что? Распробовали? – весело спросила она, вернувшись. И добавила: – Это один из самых любимых моих поэтов.[68]

(Когда спор о даче кончился, она опять сделалась ровна и спокойна).

Я попросила ее дать мне Комаровского с собой, и она согласилась.

---

*) О Валерии Сергеевне Срезневской см. примеч.[81]

— Так я не убедила вас насчет Мориака? — спросила Анна Андреевна, провожая меня до дверей. — Нет? Ну, все равно, возвращайтесь скорее с дачи и звоните мне.

13 июля 40.

Ах, с другой бы головой читать ее корректуры.

Голова болит, ноги не держат.

Приехала я в город вчера, с тем, чтобы сегодня, после доктора, сразу ринуться обратно — привезти на дачу пораньше масло, керосин. Но в 12 ночи мне позвонила Анна Андреевна: сверка из Гослита, просит меня утром придти. И я не уехала, а сразу после доктора, который принял меня с утра, отправилась не на дачу, а к ней.

Доктор сказал мне, что необходимо делать операцию, и поскорее. Я выслушала это известие вполне спокойно, потому что сейчас я все равно не стану разводить всю эту канитель.

По дороге к Анне Андреевне я запаслась маслом, сосисками, хлебом.

Мечтала передохнуть в садике, но не тут-то было, калитка была заперта.

Я через силу поднялась по лестнице.

Анна Андреевна очень серьезно выспрашивала меня, что и как сказал мне Баранов. По-видимому, дурное мое состояние она приписала страху перед операцией. Но это не так: меня попросту выматывает дача. Анна Андреевна предложила мне люминал с бромом и из деликатности сказала, что ей тоже надо принять. Мы выпили капли по очереди.

Я села читать верстку. Ах, нет, не с такой бы головой ее читать! Я заметила несколько грубых опечаток и, конечно, исправила их, но, в сущности, работала поверхностно, не вглубь, не так, как требует Самуил Яковлевич* — "свежими глазами"... Анна Андреевна бродила по комнате и, заглядывая мне через плечо, опять и опять дивилась корректурным значкам. Напрасно я клялась ей, что это проще простого и я берусь обучить ее корректурным знакам за час.

---

*) Маршак.

— Я не только знаков этих, которые вы расставляете играючи, запомнить не могу, — отвечала она, — но одно свое стихотворение даже записать не в состоянии, потому что не понимаю, как.

Я отложила перо и попросила ее прочесть мне его.

Не знает — два "н" или одно, и вместе ли пишется слово "незваный" или отдельно?*

Читая корректуру, я удивилась, найдя новый вариант стихотворения "Ты для меня не женщина земная".**

— Я ничем не могу вам помочь? — спросила Анна Андреевна. — Мне так стыдно быть паразитом.

— Можете, — сказала я, решившись. — Позвольте мне позвонить Тамаре Григорьевне — пусть она придет и читает сверку вместо меня, а я лягу.

Так и сделали.

Анна Андреевна сама позвонила Тусе, а я легла на диван. Туся, спасибо ей, пришла очень быстро. Сквозь туман полуобморока, я слушала их голоса и смотрела на них.

Туся очень внимательно читала сверку и, в отличие от меня, одновременно разговаривала с Анной Андреевной свободно и светски.

Анна Андреевна советовалась с ней о "Подвале памяти", печатать или нет?

Потом Туся пересказала нам статью Перцова — того самого, который в своей статье 1925 г. советовал Анне Андреевне умереть.***

---

*) Думаю, речь шла о стихотворении "Заклинание", обращенном к Н.Гумилеву. Там есть такие строки:

Незваный,
Несуженый, —
Приди ко мне ужинать.

Стихотворение опубликовано в *БВ (Тростник)* с цензурным искажением — "высоких ворот" вместо "тюремных"; без искажения — в *Памяти А.А.*; вероятно, впрочем, что написано оно не в 1935 г., как указано в сборнике, а в 1936 — к 50-летию со дня рождения Николая Степановича.

**) Теперь это стихотворение начинается так: "Сказал, что у меня соперниц нет" (*БВ, Anno Domini*); а в сборнике *Из шести книг* и в публикациях до 1957 г. было: "Неправда, у тебя соперниц нет".

***) О статье В. Перцова, опубликованной в 1925 г., см. примеч. на стр. 118. В статье же 1940 г., помещенной в "Литературной газете" 10 июля, он, отдавая дань мастерству поэта, писал: "Героиня Ахматовой и мы — люди слишком разные. Это не может не сказаться".

– Но это пустяки, – сказала Анна Андреевна. – Вот Корнелий Зелинский когда-то написал об мне: "Ахматова притворяется, что умерла, а на самом деле живет в Ленинграде".*

Мне сделалось лучше. Я поднялась и, вопреки протестам Анны Андреевны, сама прочитала оглавление.

Окончив работу, мы ушли. Туся проводила меня до самого дому. По дороге она прочитала мне тютчевскую "Весну" ("Как ни гнетет рука судьбины"), на которую я до сих пор не обращала должного внимания; а потом мы вместе – "Осень" Баратынского, которую нам обеим открыла Шура – большую "Осень", ту, где

Зима идет, и тощая земля
В широких лысинах бессилья.

Я подумала: а может быть, это лучшее стихотворение в русской литературе.

19 июля 40.

За это время я была у Анны Андреевны дважды – 17-го и вчера, 18-го.

Худо ей. Лицо серое, осунувшееся, ноги отекли. Из дому не выходит. Но с хозяйством получше: приехала Сарра (я не поняла из разговоров, кто это) и стряпает и кормит ее.** 1-го Анна Андреевна собиралась в Дом Творчества, в Детское, согласилась было, так как в квартире начинается ремонт и, главное, так как В.Г. уезжает куда-то на дачу... Но, кажется, ее благое намерение не исполнится.

18-го днем сидела я у нее одновременно с В.Г. Анну Андреевну позвали к телефону. Она подошла – и вернулась к нам в большом гневе.

– Звонит какая-то секретарша из Литфонда. Сообщает, что все места в Детском заняты и для меня путевки нет. Я кричу (тут она действительно закричала по слогам), что я н и к о г о не х о - ч у

---

*) – ?

**) О Сарре Иосифовне Аренс, родственнице первой жены Н.Н. Пунина, Анны Евгеньевны Аренс, см. *Записки*, т.3.

ли-шать от-дыха, что я рада не ехать... А она в ответ: да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, мы вас все-таки как-нибудь устроим... Они совсем не понимают, с кем имеют дело! Она ждала, что я начну требовать: мне, мне давайте путевку! Что я приму участие в общей свалке!

(О, как я благодарна ей за то, что ей хорошо ведомо, кто она, что блюдя достоинство русской литературы, которую она представляет на каком-то незримом судилище – она никогда не участвует ни в какой общей свалке!).

2 августа 40.

Я приехала с дачи 31-го, чтобы ночью, дома, одной, в тех же стенах, встретить годовщину, не омрачая жизнь девочкам.*

В 7 часов я пошла к Анне Андреевне. Она грустная, полубольная.

– С ногою плохо, – ответила она на мой вопрос, – с сердцем плохо. Когда иду, все время проваливаюсь, – знаете, как это бывает.

Очередной ответ она ждет 2-го. Уверена в отказе.

– Но все-таки, – сказала я ей (сказала неосмотрительно, тупо, жестоко), – у вас еще есть надежда.

Не надо было и в мыслях своих сопоставлять Митину судьбу с Левиной... Лева – жив.

(Хуже это? Лучше? Все равно не надо было. Уже несколько раз, в другие мои посещения, мне слышалось – когда Анна Андреевна провожала меня через кухню по коридорчику, или в минуты длинных ее молчаний среди разговора – мне слышалось Левино имя, произносимое ею, будто на глубине, будто со дна морского добытое... "Лева! Лева!" повторяла она одним дыханием. Даже не звук – тень звука, стона или зова... Сегодня мне довелось услышать этот стон несколько раз).

Вошел Владимир Георгиевич. Вымыл и поставил на стол виноград. Вскипятил чайник. Анна Андреевна рассказала, что ей прислали

---

*) В ночь с 31 июля на 1 августа 1937г. у нас на квартире был произведен обыск, и мне предъявлен ордер на арест Матвея Петровича.

Он в это время находился у своих родителей в Киеве. Я сделала несколько попыток предупредить его, но все они оказались неудачны. Матвей Петрович был арестован в Киеве в ночь с 5 на 6 августа.

из "Издательства Писателей" еще 10 экземпляров ее книги – но не таких, какие она просила (я не совсем поняла, в чем разница).

Один экземпляр, с ее надписью, она передала мне для Корнея Ивановича.

В.Г. простился. Анна Андреевна пошла проводить его до дверей и вдруг вбежала в комнату – проворно высунулась в окно – и позвала его наверх. Он вернулся. Она попросила у него телефон неотложной помощи. Оказалось, пунинская домработница тоже заболела гемоколитом – как раньше Таня.

Значит, второй уже случай в этой квартире. Рядом с Анной Андреевной.

Я стала уговаривать ее непременно переехать ко мне в Ольгино. Она ничего не ответила определенного, но и не отказалась.

Вошла Таня и со свойственной ей прямою грубостью языка стала рассказывать нам о болезни домашней работницы. Анна Андреевна послала ее звонить в неотложную.

Я спросила у Анны Андреевны, нет ли новых стихов.

– Два старых окончила и два новых начала, – ответила она, надела очки, открыла книгу. Прочитала мне новое начало к стихотворению, которое я уже слышала ("мне бы тот найти образок"). Теперь оно начинается так:

Переулочек – переул...
Горло петелькой затянул.*

Прочитала новый конец к Страшному дому.** Потом спросила:
– Понятно, что "переул" – это оборванное, недоговоренное слово?

Потом прочла "Уложила сыночка кудрявого". Слушать эти стихи нестерпимо – каково же писать?***

Вошли мальчики. Она очень нежно их встретила. Вовочку взяла на руки. Я уже не раз замечала – с ребенком на руках она сразу

---

*) "Третий Зачатьевский" – (№44). В этом случае я не ссылаюсь на *БВ*, где это стихотворение напечатано с пропуском одного двустишия и с мелкими неточностями.

**) То есть конец стихотворения "В том доме было очень страшно жить" – (№36). Некоторые строки в начале так и остались недописанными. Прежнего конца стихотворения – не помню.

***) *ББП*, стр. 289 – (№45).

становится похожей на статую мадонны, – не лицом, а всей осанкой, каким-то скромным и скорбным величием.

Мне рассказала:

– Вовочка играет с котенком. Тащит его за хвост, дергает за шерстку. Тот его в кровь царапает. А он не сердится. Вошел сегодня, когда здесь был Владимир Георгиевич: "Копажу Володе пальчик".

Дети ушли. Анна Андреевна взяла со стула письмо и прочитала мне: письмо неизвестной читательницы.

– Это из разряда: "дорогая Анна Ахматова", – объяснила она, – хотя здесь и написано "дорогая Анна Андреевна".

Письмо восторженное, провинциальное, женское. Приложены собственные плохие любовные стихи. Я попыталась выразить свое возмущение по поводу тех читательниц, которые воображают, будто Ахматова пишет для женщин, о каких-то специальных женских скорбях, и что стоит ей самой, читательнице, написать о том, какие мужчины обманщики, она сама, читательница, сразу станет второй Анной Ахматовой.

В эту минуту раздался звонок, Анна Андреевна пошла отворять и вернулась вместе с гостями: Срезневская привела с собою какую-то курсявку, работающую в Публичной Библиотеке, которая уселась в кресло и, не давая хозяйке дома произнести ни слова, принялась рьяно объяснять, как она обожает Анну Андреевну и как счастлива, что сподобилась познакомиться с такими выдающимися людьми, как Срезневская и Анна Андреевна. Все вместе было забавно: будто читательница, написавшая только что прочитанное письмо, воплотилась.

Я скоро ушла.

4 августа 40.

Вчера, перед отъездом на дачу, я забежала к Анне Андреевне узнать – не соберется ли она со мною вместе в следующий мой приезд, в пятницу?

Анна Андреевна была грустна, тревожна, бледна. Волосы зачесаны кверху, что, на мой взгляд, очень ей не к лицу. Когда я вошла

к ней, она еще некоторое время продолжала убирать комнату: сворачивала постель, подметала. Освободив диван, села в угол, на свое обычное место.

Насчет Ольгина она определенно ничего не знает, потому что ей, вероятно, предстоит снова ехать в Москву.

Из Литфонда ей позвонили, что хотят на свой счет сделать у нее в комнате ремонт.

— Значит, обещанная мне новая квартира — миф, и вторая комната в этой — тоже миф. И повышенная пенсия тоже оказалась мифом — вы не знали? Да, да. Все это мне решительно все равно, меня это нисколько не огорчает. У меня всегда так и только так. Такова моя жизнь, моя биография. Кто же отказывается от собственной жизни?

Она в тревоге. Может быть, придется ехать в Москву. А здесь без нее начнут делать ремонт. Куда же деть вещи, чтобы их не разворовали? И Владимир Георгиевич с тяжелым сердцем едет на дачу, зная, что она остается в городе, в духоте... Она же ехать ко мне не может, потому что, по всей вероятности, придется ехать в Москву... И ремонт...

Я ничего не умела ей посоветовать. То есть я советовала, предлагала, но не настойчиво. Если бы это была не она, я все сомнения разрешила бы в два счета. Пока неясно с поездкой в Москву и неясно, когда начнется ремонт, надо ехать на дачу. Чтобы дышать и чтобы В.Г. уехал спокойно. Начнется ремонт — я могу перевезти ее вещи к себе на городскую квартиру и сделать к дверям наших с Люшей комнат замок... Я все это предложила ей, но все это она мгновенно отвергла; и я не настаивала, потому что это не кто-нибудь другой, а она, а у нее за всеми приводимыми ею причинами стоит одна, причина причин, властная, которую она не называет быть может даже самой себе, но которая повелевает ее душевным состоянием, погодой ее души.

Я смолкла. Анна Андреевна по-видимому была рада, что я ее не уговариваю. Она нашла под креслом и протянула мне конверт. Знакомый почерк; в первую секунду он кажется таким размашистым, буйным, а во вторую — сдержанным, твердым, точным.

Письмо Бориса Пастернака о стихах Анны Ахматовой.

Я уселась читать. Два с половиной больших листа, исписанных с обеих сторон.

Пересказать письмо Пастернака, конечно, так же немыслимо, как его стихи. Но попробую записать хотя бы основу.

Поздравление с победой, с торжеством. Очереди в Москве за книгой. Мы – Северянин, я и Маяковский – обязаны Вам гораздо большим, чем я прежде думал. Новая манера в новых стихах, рождение нового поэта рядом со старым.

Затем идет перечисление "гнезд" и "созвездий"; но сразу я не поняла, что он имеет в виду, потому что перечислены не строки стихов, а страницы книги.

– Вы называйте страницы, а я буду искать их, – предложила Анна Андреевна, беря со стула книгу. – Так быстрее.

К моему удивлению, стихи названы Борисом Леонидовичем главным образом из *Четок* и *Anno Domini* – то есть давнишние, известные всем, и мне в том числе, наизусть.

Я удивилась вслух.

– Сейчас я вам все объясню, – сказала Анна Андреевна. – Он просто впервые читает мои стихи. Уверяю вас. Когда я начинала, он был в Центрифуге, ко мне, конечно, относился враждебно и попросту моих стихов не читал. Теперь прочел впервые и, видите ли, совершил открытие: ему сильно понравилось "Перо задело о верх экипажа..." Дорогой, наивный, обожаемый Борис Леонидович!*

Мне пора было. А как не хотелось оставлять ее одну, в тревоге, на которой она сосредоточится, чуть только я уйду... Провожая меня до дверей, она сделала мне царский подарок.

– Читаю вашу и Александры Иосифовны статью о комментаторах классических произведений. Прямая, честная, умная статья. В ней нет ничего случайного: видно, что люди много думали и работали, прежде чем сесть писать ее.

---

*) Это письмо Пастернака (от 28 июля 1940 г.), о котором говорит Ахматова, теперь напечатано: см. *Вопросы литературы*, 1972, №9. "Перо задело о верх экипажа" – строка из стихотворения "Прогулка" *(БВ, Четки)*.

8 августа 40.

Вчера – интереснейшие монологи Анны Андреевны: сначала о Блоке, потом о ее собственной поэзии. И в довершение пира – новое стихотворение, совсем новое, иное.

Я позвонила Анне Андреевне вчера вечером и, услышав, как всегда: "приходите скорее!" – пошла. Когда она отворила мне дверь, я испугалась сначала: так разительно были искажены черты ее, такими серыми сделались щеки, такой ужас, – терпеливый, устойчивый, неподвижный, я бы даже сказала спокойный – глянул на меня из ее глаз.

Но когда мы вошли в ее комнату, и она, усевшись на свое обычное место, заговорила, голос ее звучал обыденно, спокойно, и я уже не видела ужаса у нее в глазах.

Владимир Георгиевич уехал на дачу.

Домработница Пуниных вернулась из больницы.

Владимир Георгиевич уговорил Анну Андреевну не давать разрешения на ремонт комнаты, пока не станет ясно, предстоит ей нынче ехать в Москву или нет.

Рассказав все это, Анна Андреевна прочла мне новое стихотворение – о тишине в Париже – оконченное, но без одной строки – которое меня потрясло. Не знаю, придется ли оно по душе поклонницам ее женской Музы, но мне оно представляется гениальным. Стон из глубины души, как выдох "Лева"! Она услышала горе всего мира.*

– Какие там теперь разлуки! – сказала мне Анна Андреевна о Франции, о Париже.

Что бы ни происходило с ней или возле нее – крупное или мелкое – она всегда сквозь свои заботы слышит страну и мир.

Анна Андреевна включила чайник. Мы попили чайку без сахару с черствой булкой.

Анна Андреевна сказала:

– Знаете, сегодня день смерти Блока. 19 лет. На днях я перечитала "Песню судьбы". Я раньше как-то ее не читала. Неприятная

---

*) "Когда погребают эпоху" – *БВ, Седьмая книга* – (№46).

вещь, холодная и безвкусная. Семнадцатилетняя какая-то, хотя ему было уже 28. На ней лежит печать дурного времени, девятисотых годов. Десятые годы – это уже совсем другое время, гораздо лучшее... А "Песня судьбы" – это гнутые стулья, стиль модерн, модерн северян. Душевное содержание его квартиры, еще раз рассказанная история его отношений с Любовью Дмитриевной и Воloховой. Поразительно, что это писалось в том же году, что и гениальные *Итальянские стихи*.

Затем она вдруг упомянула старую-престарую статью Шагинян об *Anno Domini*, помещенную в "Жизни искусства".* Она взяла газету с кресла и протянула мне.

– Прочтите. Мне интересно, что вы думаете, – сказала она.

Я прочла.

Как всегда у Шагинян, ценные догадки перепутаны с сущим вздором. Оказывается, бывает манерность, деланность – и она почему-то присуща классической лирике, – а бывает стиль. У Ахматовой пока еще много манерности, под которой автор статьи почему-то разумеет повторяемость образов; например, в стихах Анны Ахматовой часто повторяются образы Музы и сада... Затем указано, что истинный путь Ахматовой – народность, причем термин этот не определен... В этой догадке есть, безусловно, нечто верное; только не надо понимать народность так узко, как понимает Шагинян: из примеров, приводимых ею ("Колыбельная" и пр.), следует, что под народностью она понимает лишь близость к фольклору. Между тем, поэзия Ахматовой глубоко народна вся в целом, – и вовсе не только там, где в ее стихе пробивается частушка или песня.**

Я сказала, что думаю.

Анна Андреевна как будто согласилась со мной, а потом добавила:

– Эти претензии на первосортность, эти ссылки на Гете, а на самом деле все вздор! И основная мысль неверна. Почему повторение образа сада и Музы в моих стихах – манерность? Напротив,

---

*) 20 мая 1922 г.

**) *Anno Domini* – (№47).

чтоб добраться до сути, надо изучать гнезда постоянно повторяющихся образов в стихах поэта – в них и таится личность автора и дух его поэзии. Мы, прошедшие суровую школу пушкинизма, знаем, что "облаков гряда" встречается у Пушкина десятки раз.

Затем, не помню почему, разговор зашел о Кузмине. Кажется, началось с того, что она попросила меня достать ей "Форель".

– Я видела книгу только мельком, но показалось мне – книга сильная, и хочется хорошенько прочесть.

Я обещала принести. Я сказала, что поняла и полюбила Кузмина только с этой книги.

– Нет, я очень люблю *Сети*, – перебила меня Анна Андреевна. – И в *Вожатом* прекрасное стихотворение о Димитрии царевиче. Вообще, он поэт настоящий. Но его напрасно причисляли и причисляют к акмеистам. Я недавно целый вечер толковала Николаю Ивановичу, что Кузмин – человек позднего символизма, а совсем не акмеист. Он ни в одном пункте не совпадал с нами; не сходимся мы и в самом главном – в вопросе о стилизации. Мы совершенно ее отвергали, а Кузмин весь стилизованный.

Я сказала, что стихи:

Озерный ветер пронзителен,
Дорога в гору идет...
Так прост и так умилителен
Накренившийся серый бот, –

звучат совсем по-ахматовски.[69]

– Это неверно, – ответила Анна Андреевна. – Я писала, как он, а не он, как я. Мое стихотворение "И мальчик, что играет на волынке" написано явно под его влиянием.* Но это случайность, в основе все разное. У нас – у Коли, например, – все было всерьез, а в руках Кузмина все превращалось в игрушки... С Колей он дружил только вначале, а потом они быстро разошлись. Кузмин был человек очень дурной, недоброжелательный, злопамятный. Коля написал рецензию на *Осенние Озера*, в которой назвал стихи Кузмина "будуарной поэзией". И показал, прежде чем напечатать,

---

*) *БВ, Вечер* – (№48).

Кузмину. Тот попросил слово "будуарная" заменить словом "салонная" и никогда во всю жизнь не прощал Коле этой рецензии...[70] Кузмин обо всех любил сказать что-нибудь плохое. Он терпеть не мог Блока, потому что завидовал ему. Однажды Лурье,* в присутствии Кузмина, играл свою композицию на слова Блока. Кузмин отлично знал, чьи слова, но нарочно спросил: "Это – Голенищева-Кутузова?" Вот такое он любил сказать о каждом. Он оставил дневник – продал его Бончу, – а Оленька, которая с Кузминым была дружна, рассказывала мне, что это нечто чудовищное. Потомки получат нечто вроде дневника Вигеля. Он никого не любил, ко всем был равнодушен, кроме очередного мальчика. В его салоне существовал настоящий культ сплетни. Салон этот имел самое дурное влияние на молодых людей: они принимали его за вершину мысли и искусства, а на самом деле это был разврат мысли, потому что все признавалось игрушечным, над всем посмеивались или издевались... Да, Михаил Алексеевич был совсем лишен доброты. Оленька моя очень часто влюблялась. Однажды она влюбилась в молодого композитора и принесла Кузмину показать его вещи. Кузмин отлично знал о ее любви, но изыздевался над опытами молодого человека вволю. Ну, зачем это было надо? Ну сказал бы что-нибудь вялое, человеческое: "мне это чуждо... мои интересы не здесь" – но он никогда не упускал случая огорчить человека. Меня он терпеть не мог. В его салоне царила Анна Дмитриевна.** А я до сих пор узнаю безошибочно людей из салона Кузмина – мне довольно одной фразы.

Она взяла со стула "Литературный современник", где напечатана ее "Клеопатра", и предложила почитать мне стихи оттуда. – Они все на довольно высоком уровне, – сказала она, надевая очки. – Вы скажите, когда вам надоест слушать... Симонов тут хорош.

После Симонова она прочитала Брауна, против моего ожидания – сносного.[71] После Брауна – Шефнер; мне не удалось дослушать его без смеха.

Одно стихотворение начинается так:

---

*) Об А.С. Лурье см. примеч.[75]

**) Радлова.

Мне ночи с тобой не снятся,
Мне бы только на карточке сняться.

Может, оно и не худо, но я не могла удержаться от смеха, так что Анна Андреевна отложила журнал. В свое извинение я объяснила: эти "не" очень коварны. Когда читаешь:

— Не гулял с кистенем я в дремучем лесу — так и видишь лес и разбойника с кистенем, а когда читаешь:

— Не бил барабан перед смутным полком — так и слышишь стук барабана.

Мне ночи с тобой не снятся —
Мне бы только на карточке сняться

— тут это "не" делает стихотворение полунепристойным, а каламбурная рифма — "снятся"/"сняться" — полукомическим.

Анна Андреевна на минуту повеселела...

— Уж лучше бы ему снилось, — говорила она, смеясь, — может быть, это было бы скромнее.

— А каково было той барышне, которой он поднес эти стихи! — сказала я.

— Да что вы, Л.К.! Никакой барышни не было! Разве живой женщине можно поднести такие стихи? Вы только представьте себе: приходит к вам какой-нибудь знакомый и подносит свиток с этими стихами. Вы его сейчас же спустите с лестницы, несмотря на слово "не"... Да нет, он все это придумал.*

Веселая минутка прошла. Анна Андреевна снова сделалась утомленной и грустной.

Рассказала мне историю смерти Анненского: Брюсов отверг его стихи в *Весах*, а Маковский решил напечатать в №1 *Аполлона*; он очень хвалил эти стихи и вообще выдвигал Анненского в противовес символистам. Анненский всей игры не понимал, но был счастлив... А тут Макс и Васильева сочинили Черубину де Габриак,

---

*) Стихотворение В. Шефнера на самом деле начинается так:
Ах, ночи с тобою мне даже не снятся,
Мне б только с тобою на карточке сняться.

Впоследствии А.А. переменила свое отношение к Шефнеру: она отзывалась о его поэзии с интересом и похвалой. (См. *Записки*, т.2, стр.482).

она начала писать Маковскому надушенные письма, представляясь испанкой и пр. Маковский взял да и напечатал в №1 вместо Анненского – Черубину...

... Анненский был ошеломлен и несчастен, – рассказывала Анна Андреевна. – Я видела потом его письмо к Маковскому; там есть такая строка: "Лучше об этом не думать". И одно его страшное стихотворение о тоске помечено тем же месяцем... И через несколько дней он упал и умер на Царскосельском вокзале...[72] Я в этом отношении счастливая: меня в жизни очень много хвалили и очень много ругали, но я никогда всерьез не печалилась. Я никогда не считалась номерами – первый ли, третий, мне было все равно. Я только один раз огорчилась по-настоящему: это когда Осип в рецензии назвал меня "столпник паркета". Но это потому, что Осип, только потому, что Осип...

13 августа 40.

Вчера утром я позвонила Анне Андреевне и спросила, когда ей удобнее, чтобы я пришла. Она ответила: "Удобнее как можно скорее".

Я пошла. Ничего историко-литературного она мне на сей раз не рассказывала. Грустна, больна. С сердцем худо. Часто умолкает совсем, и один раз во время долгого молчания я услышала шепот: кажется, это была какая-то стихотворная строчка. Я попросила ее почитать мне – нельзя было найти никакого разговора и хотелось слышать только стихи. Она прочитала "Август, 1940" уже целиком, со строчкой; потом "Современницу";* потом маленькое, неоконченное "Если бы я была живописцем",** похожее на "Александрийские песни" Кузмина.

– Я из этого, может быть, что-нибудь сделаю, – сказала Анна Андреевна задумчиво. – Тут пока что только низкие берега точны, а остальное еще случайно.

---

*) "Август, 1940" – "Когда погребают эпоху" – (№46). "Современница" – (№49); печатая эти стихи впервые в *Литературной газете*, в октябре 1960 г., А.А., по требованию редакции, вынуждена была изменить заглавие (ей объяснили, что "современница" – это не ее, а н а ш а современница). Тогда она назвала стихотворение "Тень", и новое заглавие укоренилось; *БВ, Седьмая книга.*

**) – ?

17 августа 40.

Утром я выбежала на почту и в булочную. Несла назад в одной руке батон, в другой, в кулаке, марки. Вдруг меня окликнули с такой внезапностью, что я выронила марки.

— Вы куда сейчас идете?

Смотрю — это Владимир Георгиевич.

— Я — домой.

— Возьмите меня, пожалуйста, к себе!

Он поднял мои марки, и мы отправились. По лестнице поднимались молча. Молчали, пока я отпирала дверь.

Он вчера приехал с дачи. Был у Анны Андреевны и находит, что она на грани безумия. Волосок.* Опять сетовал на ложность посылок и железную логику выводов. Просил меня непременно пойти к ней, не противоречить, но воздействовать. Потом он вдруг заплакал самыми настоящими слезами. Растерявшись, я ушла на кухню ставить чайник. Когда я вернулась, он уже не плакал, но одна крупная слеза еще стояла посреди щеки.

Я налила ему чай. Он отпил глоток и всхлипнул.

Я спросила:

— Что для вас тяжелее всего? Ее состояние? Ее гнев?

— Нет, — ответил он. — Я сам. Я понимаю, что теперь, сейчас, обязан быть с нею, совсем с нею, только с нею. Но, честное слово, без всяких фраз, придти к ней я могу только через преступление. Верьте мне, это не слова. Хорошо, я перешагну, я приду. Но перешагнувший я ей все равно не нужен.

И снова о ней: о философии нищеты, о безбытности, о том, что она ничего не хочет предпринять, что она не борется со своим психозом.

— А может быть, — спросила я, — это просто у нас не хватает воображения, чтобы понимать ее правоту? Может быть, не у нее психоз, а у нас толстокожесть?

---

*) Чувствуя себя под надзором, А.А. вложила в тетрадь со стихами волосок — и он исчез. Она была уверена, что у нее в ее отсутствие сделали обыск.

Он помотал головой.

Вечером я позвонила Анне Андреевне и пошла к ней, купив по дороге всякую еду и сирень.

Анна Андреевна была мрачна и рассеянна. Лицо желтое, глаза возбужденные, блестящие. Она пожаловалась, что Таня в исступлении и в истерике сильно бьет Валю.

– Я не могу этого слышать. У меня уже нету сил. Вчера я подошла к дверям и стала в них колотить кулаками.

Зазвонил телефон. Анна Андреевна подошла к нему и вернулась совершенно белая.

– Вы только подумайте, какой звонок! Это оттуда. Это, конечно, оттуда. Женский голос: "Говорю с вами от имени ваших почитателей. Мы благодарим вас за стихи, особенно за о д н о". Я сказала "Благодарю вас" и повесила трубку. Для меня нет никакого сомнения...*

Я попыталась сказать, что сомнения все-таки возможны, но Анна Андреевна не дала мне докончить:

– Извините меня, пожалуйста! – закричала она, не сдерживаясь. – Я знаю, как говорят поклонники. Я имею право судить. Уверяю вас. Это совсем не так.

За чаем она продолжала:

– Вы понимаете, она говорила со мной холодным голосом, словно нотацию мне читала: "Ты не отдала мне 10 рублей".

Снова я попробовала сказать, что ведь это мы сами подставляем под о д н о стихотворение – именно "И упало каменное слово", а ей, быть может, понравилась "Сказка о черном кольце" или еще что-нибудь. Но мои слова вызвали только ярость.

– В.Г. сказал про меня нашей общей знакомой: "Мадам психует". А не следует ли предположить, что не я психую, а сумасшедшие те, кто не умеет сопоставить самые простые факты...

Она стала шепотом рассказывать мне о волоске, который, оказывается, не исчез со страницы, но был передвинут правее, пока она ходила обедать. И тут я сразу поняла, почему плакал В.Г.

---

*) А.А. заподозрила, что "почитательница" имела в виду стихотворение "И упало каменное слово" – из *Реквиема*. Оно было опубликовано в журнале *Звезда* (1940, №3-4) и в только что вышедшем сборнике *Из шести книг*. Название "Приговор", разумеется, в рукописи, представленной в редакцию, отсутствовало. И в журнале и в книге тоже (№3).

Возбужденнее, тревожнее, потеряннее и недоступнее слову я ее никогда не видала.

19 августа 40.

Вчера вечером я снова была у Анны Андреевны.

Она спокойнее, чем накануне, аккуратнее причесана, не так возбуждена и раздражена.

Письмо от К., очень ее тронувшее.*

– В молодости К. была прекрасна, как гурия, – сказала Анна Андреевна. – Самая прекрасная женщина, какую я когда-либо видела.

А я завела разговор о Москве, приготовив еще по дороге доводы в пользу поездки. Главный довод я скрыла: быть может, поездка и окажется бесплодной, но зато Анна Андреевна хоть ненадолго уедет из этой комнаты. Анна Андреевна не согласилась со мной ни в одном пункте, с железной логикой доказала мне, что ехать ей незачем, но кончила все-таки просьбой зайти в Литфонд и заказать билет. Я торжествовала.

А потом начался разговор, который мне трудно будет воспроизвести – в сущности, не разговор, а ее монолог. Я видела, что она во вспоминательном настроении, и старалась ее не перебивать, только подбрасывала иногда вопросы.

Да, но еще до монолога, она прочитала мне новое:

"Соседка из жалости два квартала".**

---

*) К. – ?

**) В отличие от текста, напечатанного в *ББП* на стр. 290, мною запомнен такой вариант:

Соседка из жалости – два квартала,
Старухи, как водится, – до ворот,
А тот, чью руку я держала,
До самой ямы со мной пойдет.
И станет над ней один на свете,
Над рыхлой, черной, родной землей,
И позовет... Но уже не ответит
Ему, как прежде, голос мой.

Какой в ней живет высокий дух, с каким могуществом она превращает в чистое золото битые черепки, подсовываемые ей жизнью! Вот уж воистину "из какого сора растут стихи, не ведая стыда". Тут и Таня, избивающая Валю, и беспомощный В.Г., но в стихах это уже не помойная яма коммунальной квартиры, а торжественный и трогательный час похорон.

А потом, закинув руки за голову, сидя прямо и величественно в углу дырявого дивана, очень красивая, она сказала:

– Читаю *По звездам* Вячеслава. Какие это статьи! Это такое озарение, такое прозрение. Очень нужная книга. Он все понимал и все предчувствовал. Но удивительно: при такой глубине понимания, сам он писал плохие стихи. Он, конечно, поэт, и поэт замечательный, но стихи часто писал плохие. Не думайте, тут противоречия нет; можно быть замечательным поэтом, но писать плохие стихи. Читаешь его статьи и думаешь: человек, который т а к понимает поэзию, должен стихи писать необыкновенные. И в самом деле: в стихах та же глубина понимания, та же тонкость и прелесть образа, но – но – ритм вялый, бальмонтовский. Конечно, некоторые стихотворения и у него есть прекрасные, но они редки.

Она потянулась к креслу, взяла книгу Вячеслава Иванова и прочла мне два стихотворения. Не могу обозначить, какие: возвращаясь домой, я на улице обнаружила, что мгновенно и начисто их позабыла, хотя, пока Анна Андреевна читала их, мне они нравились. Кажется, в одном было что-то про похороны, а в другом про лампадку и мотылька.

Потом, отложив Иванова, она достала стихи *К синей звезде*. И прочитала стихотворение о лесе – "Я женщиной в то время был измучен" – строгое, чистое, сильное.[73]

Помолчав, она сказала:

– Я сейчас имею возможность наблюдать, как создаются воспоминания. Когда я училась в Царском, в гимназии, то двумя классами старше меня училась молоденькая девушка. Я помню, что она была смуглая и стройная и зимой ходила с муфтой. Это все, что помню о ней я. Она же теперь диктует воспоминания обо мне

в каком-то кружке в ТЮЗ'е. Что она может вспомнить? Мне было 15 лет, самая заурядная, тихая, обыкновенная гимназистка.

— 15 лет — это не так уж мало, — сказала я.

— Да нет, никакой не лицейский период, не думайте, пожалуйста.

Помолчав и закурив, она продолжала:

— Вот так и с Лермонтовым, вероятно, получилось. Он жил очень недолго. Его никто не заметил. Никто его жизни не увидал, никто не понял — такой он был или другой. А потом кинулись писать воспоминания. Людям этим было уже под шестьдесят. Они ничего не помнили и списывали друг у друга... Поэтому заниматься биографией Лермонтова очень скучно. Мне покойный Щеголев предложил делать вместе с ним монтаж воспоминаний о Лермонтове, вроде вересаевского. Я начала — и сразу убедилась: это очень скучно.

Я сказала, что в детстве и юности совсем не понимала, не любила Лермонтова и пришла к нему всего лишь лет 5 назад. Сказала, что в детстве сильно любила Жуковского.

— Да, я сейчас перечитываю *Ундину*, — отозвалась Анна Андреевна, — как это чудесно, просто прелесть. В стихах Жуковского, во всех, такой замечательный, необыкновенный, особенный з в у к ... А к Лермонтову иногда трудно бывает подойти, потому что у него много графоманского. У него много лирических вещей неопределенной формы, неопределенного содержания; и одно без больших оснований переходит в другое. — Она улыбнулась собственным словам. — А под конец — целая вереница шедевров.

— Знаете, что я хочу вам сказать, — начала она снова, — я очень не люблю, когда нынешние пятидесятилетние дамы утверждают, будто в их время молодежь была лучше, чем теперь. Вы им не верьте. Это неправда. В нашей юности молодежь стихов не любила и не понимала. Толщу было ничем не пробить, не пробрать. Стихи были забыты, разлюблены, потому что наши отцы и матери, из-за писаревщины, считали их совершенным вздором, ни для какого употребления негодным, или, в крайнем случае, довольствовались Розенгеймом. Я очень хорошо помню, как я принесла в гимназию "Стихи о Прекрасной даме", и первая ученица сказала мне: "И ты, Горенко, можешь всю эту ерунду прочесть до конца!" Пухленькая, беленькая, с белым воротничком и вот таким бантом в волосах —

все ясно вперед на целую жизнь... Ее было ничем не прошибить. И такими были все.

Я сказала, что, быть может, в этой гимназии учились девочки одного круга.

— Вовсе нет. У нас были богатые девочки, которым в 12 часов лакеи из дому приносили на серебряном подносе завтраки, и бедные, дочери портних, или сироты. Но стихов не любили и не знали ни те, ни другие... Подумать только, что их матери и отцы проглядели почти полустолетнюю работу Тютчева... Нет, модернисты великое дело сделали для России. Этого нельзя забывать. Они сдали страну совсем в другом виде, чем приняли. Они снова научили людей любить стихи, самая культура издания книги повысилась.

Я спросила, полагает ли она, что теперь в нашей стране любят и понимают стихи многие.

— Да, безусловно. Я вообще не знаю страны, в которой больше любили бы стихи, чем наша, и больше нуждались бы в них, чем у нас. Когда я лежала в больнице, меня попросила один раз сиделка — даже не сиделка, простая уборщица: "Вы, говорят, гражданочка, стихи пишете... Написали бы мне стишок, я в деревню пошлю..." И оказалось, что она каждое письмо оканчивает стихом, и та, которая ей пишет из деревни, — тоже. Вы только подумайте!

Было уже поздно, около 12-ти, я хотела уйти, но она меня удержала. Речь зашла о специфически-женских стихах. Я сказала, что не люблю их.

— Да, есть в них неприятное... — Анна Андреевна достала с кресла какой-то сборник и показала мне стихи Шагинян, плохие и притом ужасно какие-то нецеломудренные.

— Бесстыдно, — сказала я.

— Видите ли, поэт и должен быть бесстыдным, — медленно выговорила Анна Андреевна. Она держала руку по-ахматовски: большой палец под подбородком, мизинец отставлен, а три пальца — вместе с папиросой — вытянуты вдоль щеки. (И я еще раз увидала, как неверно изображают ее руку портретисты: на самом деле никаких длинных костлявых пальцев, детская ладонь, а пальцы стройные, но маленькие). — Поэт и должен быть бесстыдным. Но как-то иначе, не так, как она.

Потом, без всякого перехода, она заговорила о Блоке и Любови Дмитриевне.

– Какая страшная у них была жизнь! Это стало видно из Дневника, да и раньше видно было. Настоящий балаган, другого слова не подберешь. У него – роман за романом. Она то и дело складывает чемоданы и отправляется куда-нибудь с очередным молодым человеком. Он сидит один в квартире, злится, тоскует. Пишет в Дневнике: "Люба! Люба!" Она возвращается – он счастлив – но у него в это время роман с Дельмас. И так все время. Почему было не разойтись? Быть может, у нее было бы обыкновенное женское счастье... Нет, я вообще и всегда за развод, – закончила она многозначительно.

Я даже рот раскрыла от этого совпадения и рассказала о своих постоянных спорах с Тусей, которая очень сложно, умно, интересно и, однако, для меня неубедительно объясняет, почему можно и нужно "сохранять семью", несмотря на другую любовь.

– Нет, нет, я всегда за развод, – повторила Анна Андреевна. – Очень тяжело оставаться вместе после того, как уже был конец. Получается балаган, вот как у нас в квартире, – она легонько постучала в стенку Николая Николаевича.

Я спросила, была ли Любовь Дмитриевна красавицей.

– Что вы, Л.К., с такой спиной! Она не только не была красива, она была ужасна! Я познакомилась с ней, когда ей исполнилось 30 лет. Самое главное в этой женщине была спина – широченная, сутулая. И бас. И толстые, большие ноги и руки. Внутренне же она была неприятная, недоброжелательная, точно сломанная чем-то... Но он всегда, всю жизнь видел в ней ту девушку, в которую когда-то влюбился... И любил ее... Впрочем, в Дневнике, говорят, есть страшные о ней строки – Орлов их не напечатал, – мне говорили люди, читавшие рукопись... Дельмас я видела в самый момент их романа, она вместе со мной выступала в Доме Армии и Флота. Порядочная, добрая, но не умная. Она была веснушчатая, рыжая, с некрасивым плоским лицом, но с красивыми плечами, полная... (он, по-видимому, любил, чтобы у женщин было всего много). Очаровательная была Валентина Андреевна,* я очень дружила с ней,

---

*) Щеголева.

не то, чтобы красивая, но прелестная... У Волоховой были прекрасные черные глаза... Любовные письма Блока были очень благородны. Мне Валентина Андреевна показала одно: "Все, что осталось от моей молодости — Ваше"...

Я заговорила о том, что многие любовные стихи Блока страшны отсутствием в них любви — если понимать под любовью доброту, нежность; самый корень слова, самая основа его — в его чувстве утрачены. "Мне искушенье тебя оскорбить" — любви в этом искушеньи нету.

— Да, пожалуй, — согласилась Анна Андреевна. — Помните: "Опять звала бесчеловечным".[74] И вот это отсутствие любви, о котором вы говорите, видно более всего в "Снежной маске"... Тут уж одни костяшки стучат...[75] Я полагаю, Блок вообще дурно, неуважительно относился к женщинам. У меня никогда не было и тени романа с Блоком (я очень удивилась, я всегда думала, что "мой знаменитый современник"* — это он), — но я кое-что знаю случайно о его романах... Мне рассказывали две женщины в разное время историю свою с ним — в сущности одну и ту же... Обе молодые и красивые... Одна была у него в гостях, поздно, в пустой квартире... другая в "Бродячей собаке"... Обе из породы женщин-соблазнительниц... А он в последнюю минуту оттолкнул их: "Боже... уже рассвет... прощайте... прощайте..."

— Ну, эти истории дурно характеризуют скорее их, чем его, — сказала я.

— Да, конечно... Но, встречаясь постоянно с такими вот дамами, он научился неуважительно думать обо всех подряд.

Я принялась излагать ей свою любимую теорию необходимости развода.

Анна Андреевна согласилась, сделав некоторые оговорки.

— Бывают случайные измены, а потом опять все склеивается, но это редкость... Бывает также, что из-за детей не расходятся... Но я-то думаю, что и детям развод родителей чаще бывает полезен, чем вреден. А вот этакие наслоения жен, — она снова легонько постучала в стену Николая Николаевича, — это уже совсем чепуха.

---

*) Строка из стихотворения "Покорно мне воображенье" — *БВ, Четки* — (№50).

Я рассказала ей об одной женщине, портнихе, от которой муж не может уйти, потому что она, чуть он за чемодан, покушается на самоубийство.

– Ну, это часто бывает, – презрительно отозвалась Анна Андреевна. – И поверьте, она уж теперь всю жизнь будет висеть на нем. Я знаю таких: бросается в пруд, ходит мокрая, потом сушится, потом опять бросается... Это уж на всю жизнь, тут ничего не поделаешь...

Она говорила бесстрастно и сухо, но мне сейчас же вспомнились давешние слова Вл. Георг. о преступлении, через которое он не в силах перешагнуть.

– Мы прожили с Николаем Степановичем семь лет. Мы были дружны и внутренне многим обязаны друг другу. Но я сказала ему, что нам надо расстаться. Он ничего не возразил мне, однако, я видела, что он очень обиделся. Вот это стихотворение о лесе, что я вам прочитала, это обо мне... Тогда он только что вернулся из Парижа после своей неудачной любви к Синей Звезде. Он был полон ею, – и все-таки мое желание с ним расстаться уязвило его... Мы вместе поехали в Бежецк, к бабушке, взглянуть на Леву. Мы сидели на диване, Левушка играл между нами. Коля сказал: "И зачем ты все это затеяла". Это было все... Согласитесь, на этом ничего не построишь, – прибавила она с грустью, – этого мало, не правда ли?.. – И, помолчав: – Я нахожу, что мы слишком долго были женихом и невестой. Я в Севастополе, он в Париже. Когда мы поженились, в 10-м году, он уже утратил свой пафос...

Я не перебивала, молчала, и она, погасив папиросу, заговорила снова:

– Странно, что я так долго прожила с Николаем Николаевичем уже после конца, не правда ли? Но я была так подавлена, что сил не хватало уйти. Мне было очень плохо, ведь я 13 лет* не писала

---

*) Утверждение объясняется запальчивостью: таких периодов жизни, когда А.А. вообще не писала стихи, у нее не было. Правда, в иные годы писала она менее обычного. Во время брака с Пуниным Ахматовой написано, по приблизительному подсчету, около тридцати стихотворений, в частности, – такие, как "И ты мне все простишь", "Здесь Пушкина изгнанье началось", "Если плещется лунная жуть", "Тот город, мной любимый с детства", "Приво-

стихов, вы подумайте: 13 лет! Я пыталась уйти в 30 году. Ср. обещал мне комнату. Но Николай Николаевич пошел к нему, сказал, что для него мой уход – вопрос жизни и смерти... Ср.** поверил, испугался и не дал комнаты. Я осталась. Вы не можете себе представить, как он бывал груб... во время этих своих... флиртов. Он должен все время показывать, как ему с вами скучно. Сидит, раскладывает пасьянс и каждую минуту повторяет: "Боже, как скучно... Ах, какая скука"... Чувствуй, мол, что душа его рвется куда-то... Я целый год раскручивала все назад, а он ничего и не видел... И знаете, как это все было, как я ушла? Я сказала Анне Евгеньевне при нем: "Давайте обменяемся комнатами". Ее это очень устраивало, и мы сейчас же начали перетаскивать вещички. Николай Николаевич молчал, потом, когда мы с ним оказались на минуту одни, произнес: "Вы бы еще хоть годик со мной побыли".

Она засмеялась, и я тоже. Смеялась она легко и беззлобно. Как будто рассказывала не о нем, не о себе.

– Потом произнес: "будет он помнить про царскую дочь" – и вышел из комнаты. И это было все. Согласитесь, что и на этом ничего не построишь... С тех пор я о нем ни разу не вспомнила. Мы, встречаясь, разговариваем о газете, о погоде, о спичках, но е г о, его самого я ни разу не вспоминала.***

Было уже два. Мы условились, что завтра я поговорю в Литфонде о билете и потом позвоню ей. Я ушла, радуясь, что хоть ненадолго отвлекла ее от ее главной боли.

льем пахнет дикий мед", "Последний тост", "Уводили тебя на рассвете", "Одни глядятся в ласковые взоры"; была также начата и почти окончена поэма *Русский Трианон* и др. Об этом см. т.2 моих *Записок*, в примеч. на стр.281.

**)* Вячеслав Вячеславович Срезневский? Муж Валерии Сергеевны?

***)* Тут я считаю себя обязанной забежать вперед: во время войны, в эвакуации, в Ташкенте, весною 1942г., А.А. получила от Н.Н. Пунина из Самарканда (куда он был эвакуирован вместе с Академией Художеств) большое покаянное письмо. Мне она прочла его 22 апреля 42г., сказав, что ответит прощением.

Письмо Н.Н. Пунина к Ахматовой ныне напечатано. См. *Ахматова – Ардис*, стр.78. О встрече Анны Андреевны с Пуниным на его пути из Ленинграда через Ташкент в Самарканд будет рассказано мною в т.3 моих *Записок*.

22 августа 40.

20 числа я была в Литфонде и заказала для Анны Андреевны билет на 24-ое. Сообщила ей об этом оттуда же по телефону и уехала на дачу. Сегодня привезла ей с дачи свое пальто, потому что ехать ей не в чем. Она поблагодарила, но от билета, по словам ее, решила отказаться: ехать незачем. Я оставила ей пальто и ушла.

25 августа 40.

Приехав с дачи, я позвонила Анне Андреевне. Оказалось, она все-таки уехала в Москву.

31 августа 40.

Сегодня утром звонок: "Говорит Ахматова, Лидия Корнеевна, я уже вернулась и жажду возвратить вам ваше пальто".

Я отправилась по лютому дождю.

Лежит — опять лежит! Опять — толстое одеяло, без простыни, разметанные по подушке волосы, потом роскошный — но порванный по шву — китайский халат...

Прежде чем рассказать о своих хлопотах, Анна Андреевна рассказала, что была в Переделкине у наших, что К.И. читал ей переводы из Уитмена.

— Они великолепны, — сказала Анна Андреевна.

Ехала она туда, по словам ее, очень удачно: попала в одно купе с женою Федина, которая сразу же на машине доставила ее в Переделкино. Ее поразило и, конечно, обрадовало, что Фадеев принял ее очень любезно и сразу сделал все, от него зависящее. (Все последние дни перед отъездом она твердила: "Фадеев меня и на глаза не пустит"). Поражена также тем, что Фадеев и Пастернак выдвинули ее книгу на сталинскую премию.

— Я пробыла на даче два дня.* Когда мне надо было ехать в Москву, К.И. устроил меня в машину с Виктором Финком. Ехали:

---

*) У кого? — из записи не видно. Но по словам М.С. Петровых — у Пастернака. (Примеч. 1968 г.).

Финк, шофер, я и молодая женщина, редактор Детиздата, которая была у К.И. по каким-то редакционным делам. И всю дорогу до Москвы она мне рассказывала, как, несколько лет тому назад, она украла мои книги у знакомых, а теперь 6 часов стояла в очереди, и им выдавали номерки. Я этот рассказ уже наизусть знаю, я его слышала из стольких уст, что, мне кажется, он просто на мне наклеен.

– К.И. рассказывал мне о Дневнике Любови Дмитриевны. Говорит, такая грязь, что калоши надевать надо. А я-то еще жалела ее, думала – это ее юный дневник. Ничуть не бывало, это теперешние воспоминания... Подумайте, она пишет: "Я откинула одеяло и он любовался моим роскошным телом". Боже, какой ужас! И о Блоке мелко, злобно, перечислены все его болезни.

Я спросила, как поживает Борис Леонидович.

– Неважно. Хуже, чем когда я приезжала в Москву в прошлый раз. Тогда он был в упоении от успеха *Гамлета*. А теперь хмурый. Говорит, что наладился было стихи писать, но не пришлось. "Сначала Зина собиралась в Крым (у старшего мальчика что-то в легких)... потом огурцы поспели... надо было бочки запасать... бочки парить..." Честное слово, так и сказал: парить бочки.

Я спросила, по-прежнему ли он сердит на К.И.

– Да, пожалуй, еще сердит. Все за *Гамлета*, конечно. Я ведь говорила вам: никто из литераторов не свободен от профессиональной болезни. Вот и он тоже. Только мне одной все равно, как кто относится к моим стихам. Николай Иванович о книге моей высказался так: "Ну, какая это книга! И зачем она вам нужна. Ни к чему". – Она рассмеялась. – Но я ведь не стала за это его меньше любить.

На столе лежала ее фотография, из новых, мною еще невиданная. Из последней московской серии. Отличная. Измученное лицо, опущенные глаза.

Анне Андреевне она тоже нравится.

– Тут уже все есть, все видно, – повторила она несколько раз. – А то другие меня заставляют делать веселое лицо – какая-то маска...

Когда я поднялась, она вдруг сказала:

– Не пойму, как дать знать Владимиру Георгиевичу, что я приехала. Может быть, вы будете так добры позвонить ему…

И, в ответ на мое обещание, прибавила:

– Сама я туда не звоню.

Я спросила – хорошо ли она ехала обратно.

– Прекрасно. Ну, разумеется, заснула на два часа позже всех, а проснулась на два часа раньше, но все-таки спала. А то ведь обычно у меня в вагоне сплошная белая ночь.

Она очень обрадовалась тем игрушкам, которые я привезла от Люши детям, серьезно и долго рассматривала их, училась заводить и пускать по полу лягушку, соображала вслух, что кому: что Малайке, что Вове, что Вале.*

5 сентября 40.

Я вела себя по-хамски. Анна Андреевна позвонила мне 2-го и просила придти, но я уже условилась с Татьяной Александровной и потому пообещала Анне Андреевне придти 3-го.[76] Но и 3-го не пришла. – У Танички поднялась температура, я застряла на даче. Сегодня она опять позвонила, застав меня в городе. И мы сговорились на сегодняшний вечер.

Встретила она меня вяло, бледная, усталая, с Вовочкой на руках. Родители ушли в кино; он мокрый, она не может найти другие штанишки. Базедова, по ее словам, у нее обострилась, и нога болит… Пришел Валя, разыскал штанишки, унес Вову. Она немного оживилась.

– Была у меня на днях поклонница. Вот бы вы посмотрели! Показательная поклонница, можно сказать. Девочка 17 лет, прелестная, хорошенькая, из какого-то киевского литературного кружка. Что она говорила! Боже мой, что она говорила!

– Неужели глупее той, из Публичной библиотеки? – спросила я.

– Куда! Та перед нею Иммануил Кант. Она задала мне два оригинальных вопроса. Первый: ”У вас наверное была очень интересная

---

*) Малайка – детское прозвище Ани, внучки Николая Николаевича, дочери Ирины Николаевны Пуниной.

жизнь… в молодости”. Я ответила, что о собственной жизни судить не могу. Второй вопрос был таков: ”Правда ли, что существуют две ваши статуэтки и обе в Париже, так как вы – акмеистка?” Что за галиматья! Им там что-то сказали про акмеизм, и она все перепутала.

– Стихи читала? Какие?

– Читала. Никакие. Семнадцатилетние.

Я осведомилась у Анны Андреевны, понравилась ли ей *Форель*.

– В этой книге все от немецкого экспрессионизма. Мы его не знали, поэтому для нас книга звучит оглушительной новостью. А на самом деле – все оттуда. Как это ни странно, в книге много служебного, словно подписи под картинками… Мне понравился ”Лазарь” и отдельные стихи, например то, которое и вам так нравится: ”По веселому морю летит пароход”. Впрочем, конец там неприятный – о двухлетках.* Очень тяжелое впечатление оставляет непристойность… Во многих местах мне хотелось точек… Это уж очень на любителя: ”практикующие балбесы”. Кузмин всегда был гомосексуален в поэзии, но тут уж свыше всякой меры. Раньше так нельзя было: Вячеслав Иванов покривится, а в двадцатые годы уже не на кого было оглядываться… Быть может, Виллону это и удавалось как-то, но Михаилу Алексеевичу – нет. Очень противно.

Потом Анна Андреевна сообщила мне скверную новость: Таня предупредила, что со следующего месяца не станет кормить ее обедами.

Видя мое огорченное лицо, она сказала:

– Быть может, Пунины разрешат своей домработнице варить мне обед.

Быть может! Будь проклята эта квартира.

---

*) А.А. имеет в виду строки:

Скоро люди двухлетками станут совсем,
Заводною заскачет лошадка.

см. ”Панорама с выносками”, ”Выноска третья” (”Форель разбивает лед”).

10 сентября 40.

Вчера вечером, поздно уже, когда я собиралась ложиться, вдруг телефонный звонок: Владимир Георгиевич. Расстроенным голосом, торопясь, произнес:

– Анна Андреевна очень просит вас придти. Это очень, очень надо. Вы можете? Вы придете? Ну, слава Богу.

Я отправилась. Было уже около 11. Дождь: мокрый черный асфальт блестит осенне и кинематографически.

Анна Андреевна в кресле возле стола, в белом платке поверх халата, строгая, спокойная, тихая, мрачная. Я еще раз про себя подивилась тому, как человек может быть таким совершенным и таким выраженным. Хоть сейчас в бронзу, на медаль, на пьедестал. Статуя задумчивости – если задумалась, гнева –если рассердилась.

Когда я вошла, передо мной сидела сама тоска. Но скоро это переменилось.

– На днях у меня был А. с женой; * он теперь заведует Домом Кино. Предложил мне вечер. Вы понимаете, что, в силу целого ряда обстоятельств, это предложение мне приятно. Я сказала: сейчас не могу, больна, а в конце октября согласна, но сама читать буду лишь в гомеопатических дозах. Чернявский будет читать – вы его не слышали? Прекрасно читает! Надо будет только подобрать для него стихи не от женского имени.[77] Потом кто-то будеть петь, потом я прочту пять-шесть вещей.

Я спросила, хватает ли у нее обычно голоса на выступлениях.

– Когда слушают хорошо, всем голоса хватает, – ответила она.

Я рассказала ей о холуйской статье Б-ой.**

– Вот из-за этого-то я и перестала заниматься Пушкиным... Кроме того, мне было тяжело от грызни между пушкинистами. Вечером благополучно уснешь, а утром увидишь, что тебе за ночь руку или ногу отъели... Цявловский и то стучал на меня кулаком по столу. В работе над *Золотым петушком* мне повезло: книга

---

*) А. – ?

**) – ?

оказалась в библиотеке Пушкина. А то они мне ни за что не поверили бы. Цявловский кричал мне, что это русская сказка, чем доказал только свое невежество, потому что сюжеты всех русских сказок давно известны наперечет, их можно все перебрать, как бусы на нитке... И в русских сказках такого сюжета нет.*

Разговор перешел на Достоевского.

Я сказала, что люблю его сильно, но перечитываю редко: очень уж тяжелое чтение.

– А мне в последнее время он представляется почти идиллическим, – сказала Анна Андреевна. – Я вот теперь в Москве перечла *Подростка*. Ах, какая вещь! Но все это совсем не страшно. К реальной действительности это отношения не имеет. Это все стороны его души – и только. В действительности ничего такого никогда не было и не бывает.

Я сказала, что не люблю Тургенева.

– Мелко у него все, люди мелкие и события, и сам он мелковат, – сказала Анна Андреевна. Потом:

– Когда я была у Корнея Ивановича, его позвали по какому-то делу, он извинился и минут на 20 ушел, дав мне Гончарова, чтобы я почитала пока. Помните рассказ Гончарова о том, как Тургенев его обворовал? Конечно, там много бреда, но когда читаешь – понятно, все-таки, что в основе лежит истина.

Затем, сообщив мне очень торжественно и многозначительно, что Лозинский переводит уже двадцатую песню *Ада*, она рассказала:

– Знаете, во Флоренции хранится подлинное завещание отца Беатриче. Из этого завещания явствует, что звали ее вовсе не Беатриче, а Биче. Исследователи долго не понимали, почему Данте дал ей другое имя. Но оказалось, это был рыцарский средневековый обычай – воспевать даму под условным, вымышленным именем. Ведь если употребишь ее настоящее имя – можно получить железной перчаткой по лицу.

Я поднялась, но она сказала умоляюще:

---

*) Речь идет о работе А.А. "Последняя сказка Пушкина" – см. *Звезда*, 1933, №1. В переработанном виде статья эта опубликована Э.Г. Герштейн в сборнике: *Анна Ахматова. О Пушкине*. Л., "Советский писатель", 1977.

— Я сейчас поставлю чайник. Вы не можете себе представить, как быстро он закипит!

Она вскочила с кресла и воткнула вилку в штепсель необыкновенно быстрым и гибким движением.

— Правда, у меня к чаю один только сухарь, да и тот черствый. Ни у кого не бывает такого плохого угощения, как у меня.

За чаем она снова рассказывала мне о Москве, в частности о Николае Ивановиче.

— Он сейчас в какой-то новой орбите... Теперь он бритый, подтянутый и даже эскалаторов метро перестал бояться — а раньше это было такое мученье... Та дама, в чьей орбите он находился прежде, теперь отлучена от стола и ложа. Мне выпало на долю подавать ей первую психическую помощь. Я посоветовала ей воздвигнуть в сердце мавзолей угасших чувств и отойти без объяснений... Я по себе знаю, что в подобных случаях следует поступать только т а к . Он несомненно в новой орбите: он и со мной стал другим. Очень обрадовался мне, был внимателен, но все совсем, совсем не так, как прежде. Удивляться нечему — живем в разных городах, видимся редко.

Постучался и вошел Николай Николаевич. Почесывая макушку, он спросил:

— Аня, у вас нет 15 рублей?

— У меня 50.

— Ну, дайте 50. Я пытался продать книги, но не вышло.

— Все сейчас пытаются продавать книги и у всех не выходит... Была сегодня Ольга, взяла 50 рублей: она пыталась продать книги и у нее не вышло...* Возьмите, пожалуйста.

Николай Николаевич взял, поблагодарил, почесал голову и вышел.

Анна Андреевна рассказала, что собирается выкупить у Тани свою книгу за 100 рублей.

— Как? Неужели она вам так не отдаст? Ведь она получила ее от вас даром.

---

*) Ольга — Ольга Федоровна Берггольц. О ней см. *Записки*, т.2, стр.183 и 483.

– Ничего не получила, а просто вошла в комнату и сама взяла, когда тут стопочка лежала на стуле. А теперь говорит, что отдала бы мне, пожалуй, за 100 рублей.

Ну, квартирка!

17 сентября 40.

Вчера я позвонила вечером Анне Андреевне и попросила разрешения придти. По дороге купила пирожных. У нее сидела Лотта. Долго уверяла Анну Андреевну, будто безумно ее боится. Но по ее развязности и остротам этого заметно не было.

Скоро она ушла.

Анна Андреевна рассказала мне: "закрыл лицо руками". И о Расине:

– Расин умер оттого, что король ему не ответил на поклон. Он был в силе, а потом кто-то оттер его. Чтобы проверить свои акции, он пошел к мессе и стал на положенное ему место. Дождался выхода короля. Поклонился ему, а тот не ответил. Тогда Расин пошел домой, лег в кровать и к вечеру скончался.*

Нынче всю ночь она читала Данте, сравнивая его с французским подстрочником.

– То есть это не подстрочник; современники, вероятно, принимали его, как великолепный перевод. Я узнала многое, о чем прежде и представления не имела. Например: как известно, Гюго возмущался, что Дант назвал свою поэму "Божественной". Но оказывается – он так ее никогда не называл. Просто "Комедия", а "Божественной" ее назвали другие... Итальянцы считают, что вся итальянская поэзия выросла из "Комедии". Конечно, это так. Но вот что интересно: у Данта все было домашнее, почти семейное. А у Петрарки, у Тассо все уже стало общим, отвлеченным, потеряло домашность. Такой же породы – домашней, семейной – был у нас Маяковский.

Мы сидели в полутьме, а за стеной все время раздавался пьяный голос. Постепенно я поняла, что этот пьяный голос учительствует:

---

*) Кто закрыл лицо руками и с кем случилось нечто подобное тому, что случилось с Расином, – вспомнить не могу.

обучает ребенка писать. Это Женя* учит Валю. Голос озверелый, темный...

Анна Андреевна прочитала мне три стихотворения С.** Я ей сказала, что очень странно из ее уст слышать чужие стихи, что они приобретают интонацию ее стихотворений.

– Да, да, мне это уже говорили. В Цехе поэтов, бывало, меня для потехи заставляли читать Некрасова:

Он твои пленительные взоры
. . . .
Все отдаст за плоские рессоры...

Некрасов читал, конечно, совсем не так. Все очень смеялись.

Стихи С. мне понравились: чистые, тютчевские. Оказалось, автору за 40. Я спросила, давно ли он пишет: стихи редко ведь начинают писать в зрелом возрасте (прозу сколько угодно). По этому поводу мы заговорили о поразительно раннем развитии Лермонтова.

– Мальчиком он написал "Ангела" и "Русалку", – сказала Анна Андреевна, – "Русалка плыла по реке голубой". Вы подумайте только!.. "Если бы у меня был такой сын, я бы плакала"...

Она включила чайник, распаковала пирожные и продолжала:

– Такую фразу мне сказала однажды моя тетка.

– Плакала бы от счастья? – спросила я.

– Нет, от горя, конечно. Она сказала мне: "если бы я была твоей мамой, я бы все время плакала".

– Чем же это вы ее так огорчили?

– Мне было тогда лет 13. Я ходила в туфлях на босу ногу и в платье на голом теле – с прорехой вот тут, по всему бедру...

(Я подумала, что и в 50 я частенько вижу ее в халате с прорехой по всему бедру).

... до самого колена, и чтобы не было видно, придерживала платье вот так рукой... Это, конечно, не способ. И потом, я бросалась в море со всего – со скалы, с лодки, с камня, с балок... Знаете,

---

*) Смирнов – Валин и Вовин отец.
**) С. – ?

как я ответила своей тетушке? Все-таки я была ужасная нахалка! Я ответила ей так: "Для нас обеих лучше, что вы не моя мама".

Заговорили о Мандельштаме. Я прочитала строфу:

Еще обиду тянет с блюдца
Невыспавшееся дитя,
А мне уж не на кого дуться,
И я один на всех путях...

— сказав, что сильно люблю ее, что в этих строках есть что-то необыкновенно точное.

— Да, да, — ответила Анна Андреевна, — прелестные стихи — и так это на него похоже! Он ведь был странный: не мог дотронуться ни до кошки, ни до собаки, ни до рыбы... А детей любил. И где бы ни жил, всегда рассказывал о каком-нибудь соседском ребеночке...

Мы сели пить чай. За чаем Анна Андреевна заговорила о том, как Лотта уверяла ее, будто ее, Анну Андреевну, все боятся.

— Я не могу понять, чем это вызвано. Но мне часто об этом рассказывают. Почему? Я никому не говорю неприятностей. Сологуб, например, — тот любил и умел сказать неприятное, и потому его боялись. Я же никогда никому. А между тем Лотта уверяет, что однажды, когда я в Клубе Писателей прошла через биллиардную, со страху все перестали катать шары. По-моему, в этом есть что-то обидное.

Я спросила, как ее хозяйственные дела. Омерзительно. Таня уехала в Выборг, да и все равно отказалась кормить ее, Пунины тоже не хотят разрешить своей домработнице ее обслуживать. Столовая же Дома писателей закрыта.

— Скоро меня положат в больницу, — сказала Анна Андреевна, — и вот тогда я буду есть три раза в день.

Пришел Владимир Георгиевич, замученный. Сел в кресло, закрыл лицо руками, начал жаловаться. Посидев минут 5, я ушла.

18 сентября 40.

Вчера вечером Анна Андреевна позвонила и пришла — поздно вечером, часов в 10. Лицо ее показалось мне раздраженным, недобрым. Она была в черном шелковом платье и в шелковом платке,

красивая, величавая. Разговор зашел о Ксении Григорьевне. Анна Андреевна говорила о ней с яростью, с искаженным от бешенства лицом.* Потом она прочитала мне снова свою великолепную "Современницу" – красавицу 13 года. Потом принялась расспрашивать о моей работе. Я пожаловалась, что когда только что напишу что-нибудь – стихи ли, прозу – совсем не могу судить о качестве.

– Да и никто не может... Плывешь без руля и без ветрил... Только потом замечаешь, что все одинаково реагируют на одни и те же места, и тогда сама начинаешь понимать. Например, "Путем всея земли". Все, решительно все, говорят об этой вещи одно и то же: "вещь магическая" и "новое искусство". Ну, разумеется, кроме Кс. Гр., которая честно призналась, что она просто ничего не поняла. Но ей понимать и не положено.

Она сидела у меня часов до двух. Я пошла ее провожать. Дворник долго не отпирал нам внизу дверь нашей парадной, и мы смотрели сквозь стекла на темный город. Редкие машины проплывали беззвучно, как рыбы. А трамваи с громким звоном – "заблудившиеся". Потом дворник открыл нам, мы пошли, и она опять боялась переходить через Невский.

24 сентября 40.

Вчера я рассчитала, что у меня в Доме Занимательной Науки будет промежуток и я могу подняться на часок к Анне Андреевне.** Я позвонила ей снизу – "Ну конечно, приходите!" – сказала она. Однако, когда я пришла, выяснилось, что она приглашена к обеду и ей уже пора. Она попросила меня проводить ее, и я отправилась, надеясь вовремя вернуться в ДЗН.

---

*) Ксения Григорьевна бесконечно раздражала Анну Андреевну и меня своими рассуждениями об арестах. Точка зрения ее может быть выражена двумя не идущими к делу, но спасительными поговорками, за которые люди усердно цеплялись в те времена: "Лес рубят – щепки летят" (мол, берут виновных – случайно попадаются и невинные) и "нет дыма без огня" (мол, зря не сажают). Эти поговорки служили оправданием террора и потому не могли не приводить Анну Андреевну в ярость.

**) Мне в это время изредка давали на редактирование рукописи в Доме Занимательной Науки, который помещался в бывшем дворце Шереметевых; Ахматова жила там же, на Фонтанке, 34, но не в основном здании, а во флигеле.

Мы вышли на Фонтанку. День был теплый, солнечный, золотой – "совсем ваша весенняя осень", сказала я. Мы шли к Неве. Она заговорила о жене Коли Давиденкова – как та его мучит, настоящая современная Кармен или Манон Леско.

– Но когда у нее будет трое детей от троих разных мужчин – что же, они так и будут целым табором кочевать от папы к папе? – сказала Анна Андреевна. – И все, в отличие от Кармен, из-за лишних ста рублей, уверяю вас.

Я сказала, что вот такая женщина, никого не любящая и корыстная, всегда будет любима.

– Вовсе нет. Сейчас она очень свежа, но ведь это пройдет. И Коля оставит ее, и другой муж. Тому уж, говорят, надоело. Сколько я таких историй в жизни видела.

Мы перешли через разрытую Симеоньевскую и пошли по Моховой.

– Недавно у меня опять была Валерия Сергеевна, – сказала Анна Андреевна. – Представьте себе, это совершенно другой человек, новый, мне неизвестный. Полное изменение личности. Даже в мелочах она другая. Когда-то, в молодости, она была очень тяжела на подъем. Собирается в гости: переменит три платья, три прически и останется дома. Когда я теперь возобновляла с нею знакомство, я, признаться, немного рассчитывала на эту черту: ну, думаю, придет раза два в зиму – и только. Но нет! Теперь она ходит очень легко! Сколько угодно! Безо всяких затруднений!.. Но это еще полбеды. Она духовно переменилась. На днях взяла у меня почитать Пастернака. И принесла. Возмущена ужасно: "Развязен... бездарен... самовлюблен... плетет словеса..." Все это 20 лет тому назад мы свободно могли бы прочитать в *Новом времени*. "Рекламирует своего друга Нейгауза". Боже мой! Нейгауз – знаменитый музыкант и нисколько не нуждается в рекламе. "Баллада" ее вообще возмутила; ей неведомо, что Подол – это часть города, она воображает, будто речь идет о подоле женской юбки. И возмущена цинизмом.

– Вы ей объяснили?

– Конечно нет... Я бы желала, чтобы когда-нибудь она встретилась у меня с Ксенией Григорьевной. Они обе и не догадываются, как сильно друг на друга похожи.

— А раньше Валерия Сергеевна была похожа на Ксению Григорьевну?

— Нисколько. Я говорю вам: произошла полная подмена личности.

Мы вышли на Неву. Она пенилась слегка, хотя и была голубая.

— Эта река всегда идет вспять. Всегда, — сказала Анна Андреевна.

29 сентября 40.

Третьего дня вечером Коля Давиденков сказал мне, что в *Ленинградской Правде*, в статье о литературе, есть очень неблагосклонный отзыв об Анне Андреевне. Я хотела сразу к ней зайти, но помешал грипп. Вчера утром, когда мне сделалось полегче, я, позвонив, пошла. Застала ее еще в постели. Возле нее сидел Валя и готовил уроки. Оказывается, про статью она ничего не знала. Известие приняла равнодушно, однако послала Валю к Пуниным за газетой. Я прочла ей всю статью вслух. Она обругана не по первому разряду, а так, приблизительно, по десятому...* Зато строки, порицающие З., очень ее огорчили и она несколько раз в разговоре возвращалась к несправедливости этих строк.**

Потом она попросила меня достать из комодика пачку писем и, надев очки, прочитала мне письмо какого-то гражданина из Новосибирска, сильно ее тронувшее. В самом деле, письмо хоть и неинтеллигентное, но хорошее. Там есть такие слова: "И за это, товарищ Ахматова, я приношу Вам свою благодарность".

— Не правда ли, "товарищ Ахматова" звучит тут очень мило? — сказала Анна Андреевна. — Вчера я была в Пушкинском доме на заседании блоковской комиссии. Там, в перерыве, ко мне подошел молодой человек и вручил записку со стихами.

---

*) *Ленинградская Правда*, 27 сентября 1940. В статье "Активизировать творческую работу писателей" говорилось об "упадочнических" и "бледных" стихах Анны Ахматовой, вошедших, по вине беспечных редакторов, в сборник *Из шести книг*.

**) Мною здесь что-то перепутано. Определить, кого я укрыла под буквой "З", мне не удается.

Анна Андреевна прочитала мне это стихотворение вслух, предупредив:

– От избытка чувств в одной строке нету ритма.

Я включила чайник и развернула пирожные. Анна Андреевна отдала два Вале и велела ему идти домой и одно дать Вовочке.

Пока чайник не вскипал, Анна Андреевна читала мне стихи. Прочла про темные души, про Шекспира, потом, извинившись, что читает неоконченное, про руки и Павловск.*

Я сказала о первом: оно той же тональности, что и "Путем всея земли".

Она удивилась:

– А мне кажется, оно совсем старое, словно из *Белой стаи*... Новым мне представляется только третье.

Она уже дошла до того полного "владения формой", когда воочию осуществляется постоянное, старинное мечтание поэтов:

О, если б без слов
Сказаться душой было можно!

Слушаешь, и кажется, будто нету слов, размеров, ритмов, рифм, а просто – просто! – говорит сама душа, минуя форму, сама собой, чудом.

Все время, пока она читала, из соседней комнаты доносились Танины крики:

– Ах, ты зараза, сволочь, я тебе покажу, сволочь ты этакая!

Это Таня учила Валю делать уроки.

1 октября 40.

Сегодня утром трагикомедия с переплетчиком. Вручая ему две недели назад книгу Ахматовой, я специально просила беречь надпись. Он обещал. А сегодня вручил мне книгу, весьма изящно переплетенную, но с отрезанной надписью – только хвостики от *р* и *д* остались. Я топала ногами и кричала. "Что вы расстраиваетесь,

---

*) А.А. прочитала "Так отлетают темные души" – (№19); "Лондонцам" – (№51), *БВ, Седьмая книга*; "Шестнадцатилетние руки" – впоследствии "Пятнадцатилетние" и окончательно: "Мои молодые руки" – (№27).

гражданка?" — сказал он флегматически. "Подумаешь, надпись! Ведь это не Лев Толстой". На прощание сострил: "Хотите, я вам сам надпишу?".

Я решила пойти к Анне Андреевне и попросить ее надписать мне книгу снова. Зашла к ней вместе с Люшенькой, возвращаясь от англичанки. Пришли мы некстати. Анна Андреевна неприбранная, непричесанная, с изможденным лицом. Я не удержалась и сразу рассказала ей о своей неудаче у переплетчика — не спросив ее о здоровье, не узнав, отчего она так дурно выглядит.

Она рассказала,* и я устыдилась себя.

Она села, однако, надписывать заново книгу. Перо оказалось негодным, и Люша была послана к Пуниным за другим.

Ночью у Анны Андреевны был сердечный приступ.

Она пыталась быть любезной со мной и ласковой с Люшей, но это ей удавалось плохо. Попросила меня достать ей вчерашнюю *Литературную газету* — там, оказывается, была статья о ней.[78]

Мы с Люшей простились. Анна Андреевна пошла проводить нас до выходных дверей. Обнаружив на кухне свет, она резко сказала пунинской домработнице: "Погасить сейчас же. Это квартира коммунальная, и я не хочу из-за вас сидеть в лагере". Я в первый раз слышала, чтоб она говорила с кем-нибудь в таком резком и раздраженном тоне.

У дверей, прощаясь со мной и Люшей, она сказала:

— Сегодня день его рождения.

3 октября 40.

Вчера вечером Анна Андреевна позвонила мне, что придет. У меня сидел Коля Давиденков, мы работали над его рукописью. Когда подняли головы — был час ночи: Анна Андреевна не пришла.

Сегодня с утра я отправилась к ней узнать, что случилось. В комнате старик-маляр замазывал окно. Анна Андреевна лежала на диване под толстым одеялом, с желтым лицом — какая-то маленькая, сухая.

---

*) Какое-то дурное известие о Леве.

– Извините меня. Я вчера вышла к вам, дошла до Невского и повернула обратно: увидела часы и на них оказалось без двадцати двенадцать. А я думала – семь.

– Вы спали сегодня?

– Нет.

Я извинилась, что еще не раздобыла газету.

На стуле возле Анны Андреевны лежал томик Багрицкого, издание *Малой Серии.*

Она спросила меня, знаю ли я стихи Багрицкого и что о них думаю.

Я ответила: знаю, но не думаю ничего, потому что они как-то проходят мимо меня, не трогая и не задевая.

– Совсем неинтересно, – согласилась Анна Андреевна. – Я читаю впервые. Меня поразила поэма "Февраль": позорнейшее оплевывание революции.

И она очень методически, подробно, медленно пересказала мне своими словами сюжет и содержание этой поэмы.[79]

– Удивляюсь редактору книги. Зачем было это печатать? А вступительная статья Гринберга! Какая безответственность! Он пишет, будто в 1915 году во всех журналах царили акмеисты. Каждый школьник знает, что 15 год – это Блок, Сологуб, Брюсов, Белый. Акмеистам в 15 году было негде печататься.

Я собралась уходить, но завыли сирены, закричало радио – началась воздушная тревога.

– Голос беды, – сказала Анна Андреевна.

Она попросила включить чайник. Я нашла в шкафике кусок окаменелого хлеба, нашла сахар, вымыла чашки и ложки. Рассказала ей замысел своей статьи о Зощенко: статья будет о том, что Зощенко – писатель-моралист, занятый главным образом этическими проблемами, и о том, как ставит он эти проблемы в рассказах для детей.[80]

Анна Андреевна перебила меня.

– Как это странно! То же самое про этику, про моральное напряжение, говорил мне когда-то Хлебников обо мне... Вы подумайте: Хлебников обо мне!

Труба заиграла отбой. Бодрые звуки эти очень шли золотым листьям за окном, яркому солнцу, синеве.

Я простилась.

8 октября 40.

Вчера я была в гостях у Анны Андреевны. Впечатление смутное и тяжелое. Когда я вошла, она стояла на коленях у сундука, выкладывала на пол какие-то книги и рисунки. Объяснила, что ищет маленький пейзаж, который хочет подарить Владимиру Георгиевичу. Нашла рисунок: лодочка, озеро, отражение холма в воде... (Подписи художника я не разглядела хорошенько; может быть, Воинов). И только когда она поднялась с колен и села на свое обычное место — я увидела, что у нее искаженное лицо, какое-то отекшее и осунувшееся. Такое лицо было у нее в прошлогоднем августе, когда она провожала Леву.

Скоро пришел гость — некто из Эрмитажа. Он рассказал о болезни Орбели: у Орбели гайморит, врачи настаивают на операции, а он отказывается.

— Что же будет? — спросила я.

Анна Андреевна все время слушала очень рассеянно, молча сидела и думала о чем-то своем. Но на мой вопрос ответила энергично и с гневом:

— Будет — смерть. Вот наказание за трусость!

13 октября 40.

Вчера вечером Анна Андреевна позвонила мне и очень настойчиво попросила придти. Я отменила работу с Колей Давиденковым и пошла к ней по проливному дождю.

Комната имеет вид пустой, просторной, тщательно прибранной. У Анны Андреевны белые глаза и синие губы. Глаза ввалились, глазницы, как ямы. Усадила меня на диван:

— Я письмо получила. Сегодня. В 8 часов утра. Не получать писем худо — три месяца не было ни строчки — а получать еще хуже.

Прочитала мне письмо вслух. Голос напряженный: "Жизнь, кажется, висит на волоске". Когда она кончила, на глазах у нее были слезы.

А ей ведь предстоит известить его о новой неудаче!

Я спросила, какие у нее еще новости.

– Да так, смешные пустяки. – И протянула мне маленькую бумажку. Там, на машинке, с пропуском места для вписанной от руки фамилии, настукано предложение прислать стихи для какого-то сборника – "стихи 39-40 гг.". Бумажка серийного производства. Однако я обрадовалась и такой: она не была бы послана, если бы имя Анны Ахматовой стало уже совсем одиозным.

Анна Андреевна включила чайник. Тут я поняла свою глупость: по дороге я ничего не купила, а к чаю нет ничего решительно. Я отправилась покупать.

Когда я воротилась с пакетами, на диване возле Анны Андреевны сидела Срезневская.[81] На ней была знаменитая лазурная шаль Анны Андреевны. Мы начали пить чай. Валерия Сергеевна звучным своим голосом, русским говорком пустилась в воспоминания. Говорит она хорошо, красочно, иногда ее замечания тонки, но она слишком часто вставляет в речь словечко "понимаете" и слишком у нее в ходу "исключительно" и "замечательно".

Она говорила: "Теперь старые дамы пытаются присоседиться к Ане. Недавно я слышала об одной, которая у кого-то отняла твою книгу, потому, мол, что у нее и с книгой и с тобою "столько связано": вы обе любили одного человека и она его тебе отдала".

– Это Владимира Казимировича, – засмеялась Анна Андреевна. – Какая чушь.

– Он был исключительно, непередаваемо красив, – воскликнула с энтузиазмом Валерия Сергеевна. – Высокий, стройный. Лепка головы просто античная. А какой он был гений.

Я опасалась сначала, что Анне Андреевне эта болтовня неприятна, – нет, она охотно слушала и вставляла словечки.

Заговорили о том, как недостоверны воспоминания. Срезневская: "Вот, например, Голлербах. Ну что он может помнить и что понимать? Это мы хорошо помним кондитерскую его матери. У нее была целая куча детей, и Эрка бегал – *schneller!* – теряя калоши. Не правда ли, Аня, мы никак не предполагали тогда, что это будущий искусствовед?[82] Ну, что он может помнить?.. Мы еще там леденцы покупали – ты помнишь, Аня?"

— Он сделал так, — сказала Анна Андреевна, — женился на второй жене мужа моей покойной сестры. И овладел моими письмами и дневником сестры.*

Потом они вспоминали извозчика в Царском, который обернулся и что-то сказал им смешное;** потом — няню Валерии Сергеевны, которая чудесно говорила по-русски, носила власяницу и дружила со скопцом Федькой: потом — мать Анны Андреевны.

— Твоя няня, — сказала Анна Андреевна, — все удивлялась, как это Коля на мне женился: горбоносая, худая, ничего в ней нет. А Коля — первый жених в Царском. Это понятно. Она ведь, как и все они там, сильно почитала Колину мать. Анна Ивановна была хозяйкой, не то что наши мамы.

"Да уж, твоя мама совсем ничего не умела в жизни. Представьте, Лидия Корнеевна, из старой дворянской семьи, а уехала на курсы. Как она собиралась жить — непонятно".

— Не только на курсы, — поправила Анна Андреевна, — она стала членом народовольческого кружка. Уж куда революционнее.

"Представьте, Лидия Корнеевна, маленькая женщина, розовая, с исключительным цветом лица, светловолосая, с исключительными руками".

— Чудные белые ручки! — вставила Анна Андреевна.

"Необыкновенный французский язык, — продолжала Срезневская, — вечно падающее пенснэ, и ничего, ну ровно ничего не умела... А твой отец! Красивый, высокий, стройный, одет всегда с иголочки, цилиндр слегка на бок, как носили при Наполеоне III, и говорил про жену Наполеона: "Евгения была недурна"...

— Он видел ее в Константинополе, — вставила Анна Андреевна, — и находил, что она — самая красивая женщина в мире.

Потом речь зашла почему-то о руках Николая Степановича — "бессмертные руки!" — сказала Валерия Сергеевна.

Заговорили о деревне, потом о крестьянах, украинских и русских.

---

*) Речь идет о письмах Анны Ахматовой к С.В. Штейну. Ныне они опубликованы — см. *Ахматова. Ардис.*

**) Извозчик сказал: "Ревнивая обида у вас, барышни", — (сообщила мне, со слов Анны Андреевны, М.С. Петровых в 1968 г.).

— Униженно держались только украинские крестьяне, — сказала Анна Андреевна. — Они были развращены польскими помещиками. Я сама видела там, как едет управляющий в красных перчатках и семидесятилетние старухи его в эти перчатки целуют. Омерзительно! А в Тверской губернии совсем не то — полное достоинство.

И осуждающие взоры
Спокойных загорелых баб —

произнесла Валерия Сергеевна.*

Опять вернулись к воспоминаниям и к будущей биографии.

"Я знаю одну даму, которая, в подтверждение легенды о твоем романе с Блоком, ссылалась на строчки: "Ты письмо мое, милый, не комкай, / До конца его, друг, прочти. / Надоело мне быть незнакомкой, / Быть чужой на твоем пути".**

Валерия Сергеевна не удержалась и со вздохом добавила: "Вот так будут писаться н а ш и биографии".

Я глянула на часы — оказалось, 2. Мы вышли вместе. Пока мы шли через двор, Валерия Сергеевна продолжала говорить о воспоминаниях и биографиях.

— Голлербах что-то пишет, а обо мне и понятия не имеет — какой у меня материал. Ведь мы учились вместе в Аней в гимназии — у меня она жила, когда ушла от Коли... Ах, какая у меня была исключительная, совершенно особенная дружба с Колей... Но я ни для кого недоступна, Голлербаху до меня не добраться. Я ни для кого недоступна, кроме самых первоклассных людей.

Мы простились.

17 октября 40.

Вчера вечером Анна Андреевна пришла ко мне в гости. В черном шелковом платье, в белом ожерелье, нарядная. Но грустная и очень рассеянная.

---

*) Строки из стихотворения "Ты знаешь, я томлюсь в неволе" — *БВ, Четки.*

**) *БВ, Четки.*

У меня была Муся.*

Анна Андреевна сидела очень прямо на краю дивана, не усаживаясь, как обычно, поглубже, молча курила и молча пила чай.

Высмотрела на полке книжечку стихов Симонова и попросила меня почитать вслух. Я прочитала два стихотворения: "Транссибирский экспресс" и "Чемодан". Я спросила у нее, почему вот в "Экспрессе" все как будто есть, а тем не менее – плохие стихи. Она поморщилась:

– Мелко... мелко... и какую обильную дань он содрал с Пастернака!

Я прочитала вслух "Историю болезни" Зощенко. Она, к моему удивлению, не смеялась, но когда я окончила, сказала:

– Очень хорошо. Отлично.

Я попросила ее объяснить, почему она не любит Чехова.

– Прежде всего я не люблю его драматургию. Театр – это зрелище. А драмы Чехова – это совершенное разложение театра.
Но не в этом дело. Я не люблю его потому, что все люди у него жалкие, не знающие подвига. И положение у всех безвыходное. Я не люблю такой литературы. Я понимаю, что эти черты чеховского творчества обусловлены временем, но все равно – не люблю.

И Художественный театр – тоже. Особенно когда они ставят Шекспира. Им Шекспира совсем трогать нельзя. Они не понимают, как к нему подойти, он не для них. Даже Михаил Чехов, гениальный актер, – я не могу забыть Эрика – в *Гамлете* плох... Я никогда Художественного театра не любила. Один раз пошли мы с Володей Шилейко на какой-то чеховский спектакль. Он мне в антракте говорит: "Ты видела? Там мышка на сцену выскочила. Интересно, это она случайно, или так требуется по режиссерскому замыслу?"

Анна Андреевна была в этот вечер очень неразговорчивая. Говорила, только отвечая на вопрос. Я спросила, правда ли, что, как мне рассказывал Корней Иванович, в молодости она занималась гимнастикой.

– Нет, гимнастикой я не занималась. Это, наверное, К.И. имеет в виду фокусы, которые я показывала. Я могла, изогнувшись,

---

*) Муся – Мария Яковлевна Варшавская.[83]

коснуться затылком пола. Могла лечь на живот и прислонить голову к ногам. Безо всякой тренировки мне давались такие вещи, которые обычно достигаются только упорной, ежедневной тренировкой. Циркачи говорили, что если бы я с детства пошла учиться в цирк – у меня было бы мировое имя.

Опять замолчали. Потом Муся призналась, что пробует читать *Улисса*, но не понимает его.

– Изумительная книга. Великая книга, – сказала Анна Андреевна. – Вы не понимаете ее потому, что у вас времени нет. А у меня было много времени, я читала по 5 часов в день и прочла 6 раз. Сначала у меня тоже было такое чувство, будто я не понимаю, а потом все постепенно проступало, – знаете, как фотография, которую проявляют. Хемингуэй, Дос Пассос вышли из него. Они все питаются крохами с его стола.

– А Хемингуэя вы любите? – спросила Муся.

– Очень. Лучшая его вещь – *В снегах Килиманджаро*.

Она поднялась, вышла в переднюю, надела пальто – и тут обнаружила, обыскав карманы, что оставила дома ключи от квартиры и от комнаты. Позвонила Николаю Николаевичу ("говорит Ахматова") и попросила его открыть ей входную дверь.

Я отправилась ее провожать, проводила до верху и подождала, пока ей открыли. Вернувшись домой, позвонила ей по телефону, чтобы узнать, удалось ли ей попасть к себе в комнату? Удалось; дверь открыли с помощью отмычки.

В ответ она спросила, не оставила ли она ключи у меня на диване.

Так и оказалось.

Сегодня около часу дня я отправилась отнести ей ключи.

Лежит; растрепанные волосы; толстое одеяло без простыни – все как всегда. Но сегодня она живее, бодрее, чем была вчера. Скинула со стула охапку белья и предложила мне сесть.

– Вы вчера были чем-то дополнительно огорчены? – спросила я.

– Да, – ответила она, не объясняя.

Предложила мне посмотреть пушкинские тетради, только что ею полученные. Красивый футляр, потом почерк Пушкина. Перелистывая тетрадь комментариев, я наткнулась на ее заметку.

— Надо ее прочесть, — сказала я.

— Нет, нет, совсем не надо! — закричала Анна Андреевна. — Это собачий бред, мура! (Я ужасно люблю слышать из ее уст такие словечки). Чудаки пушкинисты! Вот Бонди построил весь свой комментарий на полемике с Измайловым. Ну, кому это надо? Они так вгрызлись друг в друга, что совсем уже ничего не понимают.

Потом она рассказала мне о посещении Пуц...* Действительно, по-видимому, пренеприятный господин.

— Сегодня он должен звонить, — продолжала Анна Андреевна. — Я скажу ему, что позировать раздумала. Скажу ему, что друзья не советуют: очень уж старая стала.

— Но тогда он будет галантно возражать.

— Ничего он не будет. Я повешу трубку.

Я сказала, что слава имеет, видно, свои худые стороны.

— О, да! — весело подтвердила Анна Андреевна. — Когда едешь в мягком ландо, под маленьким зонтиком, с большой собакой рядом на сиденье и все говорят: "вот Ахматова" — это одно. Но когда стоишь во дворе, под мокрым снегом, в очереди за селедками и пахнет селедками так пронзительно, что и туфли, и пальто будут пахнуть еще десять дней, и вдруг сзади кто-то произносит: "Свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду" — это совсем, совсем другое. Меня такое зло взяло, что я даже не оглянулась.

Я спросила, выздоровел ли Баранов и смотрел ли ее. (Она ведь собралась лечиться, лечь в больницу).

— Не знаю. Но лечиться я больше не стану. Это слишком большого напряжения требует.

— Но вы же сами, Анна Андреевна, бранили меня и уверяли, что лежать в больнице даже приятно!

— А теперь я лечиться не буду. После отказа я решила не лечиться.

22 октября 40.

Вечер. Анна Андреевна выглядит чуть получше и лежит в белом платье на своем диване. Встретила меня ласково, радостно. Показала

---

*) — ?

мне неизданного Хлебникова, полученного ею только что в подарок от Николая Ивановича.

– Прекрасная работа, блестящая. Но знаете что: я прихожу к убеждению, все более и более, что история литературы – это такие все мнимости! Вот даже тут, в прекрасной работе Николая Ивановича, это видно. Хлебников поносит Сологуба, Арцыбашева, Блока. Николай Иванович разъясняет, что это, мол, была борьба с символистами. Вздор! Какой же Арцыбашев символист? И никакой осознанной борьбы с символизмом у Хлебникова вовсе не было. Они боролись со всеми известными тогда людьми, чтобы место расчистить... Тут от Хлебникова и Корнею Ивановичу достается. И это, конечно, тоже в плане борьбы с известностью. Возьмите Маяковского. Теперь вот говорят и пишут, что он любил мои стихи. А публично он всегда ругал меня... Им надо было вырубить лес и они вырубали вершинки повыше.

Рассказала, возмущаясь, о домысле Максимова.[84]

– Собачий бред! Мура! И это говорит специалист. Нет, в пушкинизме такого уже не может быть. Пушкинизм – это действительно точное знание. У Пушкина, например,есть письмо к Дмитриеву, очень учтивое. Но мы уже поняли, что значит эта учтивость, пушкинисты осведомлены прекрасно, что для Пушкина Дмитриев был падалью.

Я часто жаловалась ей на свою неспособность понять прелесть Хлебникова. Она вспомнила об этом, изогнулась, добыла со стула очки и старый том Хлебникова, и строгая, в очках, облокотясь на подушку, медленно прочитала два стихотворения: "Правителем не буду" и "А пение и слезы". Потом дала мне самой прочитать вслух третье: о горах, о поездке, о проводнике.[85]

– Поняли?

– Да, – ответила я неуверенно, и решилась заметить, что моему уху мешает отсутствие определенного ритма, что чередование слов и движение стиха представляется мне произвольным, я не чувствую в них обязательности, что мне кажется, будто это заготовки для стихов, еще ненаписанных, и что по-моему – или стихи Жуковского стихи, или это стихи.

– Ну что вы! Ну как можно так говорить. Это все увидено как бы в первый раз, первоначально. Поэты знают, до чего это

трудно: писать, как говорит Борис Леонидович, "без поэтической грязи"...

– Я очень люблю Хлебникова, – продолжала она, – но не во все периоды его. У него ведь много периодов, не то что у Пастернака. Я терпеть не могу раннего Хлебникова, славянского. Вы Ремизова любите? Нет? Я тоже. Что за безвкусица, что за чепуха! Я как прочту *Лель* – так мне тошно станет. Какой Лель, откуда? Вот и у Хлебникова есть период Леля, который я не люблю.

Мы сели пить чай. Разговор зашел о Крыме, о море. Анна Андреевна сказала:

– Я недавно перечла "У самого моря" и подумала: понятно ли, что героиня не девушка, а девочка?

– Я думала – девушка 16-17 лет.

– Нет, именно девочка, лет 13... Вы не можете себе представить, каким чудовищем я была в те годы. Вы знаете, в каком виде тогда барышни ездили на пляж? Корсет, сверху лиф, две юбки – одна из них крахмальная – и шелковое платье. Наденет резиновую туфельку и особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя – и на берег. И тут появлялось чудовище – я – в платье на голом теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два. Возвращалась, надевала платье на мокрое тело – платье от соли торчало на мне колом... И так, кудлатая, мокрая, бежала домой.

– Вы наверное очень скучаете без моря?

– Нет. Я его помню. Оно всегда со мной... У меня и тогда уже был очень скверный характер. Мама часто посылала нас, детей, в Херсонес, на базар, за арбузами и дынями. В сущности, это было рискованно: мы выходили в открытое море. И вот однажды, на обратном пути, дети стали настаивать, чтобы я тоже гребла. А я была очень ленива и грести не хотела. Отказалась. Они меня бранили, а потом начали смеяться надо мной – говорили друг другу: вот везем арбузы и Аню. Я обиделась. Я стала на борт и выпрыгнула в море. Они даже не оглянулись, поехали дальше. Мама спросила их: "а где же Аня?" – "Выбросилась". А я доплыла, хотя все это случилось очень далеко от берега...

27 октября 40.

Анна Андреевна просила зайти ее навестить. Я отправилась с Люшей. Она спала, но Николай Николаевич, открывший нам дверь, сказал, что она просила непременно разбудить ее, когда мы придем.

Она была очень приветлива, ласкова, хотя, мне кажется, не совсем проснулась.

Осведомилась о Люшиных отметках в четверти, потом, что она читает. Люшенька перечитывает *Хижину дяди Тома*. Я спросила у Анны Андреевны, любит ли она эту книгу.

– Я не могла ее прочесть, – серьезно ответила Анна Андреевна. – Мне было слишком жалко негров.

Я спросила ее, что она читает теперь.

– *Деяния*, – как-то неохотно ответила она.

Я спросила ее, решилась ли она переехать ко мне.*

– Нет. Николай Николаевич сейчас очень определенно напомнил мне мое обещание не передавать комнату людям, ему неизвестным.

Настаивать я не стала. Мы ушли.

7 ноября 40.

У Анны Андреевны бронхит, насморк, а ночью был сердечный приступ. Я пошла ее навещать. Она ровна, спокойна, грустна. Таня, которая собиралась менять свою комнату, остается; Анна Андреевна рада, что не увозят детей. Попросила меня принести для Вовочки *Мойдодыра*.

Я осведомилась, что она читает.

– Хлебникова, – ответила она. – Знаете, поразительна в нем его наивность. Ведь он был уверен, что чуть только люди прочтут его стихи – сразу все все поймут и сразу все изменится. Поэтому он очень стремился печататься.

---

*) В это время в комнате Матвея Петровича жил уже не Катышев (НКВД), жили обыкновенные студенты, с которыми можно было обменяться законным порядком.

Мы заговорили о мемуарах Белого. Она отозвалась о них – уже не впервые – с негодованием:

– Лживые, сознательно лживые мемуары, в которых все искажено – и роли людей, и события.

Я сказала, что мне всегда неприятно все, написанное Белым о Блоке: будто бы благоговеет, а на самом деле осуждает. Она ответила:

– Прежде считалось неприличным писать о ком-либо, находясь в том положении относительно Блока, в каком находился Белый... Ведь не стали бы печатать мемуаров Дантеса о Пушкине, не правда ли?

(Я не сразу поняла ее замечание. Поняла только по дороге домой).

Она прочитала мне три стихотворения, из них два маленькие и страшные: "Но я предупреждаю вас", "Нет, это не я страдаю",* а третье – это "Так отлетают темные души" уже без пропусков.

Я включила чайник. Кроме чаю нет ничего – совсем ничего. "Таня хворает и не ходит покупать", – объяснила Анна Андреевна. Пили мы пустой чай.

13 ноября 40.

Я застала Анну Андреевну на ногах. Она осунувшаяся, постаревшая. Левая нога заметно отекла. Покашливает.

За столом сидел Валя и отыскивал по карте реку Индигирку.

Анна Андреевна стояла у жарко натопленной печки. Валя скоро ушел. Иногда Анна Андреевна усаживалась на диван, ближе ко мне.

– Я сейчас много перечитываю Пастернака, – сказала Анна Андреевна. – И, мне кажется, я наконец нашла то, чего так долго искала: периоды. Они есть. Сначала он писал без оглядки, бродил, пенился, кипел, переливался через край. А потом стал сужаться, будто задумываться. Его стихотворение, посвященное мне, да и Марине Цветаевой, это все написано с какой-то сдержанностью, а дальше у́же пошло́.

---

*) "Но я предупреждаю вас" – *БВ, Седьмая книга* – (№52). "Нет, это не я, это кто-то другой страдает" – *Реквием, 3* – (№53).

Я сказала, что в детстве никак не могла понять, что означает стихотворение Блока, посвященное ей.

– А я и сейчас не понимаю. И никто не понимает. Одно ясно, что оно написано вот так – она сделала ладонями отстраняющее движение – "не тронь меня".

– Вы любите *Возмездие*?

– Терпеть не могу первую главу. Вообще все не люблю, кроме Вступления и Варшавы. Великолепная Варшава, пан Мороз... Вот у кого были отчетливые периоды – это у Блока. "Нечаянная радость" и "Снежная маска" – это ведь было совсем новое. В 16-м году он перестал писать. Потом "12", "Скифы" – и конец. То, что он писал для "Всемирной Литературы" и "Большого Драматического", – это уже не блоковские вещи.

Она подошла к комоду и вытащила из ящика конверт.

– Я не читала вам письма Бориса Леонидовича? Садитесь сюда. Я вам прочту.

Мы сели рядом на диване.

– Хвостатый почерк, – сказала я, рассматривая адрес на конверте.

– Не хвостатый, крылатый, – поправила меня Анна Андреевна. – Летучий.

Она читала мне вслух, далеко отстранив бумагу от лица и иногда показывая мне мизинцем слово, которое не могла разобрать. Письмо великолепное, пастернаковское, и очень трогательное – особенно одно место, где он говорит ей, что она – создатель того, что делает жизнь ценной для других, и потому не может быть и не должно быть, чтобы она не любила жизнь.

– Какой он добрый, милый, как он хочет мне помочь, – сказала Анна Андреевна. – Но какой он дикий! Во-первых, он компрометирует меня как женщину. Да, да! – Она засмеялась. – Я так и вижу дурацкую морду комментатора, который выводит из этого письма Бог знает что. Нет, вы не смейтесь, а слушайте: "Своим приездом Вы так категорически напомнили мне, как Вы мне дороги" и дальше объясняет, почему он не мог проводить со мной целые дни и т.д. Непременно выведет. Мы же видим, что комментаторы из других писем выводят.[86]

Она припомнила, как, в один из ее приездов в Москву, Борис Леонидович навещал ее у Нины Антоновны.

– Нина Антоновна мне потом говорит: "Вы провожали его до дверей, а он застрял в передней. Вы подталкиваете его к дверям, а он все не уходит и продолжает произносить гениальное".

– Вы любите *1905 год*? – спросила она, помолчав.

– Да.

– Все любите?

Я сказала, что люблю все, кроме, пожалуй, "Мужиков и фабричных".

– А я очень не люблю *Шмидта*, кроме отдельных небольших кусков. Ведь он там, в сущности, ни о чем, кроме погоды, не пишет. Что я люблю, это "Отцы". Ах, до чего это хорошо!

Я сказала, что очень люблю "Детство". Она согласилась.

Она взяла с кресла какой-то конверт.

– Я вам хочу показать стихи и письмо двух барышень, которые я вчера получила. Они просят моего мнения. Владимир Георгиевич послал им открытку от моего имени, чтобы они пришли в воскресенье. Напрасно, по-моему. Прочтите и скажите, что вы думаете.

Я прочла. Письмо бесцветное. У одной стихи гладенькие, у другой поугловатей и получше. Мы стали гадать, которая из них как выглядит, и Анна Андреевна высказала предположение, что та, у которой стихи погрустнее и поугловатей – некрасивая.

Анна Андреевна включила чайник, потом вдруг, будто припомнив что-то, остановилась передо мной, подойдя почти вплотную.

– Знаете, я за эти дни поняла, что я сама во всем виновата. Во всем, что случилось с книгой. ЦК совершенно прав, а я виновата. Да, да. Они хотели напечатать мои стихи. Издательство отобрало стихи и отвезло в Москву. Там утвердили. Тогда я самовольно включила туда новые, да еще поставила на первый план самое грустное стихотворение,* да еще назвала его именем весь отдел. Потом редактор включил еще около 30 старых стихотворений.

---

*) "Ива" – (№10). В сборнике *Из шести книг* существовал отдел "Ива", открывавшийся этим стихотворением. Впоследствии (в *БВ*) тот же отдел получил название "Тростник".

И получилась книга, вовсе не похожая на ту, которую разрешили и хотели видеть. Не спорьте, пожалуйста. Все было именно так.

Тщетно я напоминала ей, что новые стихи включала не она, что их у нее редакция выпрашивала, вымаливала, что никто не знал, какую именно книгу х о т е л и видеть, что все жили слухами и т.д. – она стояла на своем и сердилась. Тут я столкнулась вплотную с той железной логикой, развернутой на основе неизвестного или даже небывшего факта, о которой говорил мне Владимир Георгиевич.

– И если бы я этого не сделала, – закончила Анна Андреевна, – Лева был бы дома.

Я смолкла.

Мы сели пить чай. Я кляла себя, что не умею ее разубеждать.

Анна Андреевна заговорила о другом.

– Каждый раз, как Л.* приходит, она непременно что-нибудь не то скажет. Она была вчера. Заговорили о стихотворении "Побег".** Л. сказала, что стихотворение это очень петербургское. И вдруг добавила: "Впрочем, про ваши стихи давно говорят, что они скорее царскосельские, чем петербургские". И из того, что она не пожелала назвать имя человека, который говорит это, – ясно: это кто-то знакомый мне. Я думаю – Р.*** Маленький сноб из салона Кузмина. Там еще и не такое говорили... Впрочем, это мнение не литературного, а близ-литературного круга. Я узнаю по запаху.

Она произнесла все это очень сердито.

– Они этим хотят сказать, что стихи провинциальные. Они не знают, что жить в Царском Селе считалось гораздо столичнее, чем в Ротах или на Васильевском Острове. Но не в этом дело.

Потом она из ящика достала пачку бумаг и попросила меня сесть рядом с ней на диван.

– Я вам этого не читала, потому что оно казалось мне недостаточно внятным. Оно не окончено. А написано мною давно – 3 сентября.

---

*) По-видимому, Лотта.

**) "Побег" – *ББП*, стр.100.

***) Р – ?

Прочитала о Достоевском.

– Скажите, а это не похоже на "Отцы"?

– Нет. Совсем другой звук, – ответила я.

– Это самое главное, чтобы был другой звук, – сказала Анна Андреевна.*

Потом прочла о кукле и Пьеро. Я рот открыла от изумления, до того это на нее не похоже.

– А между этими двумя будут "Пятнадцатилетние руки", – объяснила Анна Андреевна.

– Это у вас какой-то совсем новый период, – сказала я.**

Она сидела уже не на диване, а в своем ободранном кресле, грустно и трогательно раскинув руки. Заговорили почему-то о Мицкевиче. Я сказала, что гневные стихи Мицкевича против Пушкина, в сущности, справедливы, и Пушкину, чтобы ответить с достоинством, только и оставалось, что отвечать с надзвездной высоты.

– Вы неправы, – сказала Анна Андреевна. – Пушкин вел себя гораздо лучше, чем Мицкевич. Пушкин писал как русский, а Мицкевич звал поляков на бой, а сам сидел в Германии и разводил романы с немочками. Это во время восстания!

---

*) По-видимому, начало той элегии – "Россия Достоевского. Луна...", которая впоследствии обрела название "Предыстория". Хотя элегия в *БВ* помечена 1945 годом *(Седьмая книга)*, но начата в Ленинграде до войны и окончена в Ташкенте.

"Отцы" – название одной из глав поэмы Б. Пастернака "Девятьсот пятый год". Недаром она в поэме первая – в ней говорится не о 1905 годе, а, как и в "Предыстории" Ахматовой, об эпохе 70-80-х годов – эпохе, предшествующей рождению и Ахматовой и Пастернака, совпадающей с молодостью их матерей.

**) В действительности то, что обозначено мною здесь как "кукла и Пьеро", было первым ростком грядущей *Поэмы без героя*.

Позднее, в предисловии к *Поэме*, Ахматова сообщила: "Первый раз она пришла ко мне, в ночь на 27 декабря 1940 г., прислав мне, к а к в е с т н и к а, е щ е о с е н ь ю о д и н н е б о л ь ш о й о т р ы в о к". (Разрядка моя. – Л.Ч.). На основании своей записи о "кукле и Пьеро", сделанной 13.11.40 г., полагаю, что услышанный мною тогда отрывок и был этим осенним вестником.

В окончательном тексте *Поэмы* отрывок претерпел некоторые изменения. В первом же варианте *Поэмы*, в рукописи, подаренной мне Анной

Андреевной в Ташкенте осенью 1942 г., он вполне соответствовал услышанному мною 13.11 в Ленинграде. Привожу его:

Ты в Россию пришла ниоткуда,
О, мое белокурое чудо,
Коломбина десятых годов!
Что глядишь ты так смутно и зорко? –
Петербургская кукла, актерка,
Ты, один из моих двойников.
К прочим титулам надо и этот
Приписать. О, подруга поэтов!
Я – наследница славы твоей.
Здесь под музыку дивного мэтра,
Ленинградского дикого ветра,
Вижу танец придворных костей.

* * *

Оплывают венчальные свечи,
Под фатой поцелуйные плечи,
Храм гремел: "Голубица, гряди!"
Горы пармских фиалок в апреле
И свиданье в Мальтийской Капелле
Как отрава в твоей груди.
Дом пестрей комедьянтской фуры,
Облупившиеся амуры
Охраняют Венерин алтарь.
Спальню ты убрала, как беседку.
Деревенскую девку – соседку –
Не узнает веселый скобарь...
И подсвечники золотые,
И на стенах лазурных святые –
Полукрадено это добро.
Вся в цветах, как "Весна" Ботичелли,
Ты друзей принимала в постели
И томился дежурный Пьеро.

Из текста моей записи явствует: говоря со мною 13.12.40 г. о будущем цикле и указывая предполагаемую последовательность стихотворений – А.А. сама еще не знала, что продолжает работать над *Северными элегиями* и начинает – над *Поэмой*.

(В подаренной мне тетради, после многих перечеркиваний, зачеркиваний и стираний резинкой, написано "Храм грем*ел*". Думаю, это описка; следует "гремит").

Я сказала, что передовые русские люди не сочувствовали все-таки стихам Пушкина о Варшаве. Например, Вяземский.

– Я и сама в этом деле скорее на стороне поляков, чем Пушкина, – ответила Анна Андреевна, – но Пушкин со своей точки зрения был прав. А Вяземский не пример, Вяземский вообще втайне не любил Пушкина. Вот и записал потихоньку в старую записную книжку – для потомков.

Я поднялась. Провожая меня, Анна Андреевна говорила:

– Мною написана целая работа о Мицкевиче, о том, что Пушкин изобразил в "Египетских ночах", в импровизаторе – его. Это безусловно так. Пушкин ведь никогда не описывал внешности своих героев. "Офицер с черными усами" – и все. Только Пугачеву и Хлопуше он дал внешность – подлинную, историческую. И вот импровизатору – внешность Мицкевича. И третья тема на вечере, малопонятная, предложена им самим – импровизатором, Мицкевичем.*

Я спросила, почему она не печатает эту работу.

– Сейчас не время обижать поляков. И тогда, когда я написала ее, тоже было не время.

22 ноября 40.

– Валя сошла с ума. Я дежурила там три дня, – такими словами встретила меня вчера Анна Андреевна, открыв мне дверь. И у себя в комнате, не садясь, продолжала. – Мы отправили ее в больницу.

Анна Андреевна подробно изложила мне бред Валерии Сергеевны и все перипетии болезни.

– Лежит на кровати голая, в порванной рубашке и со слипшимися волосами. Я теперь поняла, почему на средневековых картинах сумасшедших изображали такими всклокоченными. Она была в бане, не промыла волос, потом вымазала их вазелином. Она мне

---

*) Окончательный вариант статьи Ахматовой "Пушкин и Мицкевич" пропал во время блокады. Работая над статьей "Две новые повести Пушкина" Ахматова включила в нее свои заметки о польском и русском поэте. Подробнее см. комментарий Э.Г. Герштейн в кн. *Анна Ахматова. О Пушкине*. Л., "Советский писатель", 1977, стр. 265.

говорит: "Знаешь, Аня, Гитлер это Фейхтвангер, а Риббентроп это тот господин, который, помнишь, в Царском за мной ухаживал. Ты вглядись, и ты сама увидишь". Я знаю Валю с 12 лет, но только теперь поняла всю ее. Это женщина силы необыкновенной, инфернальной, и страшной гордости. Я поняла из нескольких слов ее бреда, что она всю жизнь мучилась гордостью. Как она сопротивлялась! Приходили врачи и уходили, обманутые ею. При них – светская дама. Никакого бреда: спокойный, светский, колкий разговор. Одной докторше она сказала: "Вам, как женщине, следовало бы больше ухаживать за собой". Когда к ней вошли братья милосердия, она говорила с ними металлическим голосом: "Я никого не искусала. Вы не имеете права увозить меня из постели". Бедная, бедная! Я перед этим простилась с ней и ушла. Она не знала, что будет с ней через минуту. Теперь она считает меня предательницей.

Анна Андреевна взяла со шкапчика маленький томик *Божественной комедии* и протянула мне:

– Это она подарила мне недавно. Посмотрите надпись.

Я прочитала:

"Милой Ане на пороге ада. В.С.".

Чтобы отвлечь Анну Андреевну от несчастья с Валерией Сергеевной, я спросила у нее, прочитала ли она книжку переводов Пастернака? (Я на днях занесла ей, поднявшись на минуту из Дома Занимательной Науки).[87]

Анна Андреевна взяла с кресла две одинаковые книжки и мы сели на диван.

– Возвращаю вам с благодарностью ваш экземпляр. Борис Леонидович прислал мне книгу в подарок. Посмотрите: надпись наклеена на особой бумажке – и не плотно, чтобы я могла отклеить, если она мне не понравится. Вы только подумайте! Ну что с этим человеком делать?

Я прочла:

"Дорогой Анне Андреевне, которая столько простила людям, что, может быть, простит и эту книгу".

– Это мне напоминает мой приезд в Вильно, – сказала Анна Андреевна. – Я ездила туда провожать Колю на фронт. Утром

подхожу к окошку гостиницы и вижу: вся улица на коленях. Все люди ползут на коленях в гору. Оказалось, это у них такой обычай: на коленях ползти к иконе в день святого этой иконы... Когда я увидела эту наполовину вклеенную надпись и прочла ее – я сразу вспомнила Вильно.

Я осведомилась, были ли у нее в воскресенье те барышни со стихами.

– Да, были, – ответила она со смехом. – И знаете, Л.К., мы с вами совершенно опрохвостились *(sic)*. Та, о которой мы думали, что она некрасива, – хороша, как божий ангел. Беленькая, румяная, с черными глазами, тоненькая, и смеется, как маленькая девочка, – я их чем-то очень рассмешила.

Пришла Лидия Яковлевна. За чаем Анна Андреевна хвалила ее книгу о Лермонтове, особенно те места, где говорится о разнице между пушкинским и лермонтовским словом.[88] Потом Анна Андреевна показывала ей какие-то рисунки для детей 1837 года, среди которых она обнаружила русского Маешку.

Пили водку. Стол был, против обыкновения, изобилен: хлеб, масло, сахар и даже колбаса.

Анна Андреевна снова взяла в руки книгу Пастернака и прочитала вслух то, что ей наиболее понравилось: "Музыку", "Зиму" Шекспира, "Море" Китса. О переводе "Стансов к Августе" она отозвалась неодобрительно – "лысый горб" – это уж совсем не по-байроновски", о переводах Верлена – равнодушно. Зато о "Море" Китса сказала:

– Байроновская интонация вся воплощена в русской поэзии и без Пастернака. А вот этот вот звук – звук Китса – он впервые прозвучал по-русски, – и она еще раз прочла вслух первую строфу "Моря".

Я позволила себе заметить, что "дребедень" в последней строфе – это уж чистый Пастернак, а совсем не Китс. Анна Андреевна нашла оригинал, мы прочли стихотворение по-английски. Вышло по-моему.

В ПРОМЕЖУТКЕ

Июнь 1967.

На предыдущей странице обрывается Дневник 1940 года. Последняя его тетрадка утрачена. Дальнейшие записи об Анне Ахматовой обнаружены мною лишь в тетрадях военного времени.

Потеря досадная. Именно осенью 1940г. Анна Андреевна начала работать над *Поэмой без героя*. В утраченной тетради моего Дневника несомненно содержались записи о *Поэме*.

Быть может, тетрадь еще и найдется, если только я не уничтожила ее в припадке очередного страха: как раз в конце 1940г. начался тот настойчивый сыск, который вынудил меня весной 41-го покинуть Ленинград, а перед отъездом, зимою, несколько месяцев не прикасаться к Дневнику.

Прочитав *Софью Петровну* Анне Андреевне, я, приблизительно в то же время, прочитала повесть своим друзьям. Я пригласила к себе 8 человек; девятый явился незваный, почти против моей воли. Нет, он не был предателем и не побежал в Большой Дом докладывать. Но он был болтлив. Он рассказал кому-то интересную новость, а кто-то еще кому-то, и в конце 40 года новость, в искаженном виде, "по цепочке" проникла т у д а ; там стало известно, что у меня хранится некий "документ о 37" – как именовал *Софью Петровну* следователь, вызывавший на допросы далеких и близких.

Даже сейчас, через 30 лет после ежовщины, когда я пишу эти строки, власти не терпят упоминания о 37. Боятся памяти. Это сейчас. А что же было тогда? Преступления еще были свежи; кровь в кабинетах следователей и в подвалах Большого Дома еще не просохла; кровь требовала слова, застенок – молчания. Где вы – журавли Ивика, где ты – говорящий тростник?

Я до сих пор не постигаю, почему, прослышав о моей повести, меня сразу же не арестовали и не убили. А начали вести предварительное расследование. (Анна Андреевна сказала мне однажды: "Вы – как стакан, закатившийся под скамью во время взрыва в посудной лавке").

Разумеется, дома у меня ни *Софьи Петровны*, ни Дневников давно уже не было. Прочитав повесть друзьям, я отдала свой единственный экземпляр – толстую школьную тетрадь, с перенумерованными Люшей страницами – в надежные руки.

Анне Андреевне о своей новой беде я не сообщила ничего. Она и без моих бед была истерзана тревогой за Леву, за себя, изнурена трудом: снова писала ночи напролет и каждый раз, как мы встречались, читала мне новые куски *Поэмы*.

(Первым был создан кусок "Ты в Россию пришла ниоткуда", оканчивавшийся такой строкой: "И томился дежурный Пьеро". Далее порядка я не помню. Помню, что как-то раз Анна Андреевна прочитала *Поэму* у меня дома – Александре Иосифовне, Тамаре Григорьевне и мне.

Тамара Григорьевна сказала:

– Когда слушаешь эту вещь, такое чувство, словно вы поднялись на высокую башню и с высоты поглядели назад...

Эти слова впоследствии вызвали к жизни строки во "Вступлении" к *Поэме*:

Из года сорокового
Как с башни на все гляжу.)

Я продолжала иногда встречаться с Анной Андреевной и слушать *Поэму*. Но чем явственнее становился интерес ко мне Большого Дома, тем реже, под разными предлогами, старалась я видеться с ней.

Пристальные поиски "документа о 37" начались так.

Однажды днем к нам на квартиру явился милиционер: Иду – Люшину няню – срочно вызывали в милицию. Там в это время шел обмен паспортов, и мы обе решили, что Иду вызывают по этому поводу.

Однако она вернулась только через сутки и в состоянии полувменяемом.

Оказалось, из милиции ее срочно переправили в Большой Дом, где и допрашивали 6 часов подряд.

Речь шла обо мне и о моих друзьях. Кто у меня бывает? О чем говорим? Громко говорим или шепотом? Какие и где я храню документы?

Плача, Ида рассказала мне, что следователь дал ей кличку "Петрова" и на прощание распорядился:

– Отведешь, Петрова, во вторник девочку в школу и на обратном пути встретишься со мной у трамвайной остановки. Доложишь, кто был у твоей хозяйки в последние дни.

И вот потекла наша поднадзорная жизнь. В то время вместе с друзьями я составляла хрестоматию для детей младших классов. Работали мы, главным образом, по вечерам, у меня, – подбирая и редактируя сказки, маленькие рассказы, стихи. Пока мы возились со сказками, внизу в парадном дежурили "агенты́". На утро следователь, встретясь с Идой в назначенном месте, спрашивал ее:

– Кто был вчера у твоей хозяйки?

– Такая-то и такая-то.

– Что делали?

– Сказки читали.

– Когда ушли?

– В одиннадцать.

– Неправда, – говорил следователь, заглянув в записную книжку, – в 11 часов 20 минут.

Об Анне Андреевне, к счастью, следователь не спрашивал. Я солгала ей, что у меня ремонт, и она ко мне не приходила.

Не ограничиваясь встречами у трамвайной остановки, следователь, раза три в месяц, вызывал Иду к себе. Вопросы становились все более увлекательными и приобретали, к моему удивлению, все более семейный характер:

– Говорит ли твоя хозяйка кому-нибудь, что муж ее не был ни в чем виноват? Стоит ли у нее на столе его фотография? Кем она хочет, чтобы сделалась девочка, когда вырастет?

Последний вопрос удивлял меня безмерно и я много раз переспрашивала Иду. Люше было тогда 9 лет. Что они имели в виду? Хочу ли я, чтобы она стала инженером, врачом или учительницей? А почему это их занимает?

Я еще не знала тогда и узнала гораздо позднее, что по плану, разработанному НКВД, семьи "врагов народа" должны были в своих недрах выращивать "мстителей"; дети в этих семьях брались на учет заблаговременно; не профессией будущей Люшиной интересовался следователь; нет, он интересовался памятью о Матвее Петровиче; он был бы рад услышать от Иды такое признание: "моя хозяйка желает, чтобы ее дочь, когда вырастет, отомстила за ее мужа".

"Мстители"!.. Расстреляв отцов, застенок мстил за свое злодейство детям убитых.

Идино смятение росло; дома она плакала, не осушая глаз, уверенная, что и меня и ее скоро арестуют.

Чтобы дать ей передышку, я в середине февраля 41 года уехала под Москву, в санаторий "Узкое". Действительно, Иду на время перестали таскать. И на меня в Москве никто не обращал никакого внимания. Но стоило мне воротиться домой – все началось сначала и притом в удесятеренной степени. Иде грозили, если она не найдет "документ", тяжелыми карами. Обещали также придти днем, когда меня и Люши не будет дома, и произвести обыск.

Компрометирующего у меня ничего не было, но обыска я боялась: они могли сами принести, сами положить и сами найти что угодно.

Друзья советовали мне уехать – уехать надолго. Лечь в больницу. Сделать операцию, на которой давно уже настаивали врачи.

10 мая 1941 г., за полтора месяца до начала войны, я взяла самые необходимые вещи, заперла квартиру на ключ и вместе с Идой и Люшей выехала в Москву.

Через неделю я лежала уже в больнице при Институте эндокринологии. Дней через десять меня оперировали. А еще через неделю, в новой московской квартире Корнея Ивановича, куда я была

перевезена из больницы, меня навестила приехавшая из Ленинграда в Москву по делам Анна Андреевна.

Мы почти не разговаривали; у меня не было сил ни говорить, ни слушать. Анна Андреевна около часа просидела у моей постели. Помню ее жалостливое, участливое, склоненное надо мною лицо со скорбно приподнятыми бровями. "Вы были как с креста снятая", – сказала она мне через несколько месяцев об этом нашем свидании.

Она собиралась домой, в Ленинград. Мне же предстояло ехать на дачу, в Переделкино: рана еще не зажила, я еще не умела ходить, и мне надлежало лечиться.

Первые бомбежки застали меня на даче – слабую, с забинтованным горлом. Пробираться в таком состоянии в Ленинград нечего было и думать.

28 июля 41 года, вместе с семьями московских писателей, вместе с Люшей, Идой и трехлетним племянником Женей, меня отправили на пароходе в Чистополь.*

Там я пережила газетную передовую: "Враг у ворот Ленинграда"; встречу с Цветаевой и гибель Цветаевой.

И туда, в октябре 1941 г., приехала ко мне, эвакуированная самолетом из Ленинграда в Москву, Анна Андреевна. Оттуда мы вместе совершили поездку в Ташкент.

О приезде Анны Андреевны в Чистополь и о нашем совместном путешествии в Дневнике сохранились лишь редкие и короткие записи.

Вот они.

---

*) Женя – сын моего младшего брата Бориса, инженера-гидростроителя. В первый месяц войны Борис Корнеевич ушел в Московское ополчение и осенью 1941 г. убит в боях под Москвой.

1941

*15 октября 41. Чистополь.**

Сейчас получила телеграмму от Корнея Ивановича:

"Чистополь выехали Пастернак Федин Анна Андреевна"... Дальше про деньги и шубу.

Итак, мне суждено увидеть Анну Андреевну опять. Если только она не останется в Казани.

Ахматова в Чистополе! Это так же невообразимо, как Адмиралтейская игла или Арка Главного Штаба в Чистополе.

*октябрь 41.***

Вечером, когда мы уже легли, стук в ворота нашей избы. Хозяйка, бранясь, пошла отворять с фонарем. Я за ней.

Анна Андреевна стояла у ворот с кем-то, кого я не разглядела в темноте. Свет фонаря упал на ее лицо: оно было отчаянное. Словно она стоит посреди Невского и не может перейти. В чужой распахнутой шубе, в белом шерстяном платке; судорожно прижимает к груди узел.

Вот-вот упадет или закричит.

Я выхватила узел, взяла ее за руку и по доске через грязь провела к дому.

---

*) Ул. Розы Люксембург, 20.

**) Оригинал поврежден.

Вскипятить чай было не на чем. Я накормила ее всухомятку.

Потом уложила в свою постель, а сама легла на пол, на тюфячок.

Сначала мы говорили как-то обо всем сразу. Я пыталась подробнее узнать что-нибудь о Тусе и Шуре (Анна Андреевна привезла мне письма от них).

Потом я спросила:

– Боятся в Ленинграде немцев? Может так быть, что они ворвутся?

Анна Андреевна приподнялась на локте.

– Что вы, Л.К., какие немцы? О немцах никто и не думает. В городе голод, уже едят собак и кошек. Там будет мор, город вымрет. Никому не до немцев.

19 октября 41.

Анна Андреевна прочитала мне стихи о Ленинграде. Об артиллерийском обстреле.*

20 октября 41.

Сегодня Анна Андреевна сказала мне:

– Я решила. Я поеду с вами.**

Ида уже покупает на дорогу мясо, яйца, мед, хлеб... Хотелось бы знать, сколько времени наша дорога продлится? И – осилим ли мы ее?

21 октября 41.

Анна Андреевна расспрашивает меня о Цветаевой.

Я прочла ей то, что записала 4-го сентября, сразу после известия о самоубийстве.

Сегодня мы шли с Анной Андреевной вдоль Камы, я переводила ее по жердочке через ту самую лужу-океан, через которую немногим

---

*) "Первый дальнобойный в Ленинграде". – *БВ, Седьмая книга* – (№54).

**) Я получила от Корнея Ивановича бумаги, деньги и просьбу немедленно ехать с детьми в Ташкент, куда из Москвы уже уехал он сам.

более пятидесяти дней назад помогала пройти Марине Ивановне, когда вела ее к Шнейдерам.[89]

– Странно очень, – сказала я, – та же река, и лужа и досточка та же. Два месяца тому назад на этом самом месте, через эту самую лужу я переводила Марину Ивановну. И она расспрашивала меня о вас. А теперь ее нету и вы расспрашиваете меня о ней. На том же месте!

Анна Андреевна ничего не ответила, только поглядела на меня со вниманием.

Но я не пересказала ей наш тогдашний разговор.*

28 октября 41.

Анна Андреевна не отходит от окна.

– Я рада, что вижу так много России.

В Казани все было очень мучительно. Если бы не Ида, нам вряд ли удалось бы сойти с парохода на пристань, а потом, сквозь толпу, пробиться в город. Мы отправились в Дом Печати. Расспрашивали прохожих. Татарин сказал мне: "За то, что ты молодая, а седая, я тебя провожу". Огромный зал Дома Печати набит беженцами из Москвы. Спят на стульях – стулья стоят спинками друг к другу. Пустых мест нет. Мы с Идой уложили Анну Андреевну на стол, Люшу и Женю под стол, а сами сели на подоконник. Анна Андреевна лежала прямая, вытянувшаяся, с запавшими глазами и ртом, словно мертвая. Мне под утро какой-то военный уступил место на стульях. Я легла, но не спала. Когда рассвело, оказалось, что бок о бок со мной, за спинками стульев, спит Фадеев.

---

*) Тогда я высказала Марине свою радость: А.А. не здесь, не в Чистополе, не в этом, утопающем в грязи, отторгнутом от мира, чужом городишке – не в этой полутатарской деревне. "Здешний быт убил бы ее, – сказала я. – Она ведь ничего не может, она совершенно беспомощна. Она бы здесь погибла".

– А я, вы думаете, могу? – резко перебила меня Марина Ивановна.

(В 1981 г. я описала подробно свою чистопольскую встречу с Цветаевой в очерке "Предсмертие". См. журнал *Время и мы*, 1982 - №66). *Примеч. 1982 г.*

Я знала казанский адрес Самуила Яковлевича,* и утром, взяв детей, отправилась искать его. Нашла, но дома его не оказалось. Оставила ему записку. Вечером он пришел к нам в Дом Печати, сказал, что в эшелоне, отправляемом в Среднюю Азию, ему, Маршаку, предоставляют для писателей два вагона и что он постарается взять нас. На другой день нас навестил Л.М. Квитко и на мой вопрос, возьмут ли нас в эшелон, ответил:

– Если будет мало мест, я с семьей останусь, а вы поедете. Внуки Чуковского должны к нему приехать.[90]

К счастью, поместились все.

Посадка была трудная. Часа 4 мы сидели в полной тьме на платформе, на своих вещах, ожидая состава, который могли подать каждую минуту. Анна Андреевна все время молчала – тяжело молчала, как в тюремной очереди. Нас часто навещал Самуил Яковлевич. Видя нашу слабосильную команду, он предложил, что внесет в вагон Женю. Ида должна была внести вещи, а я – помочь Люшеньке и Анне Андреевне. Ожидая поезда, Самуил Яковлевич ходил с Женей на руках по платформе. Я спросила Женю:

– Ты знаешь, кто это? Это – Маршак... *Пожар, Почта*... Ведь ты помнишь эти книги?

– Что ты, Лида, с ума сошла? – ответил мне очень отчетливо Женя. И прокартавил: – Магшак давно умег!

Когда подали, наконец, состав, первая вошла Ида с вещами. Потом я, держа за руку Люшу. Ида ее схватила, а я помогла войти Анне Андреевне. Потом С.Я. подал мне Женю и побежал к своему вагону (мы едем в разных).

Наш вагон переполнен.

Трясет, писать трудно.

Я прочла Анне Андреевне привезенные ею письма моих ленинградцев. Читала плача. Анна Андреевна молчала. Обе мы глядели назад, туда, в наш родной город.**

---

*) Маршака.

**) Письмо А.И. Любарской мною утрачено. Письмо Т.Г. Габбе, привезенное мне Анной Андреевной, в виде исключения ввожу в текст: тут и осажденный Ленинград, и тюрьмы, и завещание на будущее. *(Примеч. 1975г.)*

26.IX. (41 г.)

"Дорогая Лидочка, сейчас я узнала, что Анна Андреевна едет в Чистополь. Мне очень трудно писать, и уже давно я никому не пишу ни одной строки. Но сейчас мне захотелось послать Вам хоть несколько строк.

Может быть, мой друг, мы больше не увидимся с Вами. Спасибо Вам за долгие годы дружбы. Спасибо за то, что сейчас я живу среди хороших, дорогих и высоких воспоминаний.

Не думайте, что мне сейчас очень плохо. Я не позволяю себе думать о себе, и поэтому мне не только не плохо, а даже часто хорошо.

Вот только письма нельзя писать – очень уж больно.

Друг мой, самое большое горе моих дней – это Иосиф. Я сейчас ничего не могу сделать для него и так боюсь предоставить его своей судьбе.

Вот о чем я хочу просить Вас: если мне не доведется найти и позаботиться о нем, попробуйте – может быть, Вам удастся это. Хоть не теперь, а позже, когда это станет возможным.

На всякий случай – вот необходимые сведения для наведения справки. Год рождения – 1901. Место рождения – местечко Маяты. Место работы (последней) – Архитектурная мастерская КЭУ (квартирно-эксплоатационного управления Красной Армии). Последний день работы – 22 мая 1941. Находился он в Лефортове. Там у меня приняли вещи и деньги. Деньги, посланные мною из Ленинграда в июле, очевидно дошли (ко мне они не возвратились). Деньги, отправленные мною 4 августа, вернулись 4 сентября с пометкой на переводе "возвращаются, как не относящемуся к данному адресу". А посылала я на почтовый ящик 686 в Главный почтамт, как мне указали на Кузнецком, в приемной.

Пометка, как Вы сами видите, не слишком вразумительна.

В прокуратуре мне сказали, что дело его находится в III-ьем Управлении НКО.

Заявления и запросы, посланные мною в Наркомат, остались без ответа.

Кажется, это все, что может быть нужно для справки.

Дорогая Лидочка, я надеюсь, что у Вас хватит сил, чтобы еще долго жить, я надеюсь, что Люшка вырастет большая и когда-нибудь люди будут знать, как жили мы.

Если сможете и захотите писать, напишите мне о себе. О здоровье, о том, устроилась ли работа, о том, как живете Вы каждый день – Вы и дочка.

Мне будет большой радостью узнать о Вас что-нибудь прямо, а не из чужих писем.

Я и сама попробую ответить, хоть это мне труднее всего.

Целую Вас крепко.

Будьте счастливы.

Туся"[91]

30 октября 41.

На одной станции, где поезд стоял долго, к нам пришли Маршак и Квитко. Предложили переселить Анну Андреевну к ним в вагон – там и теплее, и мягче, и просторней.*

– Капитан!? – жалобно спросила меня Анна Андреевна.

– Ну, конечно!

И я выскочила их проводить.

Теперь хожу туда раза два в день. Иногда, если поезд стоит долго и перебегать безопасно, беру с собой Люшу или Женю – погреться.

Она упорно называет меня – "мой капитан"**

Ношу Анне Андреевне еду.

Перечитывает *Alice through the looking-glass* – книжку, которую дал мне в дорогу К.И., чтобы я читала детям.

– Вы не думаете, – спросила меня Анна Андреевна, – что и мы сейчас в Зазеркалье?

---

*) В международный – где ехали в Алма-Ату с семьями С. Маршак, М. Ильин, Кукрыниксы, Л. Квитко, а также Лина Штерн. Когда они прибыли в Алма-Ату, Анна Андреевна вернулась к нам.

**) Впоследствии одну из своих ташкентских фотографий А.А., в память нашего путешествия, надписала так: "Моему капитану".

2 ноября 41. Новосибирск.

Синенькие вагоны московского метро, заваленные снегом.

На них указала мне зоркая Анна Андреевна.

3 ноября 41.

Снова разговор с Анной Андреевной о конце Марины Ивановны. Между прочим, Анна Андреевна сказала мне, что стихотворение Мандельштама "Не веря воскресенья чуду" посвящено Цветаевой.

Потом:

– Осип два раза пробовал и в меня влюбиться, но оба раза это казалось мне таким оскорблением нашей дружбы, что я немедленно прекращала.

5 ноября 41.

Эшелон с немцами Поволжья. Ему негде пристать. Теплушки; двери раздвинуты; видны дети, женщины, белье на веревках. Говорят, они уже больше месяца в пути и их никакой город не принимает.

На станциях, на перронах, вповалку, женщины, дети, узлы. Глаза, глаза... Когда Анна Андреевна глядит на этих детей и женщин, ее лицо становится чем-то похожим на их лица. Крестьянка, беженка... Глядя на них, она замолкает.

Я сказала ей, что сегодня, когда шла к ней через воинский вагон, услышала с верхней полки:

– Я бы тех жидов Гитлеру оставил, нехай он их всех в землю закопает живыми!

– Таких надо убивать! – быстро сказала Анна Андреевна.

8 ноября 41.

Пустыня.

Мы стоим очень долго между двумя станциями.

Верблюды вдали. Я впервые понимаю, что они не уроды, а красавцы: стройным, величавым движением колышется караван.

Анна Андреевна оживлена, заинтересована, видит гораздо больше, чем я. Каждую минуту показывает мне что-нибудь.

– Орел! – говорит она. – Опустился вон на ту гору! Река – смотрите – желтая!

Не верит, что я не вижу. Перестала читать, разговаривать – смотрит, смотрит.

9 ноября 41.

Я оттолкнула Анну Андреевну от окна – мальчики-узбеки швыряют камни в наш поезд с криками: "Вот вам бомбежка!"

Камень ударился в стенку вагона.

Мы где-то совсем близко от Ташкента. Все цветет. Окна открыты.

9 ноября. Ташкент. Гостиница.

На вокзале нас встретил К.И. с машиной. Иду и детей он отвез к себе, а меня и Анну Андреевну в гостиницу.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Анны Ахматовой

(те, без которых понимание моих записей затруднено)

(№1) – к стр.16

БОРИС ПАСТЕРНАК

Он, сам себя сравнивший с конским глазом,
Косится, смотрит, видит, узнает,
И вот уже расплавленным алмазом
Сияют лужи, изнывает лед.

В лиловой мгле покоятся задворки,
Платформы, бревна, листья, облака.
Свист паровоза, хруст арбузной корки,
В душистой лайке робкая рука.

Звенит, гремит, скрежещет, бьет прибоем
И вдруг притихнет, – это значит, он
Пугливо пробирается по хвоям,
Чтоб не спугнуть пространства чуткий сон.

И это значит, он считает зерна
В пустых колосьях, это значит, он
К плите дарьяльской, проклятой и черной,
Опять пришел с каких-то похорон.

И снова жжет московская истома,
Звенит вдали смертельный бубенец...
Кто заблудился в двух шагах от дома,
Где снег по пояс и всему конец?

За то, что дым сравнил с Лаокооном,
Кладбищенский воспел чертополох,
За то, что мир наполнил новым звоном
В пространстве новом отраженных строф, –

Он награжден каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.

19 января 1936

(№2) – к стр.28

ТВОРЧЕСТВО

Бывает так: какая-то истома;
В ушах не умолкает бой часов;
Вдали раскат стихающего грома.
Неузнанных и пленных голосов
Мне чудятся и жалобы и стоны,
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шепотов и звонов
Встает один, все победивший звук.
Так вкруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растет трава,
Как по земле идет с котомкой лихо...
Но вот уже послышались слова
И легких рифм сигнальные звоночки, –
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь.

[*5 ноября 1936*]

(№3) – к стр. 34, 161

ПРИГОВОР

И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова.
Справлюсь с этим как-нибудь.
У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.
А не то... Горячий шелест лета
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.

[*22 июня*] *1939*

(№4) – к стр. 34, 138

Годовщину последнюю празднуй –
Ты пойми, что сегодня точь-в-точь
Нашей первой зимы – той, алмазной –
Повторяется снежная ночь.

Пар валит из-под царских конюшен,
Погружается Мойка во тьму,
Свет луны как нарочно притушен,
И куда мы идем – не пойму.

Меж гробницами внука и деда
Заблудился взъерошенный сад.
Из тюремного вынырнув бреда,
Фонари погребально горят.

В грозных айсбергах Марсово поле,
И Лебяжья лежит в хрусталях...
Чья с моею сравняется доля,
Если в сердце веселье и страх.

И трепещет, как дивная птица,
Голос твой у меня над плечом.
И внезапным согретый лучом
Снежный прах так тепло серебрится.

1938

(№5) – к стр. 36

Чем хуже этот век предшествующих? Разве
Тем, что в чаду печали и тревог
Он к самой черной прикоснулся язве,
Но исцелить ее не мог.

Еще на западе земное солнце светит,
И кровли городов в его лучах блестят,
А здесь уж белая дома крестами метит
И кличет воронов, и вороны летят.

1919

(№6) – к стр.41

МУЗА

Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Чтó почести, чтó юность, чтó свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.
И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: "Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?" Отвечает: "Я".

1924

(№7) – к стр.44

К СМЕРТИ

Ты все равно придешь – зачем же не теперь?
Я жду тебя – мне очень трудно.
Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной.
Прими для этого какой угодно вид,
Ворвись отравленным снарядом
Иль с гирькой подкрадись, как опытный бандит,
Иль отрави тифозным чадом.
Иль сказочкой, придуманной тобой
И всем до тошноты знакомой, –
Чтоб я увидела верх шапки голубой
И бледного от страха управдома.
Мне все равно теперь. Клубится Енисей,
Звезда полярная сияет.
И синий блеск возлюбленных очей
Последний ужас застилает.

19 августа 1939
Фонтанный Дом

(№8) – к стр. 52

– "Я пришла тебя сменить, сестра,
У лесного, у высокого костра.

Поседели твои волосы. Глаза
Замутила, затуманила слеза.

Ты уже не понимаешь пенья птиц,
Ты ни звезд не замечаешь, ни зарниц,

И давно удары бубна не слышны,
А я знаю, ты боишься тишины.

Я пришла тебя сменить, сестра,
У лесного, у высокого костра".

– "Ты пришла меня похоронить.
Где заступ твой, где лопата?
Только флейта в руках твоих.
Я не буду тебя винить,
Разве жаль, что давно, когда-то,
Навсегда мой голос затих.

Мои одежды надень,
Позабудь о моей тревоге,
Дай ветру кудрями играть.
Ты пахнешь, как пахнет сирень,
А пришла по трудной дороге,
Чтобы здесь озаренной стать".

И одна ушла, уступая,
Уступая место другой,
И неверно брела, как слепая,
Незнакомой узкой тропой.

И все чудилось ей, что пламя
Близко... бубен держит рука.
И она, как белое знамя,
И она, как свет маяка.

1912

(№9) – к стр. 62

С Новым Годом! С новым горем!
Вот он пляшет, озорник,
Над Балтийским дымным морем
Кривоног, горбат и дик.
И какой он жребий вынул
Тем, кого застенок минул?
Вышли в поле умирать.
Им светите, звезды неба!
Им уже земного хлеба,
Глаз любимых – не видать.

[*январь 1940*]

(№10) – к стр. 198

ИВА

И дряхлый пук дерев.
Пушкин

А я росла в узорной тишине,
В прохладной детской молодого века.
И не был мил мне голос человека,
А голос ветра был понятен мне.
Я лопухи любила и крапиву,
Но больше всех серебряную иву.
И, благодарная, она жила
Со мной всю жизнь, плакучими ветвями
Бессонницу овеивала снами.
И – странно! – я ее пережила.
Там пень торчит, чужими голосами
Другие ивы что-то говорят
Под нашими, под теми небесами.
И я молчу... Как будто умер брат.

[*18 января*] *1940*

(№11) – к стр. 65

Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей.
По мне, в стихах все быть должно некстати,
Не так, как у людей.

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене…
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.

[*21 января 1940*]

(№12) – к стр. 65

Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой.
Я заметила это, вернувшись
С похорон одного поэта.
И с тех пор проверяла часто,
И моя догадка подтвердилась.

[*21 января*] *1940*

(№13) – к стр. 67

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки.
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

(№14) – к стр. 70

КЛЕОПАТРА

Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень.
Пушкин

Уже целовала Антония мертвые губы,
Уже на коленях пред Августом слезы лила...
И предали слуги. Грохочут победные трубы
Под римским орлом, и вечерняя стелется мгла.

И входит последний плененный ее красотою,
Высокий и статный, и шепчет в смятении он:
"Тебя – как рабыню... в триумфе пошлет пред собою..."
Но шеи лебяжьей все так же спокоен наклон.

А завтра детей закуют. О, как мало осталось
Ей дела на свете – еще с мужиком пошутить
И черную змейку, как будто прощальную жалость,
На смуглую грудь равнодушной рукой положить.

[*7 февраля*] *1940*

(№15) – к стр. 76

ПОСВЯЩЕНИЕ

Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними "каторжные норы"
И смертельная тоска.
Для кого-то веет ветер свежий,
Для кого-то нежится закат –
Мы не знаем, мы повсюду те же,
Слышим лишь ключей постылый скрежет
Да шаги тяжелые солдат.

Подымались как к обедне ранней,
По столице одичалой шли,
Там встречались, мертвых бездыханней,
Солнце ниже и Нева туманней,
А надежда все поет вдали.
Приговор... И сразу слезы хлынут,
Ото всех уже отделена,
Словно с болью жизнь из сердца вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут,
Но идет... Шатается... Одна...
Где теперь невольные подруги
Двух моих осатанелых лет?
Что им чудится в сибирской вьюге,
Что мерещится им в лунном круге?
Им я шлю прощальный свой привет.

Март 1940

(№16) – к стр. 76

Тихо льется тихий Дон,
Желтый месяц входит в дом,

Входит в шапке набекрень,
Видит желтый месяц тень.

Эта женщина больна,
Эта женщина одна,

Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.

(№17) – к стр.77

МАЯКОВСКИЙ В 1913 ГОДУ

Я тебя в твоей не знала славе,
Помню только бурный твой рассвет,
Но, быть может, я сегодня вправе
Вспомнить день тех отдаленных лет.
Как в стихах твоих крепчали звуки,
Новые роились голоса...
Не ленились молодые руки,
Грозные ты возводил леса.
Все, чего касался ты, казалось
Не таким, как было до тех пор,
То, что разрушал ты, – разрушалось,
В каждом слове бился приговор.
Одинок и часто недоволен,
С нетерпеньем торопил судьбу,
Знал, что скоро выйдешь весел, волен
На свою великую борьбу.
И уже отзывный гул прилива
Слышался, когда ты нам читал,
Дождь косил свои глаза гневливо,
С городом ты в буйный спор вступал.
И еще не слышанное имя
Молнией влетело в душный зал,
Чтобы ныне, всей страной хранимо,
Зазвучать, как боевой сигнал.

1940

(№18) – к стр. 80, 86

[*Борису Пильняку*]

Все это разгадаешь ты один...
Когда бессонный мрак вокруг клокочет,
Тот солнечный, тот ландышевый клин
Врывается во тьму декабрьской ночи.
И по тропинке я к тебе иду.
И ты смеешься беззаботным смехом.
Но хвойный лес и камыши в пруду
Ответствуют каким-то странным эхом...
О, если этим мертвого бужу,
Прости меня, я не могу иначе:
Я о тебе, как о своем, тужу
И каждому завидую, кто плачет,
Кто может плакать в этот страшный час
О тех, кто там лежит на дне оврага...
Но выкипела, не дойдя до глаз,
Глаза мои не освежила влага.

1938

(№19) – к стр. 82, 84, 183

Так отлетают темные души...
"Я буду бредить, а ты не слушай.

Зашел ты нечаянно, ненароком –
Ты никаким ведь не связан сроком.

Побудь же со мною теперь подольше.
Помнишь, мы были с тобою в Польше?

Первое утро в Варшаве... Кто ты?
Ты уж другой или третий?" – "Сотый!"

"А голос совсем такой, как прежде.
Знаешь, я годы жила в надежде,

Что ты вернешься, и вот – не рада.
Мне ничего на земле не надо, –

Ни громов Гомера, ни Дантова дива.
Скоро я выйду на берег счастливый:

И Троя не пала, и жив Эабани,
И все потонуло в душистом тумане.

Я б задремала под ивой зеленой,
Да нет мне покоя от этого звона.

Что он? То с гор возвращается стадо?
Только в лицо не дохнула прохлада.

Или идет священник с дарами?
А звезды на небе, и ночь над горами...

Или сзывают народ на вече?"
– "Нет, это твой последний вечер!"

1940

(№20) – к стр. 87

ПУТЕМ ВСЕЯ ЗЕМЛИ

В санях сидя, отправляясь
путем всея земли...
Поучение Владимира Мономаха детям.

1

Прямо под ноги пулям,
Расталкивая года,
По январям и июлям
Я проберусь туда...
Никто не увидит ранку,
Крик не услышит мой,
Меня, китежанку,
Позвали домой.
И гнались за мною
Сто тысяч берез,
Стеклянной стеною
Струился мороз.
У давних пожарищ
Обугленный склад.
"Вот пропуск, товарищ,
Пустите назад..."
И воин спокойно
Отводит штык.
Как пышно и знойно
Тот остров возник!
И красная глина,
И яблочный сад...
О Salve, Regina!
Пылает закат.
Тропиночка круто
Взбиралась, дрожа.
Мне надо кому-то
Здесь руку пожать...

Но хриплой шарманки
Не слушаю стон.
Не тот китежанке
Послышался звон.

2

Окопы, окопы –
Заблудишься тут!
От старой Европы
Остался лоскут,
Где в облаке дыма
Горят города...
И вот уже Крыма
Темнеет гряда.
Я плакальщиц стаю
Веду за собой.
О, тихого края
Плащ голубой!...
Над мертвой медузой
Смущенно стою;
Здесь встретилась с Музой,
Ей клятву даю.
Но громко смеется,
Не верит: "Тебе ль?"
По капелькам льется
Душистый апрель.
И вот уже славы
Высокий порог,
Но голос лукавый
Предостерег:
"Сюда ты вернешься,
Вернешься не раз,
Но снова споткнешься
О крепкий алмаз.
Ты лучше бы мимо,
Ты лучше б назад,
Хулима, хвалима,
В отеческий сад".

3

Вечерней порою
Сгущается мгла.
Пусть Гофман со мною
Дойдет до угла.
Он знает, как гулок
Задушенный крик
И чей в переулок
Забрался двойник.
Ведь это не шутки,
Что двадцать пять лет
Мне видится жуткий
Один силуэт.
"Так значит, направо?
Вот здесь, за углом?
Спасибо!" – Канава
И маленький дом.
Не знала, что месяц
Во все посвящен.
С веревочных лестниц
Срывается он,
Спокойно обходит
Покинутый дом,
Где ночь на исходе
За круглым столом
Гляделась в обломок
Разбитых зеркал
И в груде потемок
Зарезанный спал.

4

Чистейшего звука
Высокая власть,
Как будто разлука
Натешилась всласть.

Знакомые зданья
Из смерти глядят –
И будет свиданье
Печальней стократ
Всего, что когда-то
Случилось со мной...
Столицей распятой
Иду я домой.

5

Черемуха мимо
Прокралась, как сон.
И кто-то "Цусима!"
Сказал в телефон.
Скорее, скорее –
Кончается срок:
"Варяг" и "Кореец"
Пошли на восток...
Там ласточкой реет
Старая боль...
А дальше темнеет
Форт Шаброль,
Как прошлого века
Разрушенный склеп,
Где старый калека
Оглох и ослеп.
Суровы и хмуры,
Его сторожат
С винтовками буры.
"Назад, назад!!"

6

Великую зиму
Я долго ждала,
Как белую схиму
Ее приняла.

И в легкие сани
Спокойно сажусь...
Я к вам, китежане,
До ночи вернусь.
За древней стоянкой
Один переход...
Теперь с китежанкой
Никто не пойдет,
Ни брат, ни соседка,
Ни первый жених, –
Лишь хвойная ветка
Да солнечный стих,
Оброненный нищим
И поднятый мной...
В последнем жилище
Меня упокой.

Март 1940
Фонтанный Дом

(№21) – к стр. 88

От тебя я сердце скрыла,
Словно бросила в Неву...
Прирученной и бескрылой
Я в дому твоем живу.
Только... ночью слышу скрипы.
Что там – в сумраках чужих?
Шереметевские липы...
Перекличка домовых...
Осторожно подступает,
Как журчание воды,
К уху жарко приникает
Черный шепоток беды –
И бормочет, словно дело
Ей всю ночь возиться тут:
"Ты уюта захотела,
Знаешь, где он – твой уют?"

[*30 октября*] *1936*

(№22) – к стр.89

Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так что сделался каждый день
Поминальным днем, –
Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей
Да о нашем бывшем богатстве.

1915

(№23) – к стр.89, 120

Страх, во тьме перебирая вещи,
Лунный луч наводит на топор.
За стеною слышен стук зловещий –
Что там? Крысы, призрак или вор?

В душной кухне плещется водою,
Половицам шатким счет ведет,
С глянцевитой черной бородою
За окном чердачным промелькнет –

И притихнет. Как он зол и ловок,
Спички спрятал и свечу задул.
Лучше бы поблескиванье дул
В грудь мою направленных винтовок,

Лучше бы на площади зеленой
На помост некрашеный прилечь
И под клики радости и стоны
Красной кровью до конца истечь.

Прижимаю к сердцу крестик гладкий:
Боже, мир душе моей верни.
Запах тленья обморочно сладкий
Веет от прохладной простыни

1921

(№24) – к стр. 65, 89

ПОДВАЛ ПАМЯТИ

Но сущий вздор, что я живу грустя
И что меня воспоминанье точит.
Не часто я у памяти в гостях,
Да и она всегда меня морочит.
Когда спускаюсь с фонарем в подвал,
Мне кажется – опять глухой обвал
Уже по узкой лестнице грохочет.
Чадит фонарь, вернуться не могу,
А знаю, что иду туда – к врагу.
И я прошу как милости... Но там
Темно и тихо. Мой окончен праздник!
Уж тридцать лет, как проводили дам,
От старости скончался тот проказник...
Я опоздала. Экая беда!
Нельзя мне показаться никуда.
Но я касаюсь живописи стен
И у камина греюсь. Что за чудо!
Сквозь эту плесень, этот чад и тлен
Сверкнули два зеленых изумруда.
И кот мяукнул. Ну, идем домой!

Но где мой дом и где рассудок мой?

1940

(№25) – к стр. 58, 89

Привольем пахнет дикий мед,
Пыль – солнечным лучом,
Фиалкою – девичий рот,
А золото – ничем.
Водою пахнет резеда,
И яблоком – любовь.

Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь...
        И напрасно наместник Рима
        Мыл руки пред всем народом
        Под зловещие крики черни;
        И шотландская королева
        Напрасно с узких ладоней
        Стирала красные брызги
        В душном мраке царского дома...

[*Середина 30-х годов*]

(№26) – к стр.89

ПРО СТИХИ

Владимиру Нарбуту

Это – выжимки бессонниц,
Это – свеч кривых нагар,
Это – сотен белых звонниц
Первый утренний удар...
Это – теплый подоконник
Под черниговской луной,
Это – пчелы, это – донник,
Это – пыль, и мрак, и зной.

(№27) – к стр.89, 183

Мои молодые руки
Тот договор подписали
Среди цветочных киосков
И граммофонного треска,
Под взглядом косым и пьяным
Газовых фонарей.
И старше была я века
Ровно на десять лет.

А на закат наложен
Был белый траур черемух,
Что осыпался мелким,
Душистым, сухим дождем...
И облака сквозили,
Кровавой цусимской пеной,
И плавно ландо катили
Теперешних мертвецов...

А нам бы тогдашний вечер
Показался бы маскарадом,
Показался бы карнавалом,
Феерией *grand-gala*...

От дома того – ни щепки,
Та вырублена аллея,
Давно опочили в музее
Те шляпы и башмачки.

Кто знает, как пусто небо
На месте упавшей башни,
Кто знает, как тихо в доме,
Куда не вернулся сын.

Ты неотступен, как совесть,
Как воздух, всегда со мною,
Зачем же зовешь к ответу?
Свидетелей знаю твоих:
То Павловского вокзала
Раскаленный музыкой купол
И водопад белогривый
У Баболовского дворца.

1940

(№28) – к стр. 90

ПОСЛЕДНИЙ ТОСТ

Я пью за разоренный дом,
За злую жизнь мою,
За одиночество вдвоем
И за тебя я пью, –
За ложь меня предавших губ,
За мертвый холод глаз,
За то, что мир жесток и груб,
За то , что Бог не спас.

1934

(№29) – к стр. 91

Уже безумие крылом
Души закрыло половину,
И поит огненным вином
И манит в черную долину.

И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,
Прислушиваясь к своему
Уже как бы чужому бреду.

И не позволит ничего
Оно мне унести с собою
(Как ни упрашивай его
И как ни докучай мольбою):

Ни сына страшные глаза –
Окаменелое страданье,
Ни день, когда пришла гроза,
Ни час тюремного свиданья,

Ни милую прохладу рук,
Ни лип взволнованные тени,
Ни отдаленный легкий звук –
Слова последних утешений.

4 мая 1940
Фонтанный Дом

(№30) – к стр. 98

М. Лозинскому

Он длится без конца – янтарный, тяжкий день!
Как невозможна грусть, как тщетно ожиданье!
И снова голосом серебряным олень
В зверинце говорит о северном сиянье.

И я поверила, что есть прохладный снег
И синяя купель для тех, кто нищ и болен,
И санок маленьких такой неверный бег
Под звоны древние далеких колоколен.

[*1913*]

(№31) – к стр. 98

"Где, высокая, твой цыганенок,
Тот, что плакал под черным платком,
Где твой маленький первый ребенок,
Что ты знаешь, что помнишь о нем?"

"Доля матери – светлая пытка,
Я достойна ее не была.
В белый рай растворилась калитка,
Магдалина сыночка взяла.

Каждый день мой – веселый, хороший,
Заблудилась я в длинной весне,
Только руки тоскуют по ноше,
Только плач его слышу во сне.

Станет сердце тревожным и томным,
И не помню тогда ничего,
Все брожу я по комнатам темным,
Все ищу колыбельку его".

1914

(№32) – к стр.99

Не будем пить из одного стакана
Ни воду мы, ни сладкое вино,
Не поцелуемся мы утром рано,
А ввечеру не поглядим в окно.
Ты дышишь солнцем, я дышу луною,
Но живы мы любовию одною.

Со мной всегда мой верный, нежный друг,
С тобой твоя веселая подруга.
Но мне понятен серых глаз испуг,
И ты виновник моего недуга.
Коротких мы не учащаем встреч.
Так наш покой нам суждено беречь.

Лишь голос твой поет в моих стихах,
В твоих стихах мое дыханье веет.
О, есть костер, которого не смеет
Коснуться ни забвение, ни страх.
И если б знал ты, как сейчас мне любы
Твои сухие, розовые губы!

1913

(№33) – к стр. 115

ЭПИЛОГ

Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:

И ту, что едва до окна довели,
И ту, что родимой не топчет земли,

И ту, что красивой тряхнув головой,
Сказала: "Сюда прихожу, как домой".

Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.

Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.

О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,

И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,

Пусть так же они поминают меня
В канун моего поминального дня.

А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,

Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем – не ставить его

Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,

Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,

А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.

Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь,

Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.

И пусть с неподвижных и бронзовых век
Как слезы струится подтаявший снег,

И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

1940
Март

(№34) – к стр.120

Все души милых на высоких звездах.
Как хорошо, что некого терять
И можно плакать. Царскосельский воздух
Был создан, чтобы песни повторять.

У берега серебряная ива
Касается сентябрьских ярких вод.
Из прошлого восставши, молчаливо
Ко мне навстречу тень моя идет.

Здесь столько лир повешено на ветки,
Но и моей как будто место есть.
А этот дождик, солнечный и редкий,
Мне утешенье и благая весть.

[*1921*]

(№35) – к стр.120

Пятым действием драмы
Веет воздух осенний,
Каждая клумба в парке
Кажется свежей могилой.
Справлена чистая тризна,
И больше нечего делать.
Что же я медлю словно
Скоро свершится чудо?
Так тяжелую лодку долго
У пристани слабой рукою
Удерживать можно, прощаясь
С тем, кто остался на суше.

[*1921 (1926?)*]

(№36) – к стр.120

В том доме было очень страшно жить,
И ни камина свет патриархальный,
Ни колыбелька нашего ребенка,
Ни то, что оба молоды мы были
И замыслов исполнены . . . . . .
. . . . и удача
От нашего порога ни на шаг
За все семь лет не смела отойти, –
Не уменьшали это чувство страха.
И я над ним смеяться научилась
И оставляла капельку вина
И крошки хлеба для того, кто ночью
Собакою царапался у двери
Иль в низкое заглядывал окошко
В то время как мы заполночь старались
Не видеть, что творится в зазеркалье,
Под чьими тяжеленными шагами

Стонали темной лестницы ступеньки,
Как о пощаде жалостно моля.
И говорил ты странно улыбаясь:
"Кого о н и по лестнице несут?"

Теперь ты там, где знают все, – скажи:
Что́ в этом доме жило кроме нас?

1921
Ц.С.

(№37) – к стр.127

Смеркается, и в небе темно-синем,
Где так недавно храм Ерусалимский
Таинственным сиял великолепьем,
Лишь две звезды над путаницей веток,
И снег летит откуда-то не сверху,
А словно подымается с земли,
Ленивый, ласковый и осторожный.
Мне странною в тот день была прогулка.
Когда я вышла, ослепил меня
Прозрачный отблеск на вещах и лицах,
Как будто всюду лепестки лежали
Тех желто-розовых некрупных роз,
Название которых я забыла.
Безветренный, сухой, морозный воздух
Так каждый звук лелеял и хранил,
Что мнилось мне: молчанья не бывает.
И на мосту, сквозь ржавые перила
Просовывая руки в рукавичках,
Кормили дети пестрых жадных уток,
Что кувыркались в проруби чернильной.
И я подумала: не может быть,
Чтоб я когда-нибудь забыла это.
И если трудный путь мне предстоит,
Вот легкий груз, который мне под силу

С собою взять, чтоб в старости, в болезни,
Быть может, в нищете — припоминать
Закат неистовый, и полноту
Душевных сил, и прелесть милой жизни.

1914-1916; [1940]

(№38) – к стр.132

Подушка уже горяча
С обеих сторон.
Вот и вторая свеча
Гаснет, и крик ворон
Становится все слышней.
Я эту ночь не спала,
Поздно думать о сне...
Как нестерпимо бела
Штора на белом окне.
Здравствуй!

1909

(№39) –к стр.133

ПЕСЕНКА

Я на солнечном восходе
Про любовь пою,
На коленях в огороде
Лебеду полю.

Вырываю и бросаю —
Пусть простит меня.
Вижу, девочка босая
Плачет у плетня.

Страшно мне от звонких воплей
Голоса беды,
Все сильнее запах теплый
Мертвой лебеды.

Будет камень вместо хлеба
Мне наградой злой.
Надо мною только небо,
А со мною голос твой.

1911

(№40) – к стр.138

Наталии Рыковой

Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?

Днем дыханьями веет вишневыми
Небывалый под городом лес,
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь прозрачных июльских небес, –

И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам...
Никому, никому неизвестное,
Но от века желанное нам.

1921

(№41) – к стр.138

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час...
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

1922

(№42) – к стр.138

ВОРОНЕЖ

О. М.

И город весь стоит оледенелый.
Как под стеклом деревья, стены, снег.
По хрусталям я прохожу несмело.
Узорных санок так неверен бег.
А над Петром воронежским – вороны,
Да тополя, и свод светло-зеленый,
Размытый, мутный, в солнечной пыли,
И Куликовской битвой веют склоны
Могучей, победительной земли.

И тополя, как сдвинутые чаши,
Над нами сразу зазвенят сильней,
Как будто пьют за ликованье наше
На брачном пире тысячи гостей.

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

[*4 марта*] *1936*

(№43) – к стр.139

[В ЗЕРКАЛЕ]

На шее мелких четок ряд,
В широкой муфте руки прячу,
Глаза рассеянно глядят
И больше никогда не плачут.

И кажется лицо бледней
От лиловеющего шелка,
Почти доходит до бровей
Моя незавитая челка.

И непохожа на полет
Походка медленная эта,
Как будто под ногами плот,
А не квадратики паркета.

А бледный рот слегка разжат,
Неровно трудное дыханье,
И на груди моей дрожат
Цветы небывшего свиданья.

1913

(№44) – к стр.150

ТРЕТИЙ ЗАЧАТЬЕВСКИЙ

Переулочек, переул...
Горло петелькой затянул.

Тянет свежесть с Москва-реки.
В окнах теплятся огоньки.

Покосился гнилой фонарь –
С колокольни идет звонарь...

Как по левой руке – пустырь,
А по правой руке – монастырь,

А напротив – высокий клен,
Красным заревом обагрен.

А напротив – высокий клен,
Ночью слушает долгий стон.

Мне бы тот найти образок,
Оттого что мой близок срок,

Мне бы снова мой черный платок,
Мне бы невской воды глоток.

[*1940*]

(№45) – к стр.150

Уложила сыночка кудрявого
И пошла на озеро по воду,
Песни пела, была веселая,
Зачерпнула воды и слушаю:
Мне знакомый голос прислышался,
Колокольный звон
Из-под синих волн,
Так у нас звонили в граде Китеже.

Вот большие бьют у Егория,
А меньшие с башни Благовещенской,
Говорят они грозным голосом:
    "Ах, одна ты ушла от приступа,
    Стона нашего ты не слышала,
    Нашей горькой гибели не видела.
    Но светла свеча негасимая
    За тебя у престола Божьего.
    Что же ты на земле замешкалась
    И венец надеть не торопишься?
    Распустился твой крин во полунощи,
    И фата до пят тебе соткана.
    Что ж печалишь ты брата-воина
    И сестру-голубицу схимницу,
    Своего печалишь ребеночка?.."
Как последнее слово услышала,
Света я пред собой не взвидела,
Оглянулась, а дом в огне горит.

Март, 1940

(№46) – к стр.154, 159

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит.
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждет!
И тихо, так, Господи, тихо,
Что слышно, как время идет.
А после она выплывает,
Как труп на весенней реке, –
Но матери сын не узнает,
И внук отвернется в тоске.

И клонятся головы ниже,
Как маятник, ходит луна.

Так вот – над погибшим Парижем
Такая теперь тишина.

[*5 августа 1940*]

(№47) – к стр. 155

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Далеко в лесу огромном,
Возле синих рек,
Жил с детьми в избушке темной
Бедный дровосек.

Младший сын был ростом с пальчик, –
Как тебя унять,
Спи, мой тихий, спи, мой мальчик,
Я дурная мать.

Долетают редко вести
К нашему крыльцу,
Подарили белый крестик
Твоему отцу.

Было горе, будет горе,
Горю нет конца,
Да хранит святой Егорий
Твоего отца.

(№48) – к стр.156

И мальчик, что играет на волынке,
И девочка, что свой плетет венок,
И две в лесу скрестившихся тропинки,
И в дальнем поле дальний огонек, –

Я вижу все. Я все запоминаю.
Любовно-кротко в сердце берегу.
Лишь одного я никогда не знаю
И даже вспомнить больше не могу.

Я не прошу ни мудрости, ни силы.
О, только дайте греться у огня!
Мне холодно... Крылатый иль бескрылый
Веселый бог не посетит меня.

1911

(№49) – к стр.159

ТЕНЬ

Что знает женщина одна о смертном часе?
О. Мандельштам

Всегда нарядней всех, всех розовей и выше,
Зачем всплываешь ты со дна погибших лет
И память хищная передо мной колышет
Прозрачный профиль твой за стеклами карет?
Как спорили тогда – ты ангел или птица!
Соломинкой тебя назвал поэт.
Равно на всех сквозь черные ресницы
Дарьяльских глаз струился нежный свет.
О тень! Прости меня, но ясная погода,
Флобер, бессонница и поздняя сирень
Тебя – красавицу тринадцатого года –
И твой безоблачный и равнодушный день
Напомнили... А мне такого рода
Воспоминанья не к лицу. О тень!

[*9 августа 1940*]

(№50) – к стр. 167

Покорно мне воображенье
В изображеньи серых глаз.
В моем тверском уединенье
Я горько вспоминаю вас.

Прекрасных рук счастливый пленник
На левом берегу Невы,
Мой знаменитый современник,
Случилось, как хотели вы,

Вы, приказавший мне: довольно,
Поди, убей свою любовь!
И вот я таю, я безвольна,
Но все сильней скучает кровь.

И если я умру, то кто же
Мои стихи напишет вам,
Кто стать звенящими поможет
Еще не сказанным словам?

Слепнево
1913

(№51) – к стр. 183

ЛОНДОНЦАМ

Двадцать четвертую драму Шекспира
Пишет время бесстрастной рукой.
Сами участники грозного пира,
Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира
Будем читать над свинцовой рекой;
Лучше сегодня голубку Джульетту
С пеньем и факелом в гроб провожать,
Лучше заглядывать в окна к Макбету,
Вместе с наемным убийцей дрожать, –
Только не эту, не эту, не эту,
Эту уже мы не в силах читать!

1940

(№52) – к стр.196

Но я предупреждаю вас,
Что я живу в последний раз.
Ни ласточкой, ни кленом,
Ни тростником и ни звездой,
Ни родниковою водой,
Ни колокольным звоном –
Не буду я людей смущать
И сны чужие навещать
Неутоленным стоном.

1940

(№53) – к стр.196

Нет, это не я, это кто-то другой страдает,
Я бы так не могла, а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют,
И пусть унесут фонари...
Ночь.

(№54) – к стр.211

ПЕРВЫЙ ДАЛЬНОБОЙНЫЙ В ЛЕНИНГРАДЕ

И в пестрой суете людской
Все изменилось вдруг.
Но это был не городской,
Да и не сельский звук.
На грома дальнего раскат
Он, правда, был похож, как брат,

Но в громе влажность есть
Высоких свежих облаков
И вожделение лугов –
Веселых ливней весть.
А этот был, как пекло, сух,
И не хотел смятенный слух
Поверить – по тому,
Как расширялся он и рос,
Как равнодушно гибель нес
Ребенку моему.

[*сентябрь 1941*]



"... НО КРЕПКИ ТЮРЕМНЫЕ ЗАТВОРЫ"

Лев Николаевич Гумилев (р.1912).

– сын Гумилева и Ахматовой; востоковед, специалист по истории народов Центральной Азии. Был арестован в 1935г., но после письма Ахматовой к Сталину освобожден;снова арестован в 1938г.; в 1944-м из ссылки в Туруханском крае (куда был отправлен после лагеря) ушел добровольно на фронт. В 1948г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Политическая история первого тюркского каганата (546-569г.г.)". В 1949г. арестован опять; освобожден и реабилитирован лишь в 1956-м. Через четыре года, в 1960г., опубликовал книгу:"Хунну. Срединная Азия в древние времена", М., Из-во восточной литературы; в 1961-м защитил докторскую диссертацию на тему: "Древние тюрки VI-VII вв." Затем последовало множество работ на разнообразные темы, напечатанных в специальных журналах. Лев Николаевич занимался историей древних тюрков и других степных народов Евразии, изучал и устанавливал историко-культурные типы народов в их связи с характером географической среды, занимался историей средневекового тибетского искусства, проблемой *Слова о полку Игореве* и др. Им опубликованы книги: *Открытие Хазарии* (с послесловием проф. М.И. Артамонова), М., "Наука", 1966; *Древние Тюрки*, М., "Наука", 1967; *Поиски вымышленного царства. Легенда о "государстве пресвитера Иоанна"* (с предисловием проф. С. Руденко), М., "Наука", 1970; *Хунны в Китае. Три века войны Китая со степными народами* III-VI *вв.*, М., "Наука", 1974; *Старобурятская живопись*, М., "Искусство", 1977.

Анна Андреевна, рассказывая мне о своих попытках спасти сына, с особой благодарностью упоминала имя писательницы Л. Сейфулиной; в разные времена называла ученых: М.И. Артамонова, А.П. Окладникова, В.В. Струве; после смерти Сталина, на моей памяти, хлопоты велись ею через посредство писателей А. Суркова, А. Фадеева, И. Эренбурга, востоковеда Н. И. Конрада и архитектора Л.В. Руднева.

Постоянной помощницей Анны Андреевны в этих хлопотах была Э.Г. Герштейн. В 1976г. ею была опубликована специальная работа об освобождении Льва Гумилева. (См. "Мемуары и факты" — *Russian Literature Triquarterly, Ann Arbor, Ardis).*

Матвей Петрович Бронштейн (1906-1938)
— физик-теоретик, сотрудник Ленинградского Физико-Технического Института (ныне Институт имени А.Ф. Иоффе), профессор Ленинградского Университета, автор научных работ в области теории гравитации, космологии, астрофизики, релятивистской квантовой теории. Этим, однако, вклад М.П. Бронштейна в науку не ограничивается: ему принадлежат, в частности, статьи по ядерной физике и теории полупроводников.

Работы М.П. Бронштейна начали появляться в печати с 1925г. Публиковались они в "Журнале Физико-Химического Общества", в *"Physikalische Zeitschrift"*, в "Журнале геофизики и метеорологии", в "Научном слове" и мн. др.

В ноябре 1935г. М.П. Бронштейн защитил докторскую диссертацию на тему: "Квантование гравитационных волн". Результаты этой диссертации опубликованы в 1936г. в VI томе "Журнала экспериментальной и теоретической физики", а в 1979-м часть статьи 1936г. напечатана снова, на этот раз в сборнике *Альберт Эйнштейн и теория гравитации* (М., из-во "Мир").

Под редакцией и с предисловием М.П. Бронштейна вышли переводы нескольких иностранных книг, посвященных разным отделам физики (напр., в 1937г. — книга П.А.М. Дирака *Основы квантовой механики*, в ОНТИ).

Кроме чисто научных работ (всего их более тридцати) М.П. Бронштейн был автором и популярных журнальных статей, и научно-популярных и научно-художественных книг: так, в 1935г. в ОНТИ вышли две его популярные книги: *Строение вещества* и *Атомы, электроны, ядра*; в 1936г., в Детгизе, первая из научно-художественных — *Солнечное вещество*; в 1937г., там же — *Лучи Икс* и *Изобретатели радио-телеграфа*. Последняя книга вышла в момент

ареста Матвея Петровича, и весь тираж ее был уничтожен. Напечатанным оказался лишь первый вариант в журнале "Костер" (1936, №4 и №5).

О роли, которую сыграл М.П. Бронштейн в развитии теоретической физики, популярной и научно-художественной литературы см., в частности: *БСЭ*, третье издание, т.4 (М., 1971); М.С. Соминский. Абрам Федорович Иоффе. (М.–Л., "Наука", 1966); В.Я. Френкель. Яков Ильич Френкель. (М.–Л., 1966); С. Маршак "Повесть об одном открытии" – альманах "Год XVIII", под ред. А.М. Горького, №8 (М., 1935); Лидия Чуковская "О книгах забытых или незамеченных" – "Вопросы литературы", 1958, №2; Л. Ландау "Несколько слов об этой книге" (предисловие к *Солнечному веществу*, изд. 2-е, М., 1959); Д. Данин "Жажда ясности" – "Новый мир", 1960, №3.

М.П. Бронштейн был арестован в августе 1937 года. Официальные справки о гибели моего мужа и реабилитации "за отсутствием состава преступления" я получила лишь через 20 лет, в 1957г. Из сопоставления даты "смерти", обозначенной в одной справке, с датой приговора – в другой, явствует, что "судим" он был 18 февраля 1938г. и "умер" – т.е. расстрелян – в тот же день. В феврале 1938г. приходили и за мною, но случайно не застали дома.

В хлопотах об освобождении М.П. Бронштейна принимали участие физики: С.И. Вавилов, А.Ф. Иоффе, Л.И. Мандельштам, И.Е. Тамм, В.А. Фок; писатели: С. Маршак, К. Чуковский.

З А С Ц Е Н О Й

(факты, люди, книги, документы)

1938

10 ноября
(к стр. 14)

1) Николай Николаевич Пунин (1888-1953) – искусствовед, художественный критик, автор книг *Японская гравюра* (1915), *Андрей Рублев* (1916), *Татлин* (1921). В 1920г. вышла книга Н. Пунина *Современное искусство* (цикл лекций); в 1927-28 – *Новейшие течения в русском искусстве*; в 1940-м – учебник по *Истории западно-европейского искусства*. Через много лет после гибели и реабилитации Пунина, изд-во "Советский художник" в 1976 г. опубликовало сборник его избранных статей: Н.Н. Пунин. *Русское и советское искусство*.

До революции (с 1913 по 1916) Н.Н. Пунин – сотрудник журнала *Аполлон*; после революции – комиссар при Русском Музее и Ленинградском Государственном Эрмитаже; заместитель наркома просвещения, А.В. Луначарского, по делам музеев и охраны памятников, преподаватель высших учебных заведений.

Пунин был арестован дважды; в первый раз – выпущен, а во второй – погиб в заключении.

Ахматовой обращены к Пунину такие стихи: "От тебя я сердце скрыла" – (№21); "Не недели, не месяцы – годы", "И как всегда бывает в дни разрыва", "Я пью за разоренный дом" *(БВ, Тростник)*. После кончины Н.Н. Пунина Ахматова посвятила ему стихотворение: "И сердце то уже не отзовется" *(БВ, Седьмая книга)*.

К Пунину обращена также одна из *Северных элегий* ("Так вот он – тот осенний пейзаж"); если судить по строкам

Пятнадцать лет – пятнадцатью веками
Гранитными как будто притворились –

брак Анны Андреевны с Пуниным длился 15 лет (с 1923 по 1938 г).

Над всем циклом *Северных элегий* Ахматова поставила эпиграф из Пушкина "Все в жертву памяти твоей..." Очень может быть, что слова эти отнесены ею к Пунину.

(к стр. 15)

2) Василий Васильевич Князев (1887-1937 или 38) – поэт; до революции – сатирик, после революции – автор *Красного Евангелия, Песен Красного*

звонаря, Красных звонов и песен; постоянный сотрудник *Красной газеты*. В 1937 г. Князев был арестован и погиб на Колыме.

Князь Дмитрий Петрович Святополк-Мирский (1890-1939) – знаток русской и английской литературы; в Англии, куда он эмигрировал в 1922 г., составлял антологии русской поэзии, писал о русской литературе и преподавал русскую литературу в Лондонском университете; в 1932 г., уже членом Коммунистической партии Великобритании, вернулся в Советский Союз; здесь он публиковал статьи об Элиоте, Джойсе, Смоллете, Хаксли (одни в журналах, другие как предисловия к сочинениям) и составил антологию английской поэзии. В 1937 г. Д.П. Святополк-Мирский был арестован и в 1939-м умер в лагере.

1939

26 февраля
(к стр. 18)

[3] А.А. прочитала: "Еще не умер ты, еще ты не один" и "Как по улицам Киева-Вия" – см. : О. Мандельштам. Стихотворения. Вступительная статья А.Л. Дымшица. Составление, подготовка текста и примечания Н.И. Харджиева. Библиотека Поэта. Большая серия. Л., "Советский писатель", 1973 (стр.187 и 200). В дальнейшем это издание мы будем для краткости именовать так: *ББП-М.*

3 марта
(к стр. 19)

[4] Николай Иванович Харджиев (р.1903) – прозаик, искусствовед, стиховед. Ему принадлежат повести о Федотове, Баранщикове, Ползунове; многочисленные статьи о новаторстве в изобразительном искусстве, а также о поэзии. См., например, статью "Маяковский и живопись" (М., 1940). Н. Харджиев – вместе с В. Трениным – редактировал первый том первого посмертного Полного Собрания сочинений В. Маяковского (М., 1935); совместно с Т. Грицем – книгу "Неизданные произведения" Велимира Хлебникова (М., 1940); им подготовлены к печати и прокомментированы избранные стихи О. Мандельштама для Большой серии "Библиотеки Поэта" *(ББП-М)*.

Н.И. Харджиев – близкий друг Ахматовой и Мандельштама. А.А. и Николай Иванович познакомились в Ленинграде в 1930 г.; с тех пор Ахматова имела обыкновение советоваться с Николаем Ивановичем о своих стихах, переводах, прозе. Написав воспоминания об Амедео Модильяни, А.А. прило-

жила к ним небольшое исследование Н. Харджиева, в котором он утверждает, в частности, что рисунок Модильяни, изображающий Ахматову, "перекликается с фигурой одного из известнейших архитектурно- скульптурных сооружений XVI столетия": с аллегорической фигурой "Ночь" на крыше саркофага Джулиано Медичи, созданной Микель-Анджело. (См. московский альманах *День поэзии*, 1967).

2 мая
(к стр. 20)

[5] *Я всю Фонтанку обжила.* – На набережной Фонтанки, сколько мне известно, А.А. жила в разные годы в таких домах: в 1921-22-м в доме №18, в четвертом дворе; в 1924 году – на углу бывшей Французской (ныне Кутузовской) набережной, на Фонтанке, 2; прожила около тридцати лет в знаменитом "Фонтанном дворце" (Фонтанка, 34), т.е. во флигеле бывшего дворца князей Шереметевых. (Ныне там помещается Институт Арктики и Антарктики АН СССР).

Оля – Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина (1885-1945) – драматическая актриса, певица, танцовщица, близкий друг Анны Андреевны. О ней и о ее месте в жизни и в поэзии Ахматовой см. комментарий В.М. Жирмунского в кн.: *Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы.* Библиотека Поэта. Большая серия. Л., 1976, стр.457 и 513; а также, кроме первого тома моих *Записок* – см. т.2.

В альманахе *Воздушные пути* опубликованы воспоминания Артура Лурье: "Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина" (Нью-Йорк, 1967, т.5, стр.139). В 1972г., во Франции, появилась целая книга о ней – о ее жизни, о близких ей людях, о ее работе в театре, о созданных ею куклах, вышивках, о рисунках на фарфоре. См. Eliane Moch-Bickert, *Olga Glebova-Soudeikina – amie et inspiratrice des poètes*. Thèse prés. devant l'Univ. de Paris IV. Lille.

18 мая
(к стр. 21)

[6] Дмитрий Николаевич Журавлев (р.1900) – поначалу ученик, а затем и актер Вахтанговского театра. В 1931г. Д.Н. Журавлев увлекся "художественным чтением" и начал выступать с эстрады; в его репертуаре самые разнообразные произведения русской и западно-европейской поэзии и прозы: Пушкин, Гоголь, Блок, Маяковский, Ахматова, Мериме, Мопассан.

А.А. познакомилась с Дмитрием Николаевичем в 1938 или 39г.: знакомство состоялось именно после того, как Ахматова услыхала прочитанную им *Пиковую Даму*. Упоминание о чтении *Шинели* – см. *Записки*, т.2, стр.3.

(к стр. 22)

[7] Михаил Леонидович Лозинский (1886-1955) – поэт, член "Цеха Поэтов", переводчик, редактор переводов, на протяжении четырех с лишним десятилетий – преданный друг Анны Ахматовой. Недаром именно в стихотворении, обращенном к Лозинскому, Ахматова дает свое знаменитое определение дружбы:

... над временами года,
Несокрушима и верна,
Души высокая свобода,
Что дружбою наречена...

и в своем "Слове о Лозинском" тоже подчеркивает преданность друзьям, как главную черту покойного.

В 1912г. Михаил Лозинский посвятил Анне Андреевне стихотворение "Не забывшая" (в 1916 оно вошло в сборник *Горный ключ*); Ахматова обращала к Лозинскому стихи, начиная с 1913г. по 1940: "Не будем пить из одного стакана" (1913; *БВ, Четки*); "Он длится без конца – янтарный, тяжкий день" (1913; *БВ, Четки*); "Они летят, они еще в дороге" (1916; *БВ, Белая стая*); "Надпись на книге" (1940; *БВ, Тростник*). В.М. Жирмунский полагает также (см. *ББП*, стр.457), что к Лозинскому, кроме перечисленных, обращены еще два стихотворения Ахматовой 1913г.: "Солнце комнату наполнило" и "Ты пришел меня утешить, милый!" (*ББП*, 72).

До революции М.Л. Лозинский был секретарем журнала *Аполлон* и владельцем издательства "Гиперборей". После революции ведал переводами с итальянского в издательстве "Всемирная Литература", как один из членов редакционной коллегии. Начиная с двадцатых годов переводы стали для Михаила Леонидовича главным делом жизни. Он переводил Данта, Бенвенуто Челлини; Лопе де Вега, Тирсо де Молина; Гете, Шиллера; Шекспира, Джона Флетчера, Киплинга; Корнеля, Леконта де Лиля, Мольера, Ромена Роллана. Переводил Лозинский и армянского поэта Саят Нова и грузинского – Н. Бараташвили; принимал участие в переводе *Шахнаме* Фирдоуси и армянского эпоса *Давид Сасунский*.

... "В трудном и благородном искусстве перевода, – пишет Ахматова, – Лозинский был для двадцатого века тем же, чем был Жуковский для века девятнадцатого... С Михаилом Леонидовичем Лозинским я познакомилась в 1911г., когда он пришел на одно из первых заседаний "Цеха Поэтов". Тогда же я первый раз услышала прочитанные им стихи".

Об М.Л. Лозинском см. также *Записки*, т.2, стр.63.

(к стр. 23)

[8] Слова из рассказа Чехова. А. А. "низшей расой" в данном случае называет мужчин. У Чехова же их произносит, относя это определение не к мужчинам, а к женщинам, Дмитрий Дмитриевич Гуров – герой рассказа *Дама с собачкой*.

29 мая
(к стр. 25)

[9]) В 1937г., в пору разгрома Ленинградского отделения Детиздата, возглавляемого С.Я. Маршаком, Александра Иосифовна Любарская, член этой редакции, была арестована. На следствии ее обвиняли во вредительстве и в шпионаже в пользу Японии. 14 января 1939г. она была освобождена и, когда мы увиделись, рассказала мне о перенесенных ею избиениях во время допроса. Мы были друзьями издавна: еще до совместной работы в редакции вместе учились на Литературном отделении Государственных Курсов при Институте Истории Искусств. (О разгроме "ленинградской редакции" см. Лидия Чуковская. В лаборатории редактора. Изд. 2-ое. М., 1963, стр.322, а также *Записки*, т.2, стр.569).

А.И. Любарская (р.1908) – редактор и фольклорист. Многие народные и литературные сказки выходили и выходят в свет в ее обработке. В ее обработке вышли сказки народов Советского Союза – сначала под заглавием *Волшебный колодец* (1945), а затем – *В тридевятом царстве, в тридесятом государстве* (1966 и 1971). Ею выполнен прозаический пересказ карело-финского эпоса *Калевала*, выдержавший с 53 по 75 год пять изданий. Совместно с Т. Габбе, А. Любарская подготовила к печати сборник *По дорогам сказки*; совместно с З. Задунайской – знаменитую книгу Сельмы Лагерлеф *Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями*; ею пересказаны и обработаны также *Сказки Топелиуса*, сказки Асбьернсена и мн. др.

31 мая
(к стр. 25)

[10]) *Геша* – Герш Исаакович Егудин (р.1908), математик, Митин и мой друг. Это он спас меня в феврале 38г.: позвонил из Ленинграда в Москву и дал понять приютившим меня знакомым, что за мной на ленинградскую квартиру приходили. (См. "Вместо предисловия").

4 июля
(к стр. 28)

[11]) Борис Пастернак. Охранная грамота. Л., "Издательство писателей в Ленинграде", 1931, стр.15.

20 июля
(к стр. 30)

[12]) [*У Мопассана*] *я только один рассказ люблю – тот, где человек сходит с ума.* – Напоминаю: человек сходит с ума в рассказе *Орля* (1886). Недавно я перечла его. Рассказ написан в форме дневника душевнобольного,

страдающего чем-то вроде мании преследования. Герою представляется, будто рядом с ним, под одним с ним кровом, у него в доме, поселилось невидимое, но грозное и могущественное чудовище (которое он называет "Орля"). Чудовище воздействует на него силою внушения, а по ночам высасывает жизнь из сомкнутых губ. Для проверки – существует ли Орля в действительности – герой проделывает многие опыты: например, оставляет с вечера на столе хлеб, графины с водой, молоком, вином, а утром обнаруживает, что вода и молоко выпиты. Поначалу герой считает Орлю плодом своего расстроенного воображения, но постепенно убеждает себя в реальности его присутствия и пробует уничтожить – сжечь.

Я не знаю, в каком году Ахматова впервые прочитала этот рассказ. Но когда теперь я перечитала его на фоне своих ахматовских записей, я не могла не вспомнить многое: например, слова Владимира Георгиевича (сказанные мне 9 июля 1940-го): Анна Андреевна "видела больную Срезневскую и ... выискивает в себе те же симптомы"; не могу не вспомнить постоянных споров Анны Андреевны с окружающими – был ли у нее в ее отсутствие обыск – или нет? и, наконец, многих и многих стихов – хотя бы *Северную элегию* 1921 г., обращенную к Гумилеву:

В том доме было очень страшно жить...
. . . .
. . . .
. . . .
И оставляла капельку вина
И крошки хлеба для того, кто ночью
Собакою царапался у двери
Иль в низкое заглядывал окошко
. . . .
. . . .
. . . .
Теперь ты там, где знают все, скажи –
Что в этом доме жило кроме нас?

Разве это не то же ощущение, каким преисполнен герой мопассановского рассказа: кто-то невидимый вечно следит за мной, а, может быть, и живет вместе со мной под одной кровлей?

Мне кажется, Ахматова постоянно, как заклинание, твердила про себя пушкинское: "Не дай мне Бог сойти с ума..." Ум ее был трезв, ясен, проницателен. И именно поэтому сознание ее было преисполнено ужасом перед совершающимся (которого не видели другие) и ужасом перед возможностью утраты рассудка. Ахматова яснее других чуяла и осознавала происходящее; действительность была чудовищна; заглядывая в подвал памяти, она восклицала:

Но где мой дом и где р а с с у д о к мой?

или, создавая свой *Реквием*:

Уже б е з у м и е крылом
Души накрыло половину...

... Вот на какие, вовсе необязательные, мысли, навело (–) меня перечитывание своих *Записок* и упомянутого Ахматовой мопассановского рассказа о "человеке, который сходит с ума". *(Примеч. 1980г.)*.

(к стр. 31)

[13] *Володя* – Владимир Казимирович Шилейко (1891-1930) – ассиролог, специалист по древнейшим культурам Передней Азии, знаток мертвых клинописных языков. Основной труд – *Вотивные надписи шумерийских правителей* с очерком по истории Шумерии (1915).

21 июля
(к стр. 32)

[14] *Ольга Николаевна* – Высотская (1885-1966) – актриса "Старинного театра" и студии Мейерхольда. В 1912г., работая в Александрийском театре, В. Мейерхольд посвятил О.Н. Высотской свою режиссерскую работу над спектаклем *Заложники жизни* Ф. Сологуба. (См. В.Э. Мейерхольд. Статьи, письма, речи, беседы, т.1, М., "Искусство", 1968, стр.235).

29 июля
(к стр. 33)

[15] Зоя Моисеевна Задунайская – так же, как и я, А.И. Любарская и Т.Г. Габбе, сначала училась на Литературном отделении Государственных Курсов при Институте Истории Искусств, а позднее стала одним из редакторов Ленинградского Отделения Детиздата. Из членов основного ядра "ленинградской редакции" в пору разгрома неарестованными остались только мы двое: я и Зоя Моисеевна. Меня выгнали первую; затем была уволена З. Задунайская "за связь с врагами народа", то есть за дружбу с Любарской и Габбе. С нею вместе мы написали письмо Ежову, которое исхитрились передать ему в руки (через врача его бывшей жены). В этом письме мы утверждали неповинность наших товарищей и просили привлечь к делу нас и выслушать наши показания. Письмо не возымело никакого действия. Составляя его, хлопоча о доставке "прямо в руки", мы еще не знали тогда, что в ту пору никакие письма вообще в счет не принимались; так же как и устные и письменные заявления. Разница между устным и письменным была лишь в том, что письменные хотя и не помогали арестованному, но редко вредили писавшим. Когда же человек вставал на собрании и публично заявлял, что арестованный неповинен – тогда его наверняка арестовывали (если он был членом партии) или на годы лишали работы (если он был беспартийный). Однако система действий Большого Дома не была нам ясна, тем более, что в подробностях она постоянно менялась.

Зоя Моисеевна Задунайская (р.1903) – совместно с Т. Габбе переработала и пересказала книгу Т.В. Олдрича *Воспоминания американского школь-*

ника (1932); а совместно с А. Любарской – *Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями* Сельмы Лагерлеф (1940). В последующие годы З. Задунайская начала заниматься фольклором. Она переработала и пересказала *Сказки народов Прибалтики*, китайские сказки и, вместе с Н. Гессе – итальянские сказки, молдавские и мн. др.

(к стр. 34)

16) ... *Я начала ей рассказывать . . . о провокациях Мишкевича.* – Еще до разгрома редакции, я, по поручению С.Я. Маршака, вместе с поэтом и критиком Мироном Левиным, подготовила к печати однотомник стихов Маяковского. Г. Мишкевич (р.1905?), провокатор и доносчик, который с 37 или 38 года стал "главным редактором" Лендетиздата, уличая меня во вредительстве и доказывая мою причастность к козням "врагов народа", привел на собрании, в качестве доказательства, перевранные цитаты из моих и Левина примечаний к тому Маяковского.

В результате его клевет эта книга, как и многие другие, была загублена. И только ли книги! По заданию ли свыше или по собственной инициативе, Г. Мишкевич, доказывая "вредительство Маршака", писал доносы на М.П. Бронштейна, А.И. Любарскую, Т.Г. Габбе, фальсифицировал корректуры и т.д. Он же, после арестов, выпустил номер стенгазеты, где называл арестованных редакторов и писателей шпионами, диверсантами, вредителями. (Об этом номере стенной газеты см. *Записки*, т.2, стр.569).

9 августа
(к стр. 37)

17) М. Бронштейн. *Солнечное вещество.* Л., "Детская литература", 1936.

10 августа
(к стр. 38)

18) Это единственный памятник Ленинграда, воспетый Маяковским. – А.А. имеет в виду следующие строки из поэмы Маяковского "Человек":

Фонари вот так же врезаны были
в середину улицы.
Дома́ похожи.
Вот так же
из ниши
головы кобыльей
вылеп.
– Прохожий!
Это улица Жуковского?
Смотрит,
как смотрит дитя на скелет,
глаза вот такие,

старается мимо.
"Она – Маяковского тысячи лет:
он здесь застрелился у двери любимой".

28 августа
(к стр. 39)

[19]) *Мирон Павлович Левин* (1917-1940) – критик и поэт; когда он появился в редакции, ему не было и девятнадцати – в шутку все величали его по имени и отчеству: "Мирон Павлович". М. Левин – автор статей: "С. Маршак" и "Маяковский и дети" (см. журнал "Детская литература", 1939, №4), а также многочисленных стихотворений, не увидевших света.

В эту пору Мирон Левин умирал от туберкулеза горла в Крымском санатории Долосы. Стихи он посылал мне в письмах. Привожу те, которые я читала тогда Анне Андреевне:

Голос тихо исчезает,
Оставляет одного.
Так товарищи бросают
Тело друга своего.

Мы говорим веселые слова,
Но наша жизнь мертва, мертва, мертва.
И только в звонкой доблести острот
Пред нами жизнь как подвиг предстает.

Задумаем, милый, на счастье
Простое, простое число.
Чтоб нам хоть чуть-чуть, хоть отчасти,
Хотя бы на миг повезло.

Опять наступает
Привычный финал:
Четыре часа,
Не помог веронал.

Не спит человек
И не может уснуть.
И вот он в далекий
Пускается путь.

Идет на веранду,
Садится впотьмах.
Казенный халат,
Папироса в зубах.

Он видит, закрывши
Глаза, вдалеке
Свой город любимый
На дальней реке.

———

Михайловский замок у Летнего сада,
Каштаны и цирк и Михайловский сад.
Вот все, что мне надо. Мне больше не надо.
Верните мне город и замок назад!

28 августа
(к стр. 34 и 40)

[20]) *Он (Коля), видно, славный человек, думающий, смелый...* – Николай Сергеевич Давиденков (1915-1950?) – биолог и литератор, сын заслуженного деятеля науки, знаменитого невропатолога С.Н. Давиденкова. Он был приятелем Льва Гумилева, арестован и сидел в тюрьме одновременно с ним; но в 39-м прихотливом году, в отличие от Левы, Коля, вместе с целой группой студентов, был отдан под обыкновенный суд, оправдан и выпущен.

Вскоре я подружилась с Колей и стала редактором популярной книжки о Дарвине, которую Давиденков начал писать для Дома Занимательной Науки.

Дальнейшая судьба Н. Давиденкова оказалась сложна и страшна: оправданный по суду, он, однако, не был восстановлен в университете. Из-за этого он подлежал призыву в армию, куда и был взят в начале 1941г. Вместе с нашими войсками Давиденков побывал в Польше, откуда изредка писал мне. Затем письма прекратились – Гитлер напал на Советский Союз; под Минском Давиденков, тяжело раненный, взят был в плен, потом бежал из немецкого лагеря и опубликовал на Западе книгу (или несколько книг?) о 37 годе, потом воевал с немцами в одном из союзнических соединений на Западном фронте, потом оказался в советском плену, попал в лагерь, бежал оттуда, был пойман и расстрелян.

Это всего лишь одна из случайно дошедших до меня версий военно-лагерной биографии Н.С. Давиденкова. Правда, в мае 1950г. я получила от него собственноручное письмо из лагеря – прощальное, – но в нем, разумеется, Коля почти ничего не имел возможности рассказать о себе. К письму были приложены стихи. В письме же, в частности, говорилось: "Главное у меня оказались не стихи, а проза. Этим я жил (во всех смыслах) четыре года, прерывался только для войны – но тут я ударяюсь в биографию, от которой сохрани Бог".

В 50-ые и 60-ые годы до меня доходили лишь непроверенные слухи о Колином конце, и притом разные. Подробно судьба Н. Давиденкова изложена в книге А. Солженицына *Архипелаг ГУЛаг* – см. Собрание Сочинений, т.6, стр.455.

Как мне говорила А.А., Коля и до ареста и после часто бывал у нее, читал ей свои стихи и знал *Реквием*. (Об этом см. в третьем томе моих *Записок*).

5 сентября
(к стр. 44)

21) Анна Евгеньевна Аренс (1892-1943) – первая жена Н.Н. Пунина; по профессии – врач-терапевт. Замуж за Николая Николаевича Анна Евгеньевна вышла в 1917 г., а когда они разошлись – продолжала жить в той же квартире.

16 сентября
(к стр. 45)

22) В.Г. Венедиктов. Стихотворения. Библиотека Поэта. Вступительная статья, редакция и примечания Л.Я. Гинзбург. Л., 1939.

27 сентября
(к стр. 47)

23) Рахиль Ароновна Брауде (1901-1971) – мой друг и соседка; до 37 г. она была секретарем нашей редакции, а после арестов редакторов и писателей – уволена "за связь с врагами народа". Живя на улице Рубинштейна, окна в окна со мной, она всячески заботилась обо мне после ареста Матвея Петровича; даже сменяла меня по ночам в тюремных очередях.

24) *... стихов его (В. Брюсова) не люблю и прозы тоже.* – В ранней юности Ахматова по-другому относилась к Валерию Брюсову: знала наизусть и любила его стихи. Об этом свидетельствуют хотя бы ее письма к С.В. Штейну, опубликованные Э.Г. Герштейн – см. сб. Анна Ахматова. Стихи, переписка, воспоминания, иконография. Составитель Э. Проффер. Анн Арбор, Ардис, 1977. (В дальнейшем для краткости мы будем именовать это издание так: *Ахматова. Ардис*).

25) Привожу отрывок из упомянутого Анной Андреевной письма Гумилева к Брюсову:

[11 мая 1909, Царское Село]

"Вы наверно уже слышали о лекциях, которые Вячеслав Иванович читает нескольким молодым поэтам, в том числе и мне. И мне кажется, что только теперь я начинаю понимать, что такое стих". (РО ГБЛ, ф.386, к.84, №20, л.5).

26) *По дневнику видно, какой дурной был человек.* <...> *"Под видом массажа крутил руки брату".* – Говоря о "дневнике" Брюсова, Ахматова имеет в виду книгу: Валерий Брюсов. *Из моей жизни. Моя юность* (1927).

Привожу подлинный текст: "... мой брат был при смерти, болен; медленно умирал в постели, ослепший и потерявший рассудок. Сердце мое сжималось от жалости к нему. Но я рассудочно был убежден, что жалость, как и всякая сантиментальность, – глупость. Я решительно преодолел в себе это чувство. <...> Временами у него бывали судороги, и тогда ему растирали руки и ноги. Раз вечером я принял участие в этом растирании вместе с его сиделкой, его прежней кормилицей. Она растирала ноги, я – руки. Но вместо того, чтобы растирать, я стал всячески жать, коверкать ему руки, стараясь причинить ему большую боль. Он вырывался, он стонал все сильнее, но я упорствовал".

Брат Валерия Брюсова, Николай (1877-1887), скончался от опухоли мозга.

(к стр. 48)

27) У Анны Андреевны было два брата: старший – Андрей (1886-1920) и младший – Виктор (1896-1976). Здесь (и далее, на стр. 86) А.А. говорит об Андрее. Об их матери, Инне Эразмовне, в девичестве Стоговой (1856-1930), об отце – флотском инженере-механике Андрее Антоновиче Горенко (1848-1915), и обо всей семье, сестрах – Ирине (ок.1888-ок.1892), Инне (1883-1905), Ии (1892-1922), см. в кн. Amanda Haight. Anna Akhmatova. Oxford University Press, 1976, а также в интервью с Виктором Андреевичем Горенко, опубликованном в сб. *Ахматова. Ардис.*

15 октября
(к стр. 49)

28) "Литературный Современник", 1937, №1 был целиком посвящен Пушкину; по-видимому, А.А. интересовалась статьей Б. Казанского: "Иностранцы о дуэли и смерти Пушкина".

(к стр. 50)

29) Цезарь Самойлович Вольпе (1904-1941) – исследователь русской литературы, критик. В юности – посетитель семинара, который в начале 20-х годов вел в Бакинском университете Вяч. Иванов. Перу Цезаря Вольпе принадлежат статьи о В. Брюсове и Андрее Белом; работы о Жуковском и И. Козлове; он – участник создания антологии *Русские поэты XVIII-XIX в.в.* (1940, 1941), а также составитель (совместно с О. Немировской) документальной книги *Судьба Блока* (Л., 1930). Писал Вольпе и статьи о наших современниках – М. Зощенко, Борисе Житкове.

Цезарь Самойлович Вольпе – мой первый муж, Люшин отец. А.А. расспрашивает меня, "что рассказывает" о Николае Ивановиче "Цезарь, вернувшийся из Москвы" потому, что Вольпе и Харджиев были очень дружны.

(к стр. 51)

30) Сергей Николаевич Давиденков (1880-1961) – Колин отец – с 1934 г. заслуженный деятель науки РСФСР, один из крупнейших невропатологов Ленинграда. С 1932 г. и до конца жизни С.Н. Давиденков заведовал кафедрой нервных болезней Ленинградского Института усовершенствования врачей. В годы войны стал главным невропатологом Ленинградского фронта, а с 1945 – действительным членом Академии Медицинских Наук СССР. Основные труды С.Н. Давиденкова посвящены травмам нервной системы, наследственным заболеваниям и неврозам.

Василий Гаврилович Баранов (р.1899) – эндокринолог; председатель Ленинградского отделения Всесоюзного Общества эндокринологии; с 1960 г. – действительный член Академии Медицинских Наук СССР. В тридцатые годы В.Г. Баранов преподавал в Первом медицинском институте и заведовал в больнице им. Эрисмана (т.е. там же, где работал В.Г. Гаршин) кафедрой эндокринологии.

15 ноября
(к стр. 53)

31) Вера Николаевна Аникиева (1894-1942) – искусствовед и экскурсовод; специалистка по современному искусству. С 1920-го по 1934-й Вера Николаевна работала в Русском Музее; позднее – во Всероссийской Академии Художеств.

Из ее исследовательских работ назову две: о В. Лебедеве и об А. Пахомове. Робота о Лебедеве напечатана лишь частично и лишь в переводе на немецкий язык (см. журнал *Die bildenden Künste in URSS*, 1934), а о Пахомове – отдельной книжкой: *А.Ф. Пахомов*, Л., 1935.

Скончалась Вера Николаевна от голода во время блокады.

4 декабря
(к стр. 54)

32) Александр Николаевич Тихонов (А. Серебров, 1880-1956) – автор воспоминаний о семилетии 1898-1905, о Чехове, Савве Морозове, Комиссаржевской. До выхода этой книги в свет (*Время и люди*. М., "Советский писатель", 1949) А.Н. Тихонов был в литературных кругах известен, главным образом, как друг и помощник Горького, организатор, издатель, редактор; А.Н. Тихонов играл большую роль в созданном Горьким после революции издательстве "Всемирная Литература", а также в журнале *Русский Современник*, где печатались М. Горький, Евг. Замятин, Л. Добычин, Б. Пильняк, Абр. Эфрос, Ю. Тынянов, К. Чуковский – и среди поэтов – Борис Пастернак и Анна Ахматова. Позднее А.Н. Тихонов работал в издательстве "Федерация" и "Academia", а во время войны – в издательстве "Советский Писатель", выпустившем книжку: *Анна Ахматова. Избранное. Стихи.* Ташкент, 1943.

6 декабря
(к стр. 55)

[33]) Эмма Григорьевна Герштейн (р.1903) – близкий друг Анны Андреевны, литературовед, специалист по Лермонтову, автор многочисленных исследований о Лермонтове и книги *Судьба Лермонтова* (М., 1964). На книгу эту Ахматова написала рецензию ("Заметки на полях"), опубликованную в *Литературной газете* 16 марта 1965 г.

Об Э.Г. Герштейн, о ее историко-литературных работах, об ее хлопотах за Л.Н. Гумилева, о ее участии в пушкиноведческих изысканиях Анны Ахматовой см. т.2 и т.3 моих *Записок*.

Познакомились А.А. и Эмма Григорьевна в 1934 г., в Москве у Мандельштамов.

Э.Г. Герштейн – автор неопубликованных воспоминаний об Анне Ахматовой и нескольких публикаций, посвященных пушкиноведческим работам. (См. примеч. на стр. 24 и т.2, примеч. на стр.9).

(к стр. 56)

[34]) Лидия Яковлевна Гинзбург (р.1902) – историк и теоретик литературы, специалист по Вяземскому, Лермонтову, Герцену. В 1929 г. ею была подготовлена к печати и прокомментирована *Старая записная книжка* П.А. Вяземского; под ее редакцией несколько раз выходили в свет его стихи. В 1940-м опубликована книга Л. Гинзбург *Творческий путь Лермонтова*. В первой половине пятидесятых годов Л.Я. Гинзбург принимала участие в работе над Герцено-Огаревскими томами "Литературного Наследства", а в 1957-м вышла в свет ее книга о *Былом и Думах*. Основные теоретические труды Л. Гинзбург: книга *О лирике* (1964 и 1974); книги *О психологической прозе* (1971) и *О литературном герое* (1979).

Л. Гинзбург – автор мемуаров об Анне Ахматовой. Знакомство их состоялось в доме у Г.А. Гуковского, с женой которого, Натальей Викторовной Рыковой, А.А. была очень дружна. (Ей посвящено стихотворение "Все расхищено, предано, продано" – *БВ, Anno Domini*).

Через Наталью Викторовну Лидия Яковлевна передала Анне Андреевне оттиск своей статьи о Вяземском. Статья понравилась.

– "Очень хорошая статья, – сказала Анна Андреевна. Это была первая фраза – я очень ею гордилась, – услышанная мною от Анны Андреевны", – сообщает Л.Я. Гинзбург в своих мемуарах.

"С тех пор мы встречались в течение сорока лет, до самого конца. Часто – в тридцатых годах и после войны, во второй половине сороковых; реже – в пятидесятых и шестидесятых, когда Анна Андреевна подолгу гостила в Москве". (См. Лидия Гинзбург, *Ахматова* – "День поэзии", М., 1977, стр.216).

14 декабря
(к стр. 57)

[35]) Яков Семенович Киселев (р.1896) – ленинградский юрист, знаменитый адвокат (см. Я.С. Киселев. *Судебные речи.* Л., 1967; Воронеж, 1971).

Как известно, в тридцатые годы к делам арестованных по 58 статье в подавляющем большинстве случаев никакие юристы, никакие адвокаты не допускались. Так и к рассмотрению дела М.П. Бронштейна, осужденного Военной Коллегией Верховного суда (почему именно этой инстанцией, а не какой-нибудь другой, неизвестно) адвокат допущен не был. Тем не менее я и Корней Иванович, составляя официальные письма и прошения о пересмотре дела, не раз пользовались добрыми советами Я.С. Киселева.

1940

13 января
(к стр. 62)

[36]) *Оказывается ... у акмеистов есть заслуги ... Какая любезность, не правда ли?* – Из уст критика-рапповца Валерия Павловича Друзина (р.1903) такой отзыв об акмеистах в самом деле звучал снисходительно, даже любезно. В 1929 г., в книге *Стиль современной литературы*, Друзин писал: "Враждебный революции [акмеизм] лишен был питательных соков". В 1936 г. в газете *Литературный Ленинград*: "Крупнейшие мастера советской поэзии ... должны были каждый по-своему в своем творческом росте, в своей борьбе за реализм "р а з д е л ы в а т ь с я" с н а с л е д и е м а к м е и з м а и футуризма... Традиции символистского пренебрежения реальными очертаниями действительности и традиции а к м е и с т и ч е с к о й б у т а ф о р и и по-разному м е ш а ю т в и д е т ь мир... К а к б е д е н пейзаж Бальмонта или А х м а т о в о й рядом с богатством красок Пушкина и Некрасова". (Разрядка всюду моя. Л.Ч.)

Мир Ахматовой казался Друзину бедным; зато в будущем случалось ему высоко оценивать богатство зрительного мира в произведениях не только Пушкина и Некрасова, но и Вс. Кочетова (1955, 1961, 1962), Фирсова (1966, 1972) и Грибачева (1971).

Поносил же Друзин всегда тех, кого в данную минуту требовало поносить начальство: недаром после постановления 46 года – им, Друзиным, "укрепили" разгромленную редакцию журнала *Звезда*. Во время антисемитской кампании 48-53 Друзин выступал со статьями под такими выразительными заголовками: в 1948 г. в *Звезде* №2 – "Разоблачать последышей буржуазного космополитизма и эстетства" и в газете *Советское искусство*, 12 февраля 1949 г. – "Прихвостни антипатриотической группы..."

Конечно, в 1940г. Ахматова еще не знала статей Друзина конца сороковых и всех последующих, но его анти-литературная и, в частности, анти-акмеистическая деятельность была ей уже хорошо известна.

17 января
(к стр. 64)

37) Александра Осиповна, в девичестве Росетт, в замужестве Смирнова (1809-1882) – одно время, в молодости, фрейлина императорского двора, известная красавица, хозяйка салона; позднее – хозяйка салона в Калуге, где муж ее, Н.М. Смирнов, в середине 40-х гг. стал губернатором. В историю литературы Росетт-Смирнова вошла главным образом не как мемуаристка, а как собеседница и корреспондентка знаменитых писателей. Чуть ли не все поэты ее времени посвящали ей стихи. "Никто из них не прошел мимо, не отдав ей поэтического приношения", пишет Л.В. Крестова, имея в виду посвященные Росетт-Смирновой стихотворения Пушкина, Лермонтова, Вяземского, Хомякова, Туманского. А.О. Росетт-Смирнова была дружна с семьей Карамзиных, а позднее с Гоголем и Аксаковым. К Смирновой – калужской губернаторше – обращены многие письма из книги Гоголя *Выбранные места из переписки с друзьями.*

Мемуары Смирновой, о которых говорит А.А., см. *Записки, дневник, воспоминания, письма.* Со статьями и примечаниями Л.В. Крестовой. Под ред. М.А. Цявловского. М., 1929.

38) *Мы заговорили о воспоминаниях Крандиевской...* – Наталья Васильевна Крандиевская (1890-1963), вторая жена А.Н. Толстого, поэтесса, автор мемуаров о Куприне, Есенине, Алексее Толстом.

39) Отрывок из *Опавших листьев* пересказан мною не вполне точно: см. В. Розанов. *Опавшие листья, короб первый.* Спб, 1913, стр.499.

(к стр. 65)

40) Анатолий Андреевич Волков (1909-1981) – критик, историк литературы, о котором в *КЛЭ* сообщается, что работы его "носят по преимуществу компилятивный характер". Однако работы Волкова об акмеистах точнее было бы охарактеризовать как погромные. Вот название статьи 1933г. – "Акмеизм и империалистическая война" (*Знамя*, №7), название книги 1935г.: "Поэзия русского империализма".

Вот несколько цитат из этих сочинений: "... акмеизм не только хронологически связан с империалистической войной, но в полном смысле слова является ее кровным идейным детищем. ... Столыпинский блок черносотенных помещиков с буржуазией усилил полицейско-бюрократический режим, обусловил агрессивность русского империализма. Именно в творчестве Гумилева нашли наиболее полное свое выражение агрессивные устремления

этого блока. ... Ахматова прочувствовала и выразила в своей поэзии идеологический "скрип", которым сопровождалась столыпинско-буржуазная ломка дворянских феодальных усадьб".

Окрыленный постановлением 46 года, А. Волков опубликовал статью о "теории и поэзии акмеизма" под заглавием "Знаменосцы безыдейности" (*Звезда*, 1947, №1), а в пятидесятых годах в *Истории русской литературы* назвал Ахматову мещанской поэтессой. Об этом см. *Записки*, т.2, стр.60.

23 января
(к стр. 66)

41) Александр Николаевич Болдырев (р.1909) – специалист по иранской филологии. С 1936-го по 1942 г. А.Н. Болдырев работал в Эрмитаже, в Отделе Востока. Когда во время войны значительная часть экспонатов Эрмитажа была эвакуирована в Свердловск – Болдырева назначили хранителем восточных рукописей, оставшихся в Ленинграде.

Начиная с пятидесятых годов, А.Н. Болдырев – профессор ленинградского университета, заведующий кафедрой иранской филологии.

4 февраля
(к стр. 68)

42) Моя повесть *Софья Петровна* попала в Самиздат через 17 лет, заграницу через 25. Напечатана она под правильным названием в Нью-Йорке в 1966 г. в *Новом Журнале* (в номерах 83 и 84) и под неправильным – отдельной книжкой – в 1965-м в Париже. (*Опустелый дом*, изд-во "Пять Континентов"). Из предисловия парижского издателя явствует, что повесть понята им совершенно ошибочно: он принимает внутренний монолог героини за голос автора, отожествляя сознание героини с авторским сознанием. Между тем, автор, хоть и соболезнует Софье Петровне, но, в отличие от нее – понимает происходящее и пытается окружающую действительность изобличать; Софья же Петровна слепа.

О слепоте общества и написана повесть.

Имя героини – "Софья Петровна" – нарицательное имя общественной ослепленности тридцатых годов.

Повесть переведена (к сожалению, не по тексту *Нового Журнала*, а по искаженному тексту "Пяти Континентов") на французский, английский, немецкий, голландский и шведский языки. На родине она не опубликована до сих пор. История борьбы за напечатание *Софьи Петровны* в России изложена мною во втором томе *Записок*, а также в книге *Процесс исключения* Paris, YMCA-Press, 1979. (Примеч. 1980 г.)

3 марта
(к стр. 76)

[43] А.А. говорит о шестом томе Полного Собрания Сочинений Н.А. Добролюбова, появившемся в 1939 г.: именно в шестом томе опубликованы стихи, рассказы и дневник. Вступительная статья и комментарии к этому тому принадлежат Б.Я. Бухштабу.

6 марта
(к стр. 77)

[44] А. Любарская и Л. Чуковская "О классиках и их комментаторах" – *Литературный критик*, 1940, №2.

9 марта
(к стр. 81)

[45] Речь несомненно идет о балладе Пастернака, начинающейся словами: "Бывает курьером на борзом" – см. *Борис Пастернак. Стихотворения и поэмы.* Вступительная статья А.Д. Синявского. Составление, подготовка текста и примечания Л.А. Озерова. Библиотека Поэта. Большая серия. Л., "Советский писатель", 1965, стр.96. В дальнейшем это издание мы будем для краткости именовать так: *ББП-П.*

20 марта
(к стр. 83)

[46] Александр Александрович Осмеркин (1892-1953) – художник-живописец, автор пейзажей, натюрмортов, портретов, театральных декораций. Осмеркин, до революции, участник художественных выставок "Бубнового Валета" (1913-1915) и "Мира Искусства" (1916, 1917); после революции работал бок о бок с Кончаловским, Лентуловым, Машковым, участник многих выставок, в том числе международных. Илья Эренбург, характеризуя живопись художника уже после его кончины, писал: "... Осмеркин видел связь человеческого лица с окружающими предметами, натюрморта с пейзажем". (См. вступительную статью к каталогу "Выставки произведений ...", М., 1959).

Занимался Осмеркин и преподаванием. В тридцатые годы его преподавательская деятельность "снискала ему славу одного из наиболее талантливых и любимых молодежью педагогов советской художественной школы" (см. сб. *Сто памятных дат*, М., "Советский художник", 1967, стр.246). Осмеркин преподавал в Государственном Художественном Институте имени Сурикова в Москве и во Всероссийской Академии Художеств имени Репина в Ленинграде.

Как упоминается у меня в *Записках* несколькими строками ниже, "скоро пришел И." Это – Иогансон; в те годы Осмеркин и Иогансон были приятелями и часто появлялись вместе.

Борис Владимирович Иогансон (1893-1973) – художник-живописец (автор многочисленных картин "о советской действительности"), в те годы преподавал там же, где и Осмеркин. Со временем пути их, художнические и человеческие, круто разошлись: Осмеркин остался мастером, творцом, педагогом, подлинным человеком искусства, а Иогансон преуспел как администратор: с 1953 по 58-й он вице-президент Академии Художеств СССР, с 1958 по 62-й – президент, а с 1965 по 67-й – первый секретарь Правления союза художников СССР. Когда, в 1948 г., разгром литературы, а затем музыки, перекинулся на изобразительное искусство и Осмеркина начали преследовать за "формализм" и за "низкопоклонство перед буржуазным Западом", а потом уволили из Академии – Иогансон, по преданию, оказался в числе его гонителей, и Осмеркин называл его "мой друг *Яго*нсон".

На сессии Академии Художеств, состоявшейся в мае 1948 г., было объявлено, что "воспитанием молодежи занимались малоопытные, недостаточно квалифицированные педагоги, люди ярко выраженного формалистического направления... модернисты, апологеты безыдейного, упадочнического западного искусства" (*Правда*, 29 мая 1948). Эти обвинения были предъявлены двум наиболее сильным и любимым педагогам художественных вузов – живописцу А. Осмеркину и скульптору А. Матвееву. Осмеркин был затравлен, лишен возможности преподавать, что и послужило началом его смертельной болезни.

Ахматова и Осмеркин познакомились, по-видимому, в конце двадцатых или в начале тридцатых годов. 28 марта 1937 г. А.А. побывала в Большом Драматическом театре им. Горького на юбилейном пушкинском спектакле (*Маленькие трагедии*, режиссер А.Д. Дикий, художник А.А. Осмеркин). Декорации пришлись ей по душе и она поздравила художника с большой удачей. (Александр Александрович был любителем поэзии; внимательно изучал Пушкина, ценил Ахматову).

Портрет Анны Андреевны, который Осмеркин писал белыми ночами в Ленинграде, был окончен в основном в 1939 г. и находится ныне в Государственном Литературном Музее в Москве. Озаглавлен он – "Белая ночь". Это заглавие могло быть, конечно, дано и просто потому, что Осмеркина привлекало особое освещение, свойственное северной ночи, а, быть может, в этом названии звучит перекличка с пастернаковскими строками:

Бывает глаз по-разному остер,
По-разному бывает образ точен.
Но самой страшной крепости раствор –
Ночная даль под взглядом белой ночи.

Таким я вижу облик ваш и взгляд.

("Анне Ахматовой" – *ББП-П* стр.200).

6 мая
(к стр. 92)

47) *Лотта* – Рахиль Моисеевна Хай (1906-1949) – специалистка по голландской живописи XVII века, сотрудница Отдела Западно-Европейского Искусства в Эрмитаже. Во время войны Р.М. Хай – ответственный хранитель фондов Эрмитажа, эвакуированных в Свердловск. Ее научные работы публиковались, главным образом, в "Трудах Отдела Западно-Европейского Искусства Государственного Эрмитажа" за 1940, 1941 и 1949г.г.

(к стр. 93)

48) *Нина* – Нина Антоновна Ольшевская (р.1908) – актриса, режиссер, близкий друг Анны Андреевны, жена писателя В.Е. Ардова. Познакомились Ольшевская и Ахматова в 1934г., в Москве, у Мандельштамов. Об Н.А. Ольшевской см. также *Записки*, т.2.

Приезжая в Москву, А.А. чаще всего останавливалась, иногда на недели, а иногда и на месяцы – "у Ардовых на Ордынке" (Ордынка, 17, кв.13), то есть в семье Нины Антоновны.

(к стр. 95)

49) А.А. имеет в виду следующие слова Мандельштама из статьи "Заметки о поэзии":

"Воистину русские символисты были столпниками стиля: на всех вместе не больше пятисот слов... Но это по крайней мере были аскеты, подвижники. Они стояли на колодах. Ахматова же стоит на паркетине – это уже паркетное столпничество". (*Русское искусство*, кн. 2, 1923, стр.68-70).

50) *Стихов моих он не любил.* – А.А. совершенно заблуждалась. Впоследствии, в разговоре со мною 11 мая 1957г. (см. второй том моих *Записок*) она с гордостью прочитала мне строки Мандельштама, обнаруженные Надеждой Яковлевной Мандельштам у него в архиве. Анализируя поэзию Ахматовой, Мандельштам оканчивал свою рецензию так: "В настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России". Рецензия эта (1916, на "Альманах Муз") в свое время не была напечатана и увидела свет лишь в 1968г. в *Вопросах литературы*, №4.

10 мая
(к стр. 96)

51) ... *нашей милой Тане* – то есть Татьяне Евсеевне Гуревич (ок.1905-1941), которая несколько лет работала в редакции журналов *Чиж* и *Еж*. Во время разгрома Ленинградской редакции она заявила на собрании, что не верит во вредительство арестованных редакторов, и за это была уволена. Татьяна

Евсеевна долго мыкалась без работы; затем ее приняли в редакцию "Издательства Писателей". Она погибла осенью 1941 г.: прямое попадание фугасной бомбы в Гостиный двор, где помещалось тогда это издательство.

(к стр. 97)

[52]) Тамара Григорьевна Габбе (1903-1960) – член "маршаковской редакции", разгромленной в 1937г.; драматург и фольклорист. Наибольшую известность приобрели ее детские пьесы, выходившие отдельными книжками; их не раз и с большим успехом ставили в московских и других театрах страны: "Город мастеров или Сказка о двух горбунах", "Хрустальный башмачок", "Авдотья Рязаночка".

Из фольклористских трудов самый значительный – книга *Быль и небыль. Сборник русских сказок, легенд и притч* появился уже посмертно (1967); до этого, но тоже посмертно – сборник *По дорогам сказки* (в соавторстве с А. Любарской, 1962); при жизни Тамары Григорьевны не раз издавались в ее переводах и пересказах французские народные сказки, сказки Перро, сказки Андерсена, братьев Гримм и др.

Всю жизнь, уже и после ухода из государственного издательства, она оставалась редактором – наставником писателей. Она была самым искусным редактором-художником, которого я знала. Поэтому моя книга *В лаборатории редактора* открывается посвящением Т.Г. Габбе.

В литературе остался непроявленным ее главный талант: она была одним из самых тонких знатоков русской поэзии, какого мне случилось встретить за всю мою жизнь.

О Т.Г. Габбе см. также *Записки* т.2.

(к стр. 99)

[53]) Речь идет о поэте Д. Хармсе (1905-1942); "нашим" я его называю потому, что в конце двадцатых годов Д. Хармс, поэт-"обериут", был вовлечен в создание книги для детей С.Я. Маршаком; до разгрома редакции мы виделись с ним чуть ли не ежедневно. Д. Хармс стал одним из крупнейших детских поэтов. (См. "Иван Иваныч Самовар", "Врун", "Как папа застрелил мне хорька", "Га-ра-рар" и др.). В 37-38г.г. Хармс уцелел, но во время войны, в осажденном Ленинграде, его все-таки "добрали", и он погиб в заключении. После реабилитации Д. Хармса, издательство "Детский мир" поручило мне составить сборник его стихов; сборник вышел в свет в 1962г. под названием *Игра*. На титульном листе должно было стоять имя составителя, то есть мое. По рассеянности редакции, оно с титульного листа исчезло.

11 мая
(к стр. 100)

[54]) Виктор Шкловский. *О Маяковском*. М., "Советский писатель", 1940.

20 мая
(к стр. 107)

55) Виталий Маркович Примаков (1897-1937), крупный военный деятель – в годы гражданской войны он командовал конным корпусом Червонного казачества. С 1935г. – заместитель начальника Ленинградского военного округа. В 1937г. расстрелян.

56) Николай Леонидович Степанов (1902-1972), литературовед; занимался по преимуществу Хлебниковым и Маяковским. См. такие его работы, как: "Творчество В. Хлебникова" (в т.1 Собрания произведений Хлебникова, 1928); вступительная статья к изданию стихотворений Хлебникова в малой серии Библиотеки поэта (1940); вступительная статья и примечания к трехтомнику В. Маяковского в малой серии Библиотеки поэта (1941) и др.

21 мая
(к стр. 110)

57) Женя Лунц (Евгения Натановна, в замужестве Горнштейн, 1908-1971) – моя школьная подруга. Сначала мы сидели с ней на одной парте в гимназии Таганцевой, потом в Тенишевском училище. Женя – сестра писателя Льва Лунца, члена содружества "Серапионовы братья", критика и драматурга (1901-1924). В 1921г. родители увезли Женю заграницу, и более мы с ней никогда не встречались.

24 мая
(к стр. 112)

58) Таня – дочка З.М. Задунайской и В.И. Валова, Люшина сверстница; мы часто устраивали девочкам совместные развлечения; кроме того, в летние месяцы мы с Зоей Моисеевной обычно снимали дачу вместе и чередовались возле девочек.

Танин отец, писатель Василий Игнатьевич Валов (р.1902) умер в 41г. от голода во время Ленинградской блокады.

(к стр. 113)

59) В действительности, – "Жеманницы" (см. "Заветы", СПБ, 1914, №5, стр.47-51).

1 июня
(к стр. 117)

60) К сожалению, я не знаю, о каком стихотворении идет речь. Я имела возможность ознакомиться только с несколькими номерами альманаха *Сирена* (Пролетарский еженедельник. Воронеж. 1918, №1-3; 1919, №4-5) – там стихотворений К. Бальмонта нет. *(Примеч. 1975г.)*

3 июня
(к стр. 119)

61) *Кате статья нравится... женщины, если у них есть профессия, служба, превращают ее для себя в настоящие шоры.* – Мне неизвестно, в редакции какого журнала работала в ту пору Е.Р. Малкина и какой работой она была столь увлечена; знаю, что у нее были близкие друзья в редакции журнала *Литературный критик*. Ахматову же Екатерина Романовна могла ознакомить с готовящейся статьей неофициально, просто по просьбе автора. Круг ее литературных знакомств был очень обширен.

Екатерина Романовна Малкина (1899-1945) – по образованию филолог-классик, специалистка по русской литературе, а также переводчица. В юности – на моей памяти – она посещала переводческую студию "Всемирной Литературы" и "Дома Искусств", где, в частности, преподавал Гумилев; была дружна с Михаилом Леонидовичем Лозинским; перевела для издательства "Всемирная Литература" пьесу Грильпарцера *Горе лжецу* и благодаря этому переводу познакомилась с Блоком; с 1924-го по начало 30-х работала в Эрмитаже в эллино-скифском отделе; в Эрмитаже познакомилась с Пуниным и через него с Анной Андреевной. В начале сороковых годов Екатерина Романовна работала в Пушкинском Доме.

Годы войны и блокады она провела в Ленинграде. За неделю до защиты докторской диссертации, в январе 1945г., она была убита мальчишками-ремесленниками, чинившими электричество у нее в квартире. Ныне архив Е.Р. Малкиной хранится в рукописном отделе Пушкинского Дома.

О ее судьбе и литературном наследии подробно рассказано в некрологе, появившемся 27 января 45 года в *Литературной газете*. Подписан он многими, в частности, Анной Ахматовой, М.Л. Лозинским, Ольгой Форш и Ольгой Берггольц. Привожу его:

"В Ленинграде трагически погибла Екатерина Романовна Малкина. Ее хорошо знали в литературных и литературоведческих кругах как талантливого ученого и критика, как активного члена Союза писателей и замечательного человека.

Всю блокаду Е.Р. прожила в Ленинграде, и тут вполне раскрылась сила и чистота ее души. Ее поведение было поистине героическим. Самоотверженно и просто, без всякой аффектации, переносила она все лишения, опасности и тяжелые личные утраты. Она непрерывно работала: вела большую литературную и редакторскую работу в ленинградском Радиокомитете, работала в Союзе писателей, читала лекции в лектории и госпиталях. В годы блокады она закончила большую научную работу – книгу *Драматургия А. Блока*. В 1938г. она защитила диссертацию на степень кандидата филологических наук: "А. Блок в первые годы реакции". Новую свою книгу она должна была защищать в качестве докторской диссертации.

Мы никогда не забудем светлый образ Е.Р. Малкиной – Кати Малкиной, как все называли ее. И надо позаботиться о том, чтобы была издана ее прекрасная работа о Блоке".

62) Эльга Моисеевна Каминская (ок.1889) – актриса; читала с эстрады произведения русской поэзии – классической и современной. Состоялся ли вечер поэзии Блока и Ахматовой, мне неизвестно; полагаю – нет.

63) *Якубович ... всю жизнь обожал Томашевского.* – Дмитрий Петрович Якубович (1897-1940), историк литературы, пушкинист, занимавшийся главным образом изучением прозы Пушкина, а также связями пушкинского творчества с античной литературой, с Овидием, с литературой английской – Шекспиром и Вальтером Скоттом. Он работал над монографией *Пушкин и Вальтер Скотт* и принимал участие в подготовке к изданию Полного Академического Собрания Сочинений Пушкина (эта работа и сблизила его с Б.В. Томашевским).

В 1933г. Дмитрий Петрович стал ученым секретарем Пушкинской Комиссии, а с 1936г. – ее председателем. Комиссия начала издавать *Временник*, и Якубович вскоре сделался ответственным редактором этого специального издания.

Когда, 30 мая 1940г., Якубович скончался – Томашевский на его похоронах выступил с той речью, о которой говорит мне Ахматова, а затем опубликовал во *Временнике* обширную статью, где подробно проанализировал пушкиноведческую деятельность Д.П. Якубовича во всем ее объеме. Этот (6-й) том *Временника* открывается портретом Дмитрия Петровича, и там же помещен полный список его работ.

Напоминаю читателям, что А.А. была членом Пушкинской Комиссии и постоянно общалась с Б.В. Томашевским и другими пушкинистами.

8 июня
(к стр. 124)

64) *... видела его году в 22-м у Блоха.* – то есть у владельца издательства "Петрополис", Якова Ноевича Блоха (1802-1968). Издательство просуществовало в Петрограде с 1918-го по 1922-й и за это время выпустило немало стихотворных сборников: Блох напечатал Гумилева, Ахматову, Мандельштама, Кузмина. Вышли ли в "Петрополисе" стихи Сологуба – мне неизвестно.

30 июня
(к стр. 141)

65) Мнение Ахматовой о том огромном значении, какое имеет для русской поэзии XX века творчество Анненского, было неколебимо устойчивым. Она повторила его и через четверть столетия, в 1965г.: в Москве, в беседе с

критиком Е. Осетровым, и в Париже, в беседе с литературоведом Н.А. Струве. Вот отрывок из беседы с Е. Осетровым:

"– В последнее время [так передает Осетров слова Ахматовой, – Л.Ч.], как-то особенно сильно зазвучала поэзия Иннокентия Анненского. Я нахожу это вполне естественным. Вспомним, что Александр Блок писал автору *Кипарисового ларца*, цитируя строки из *Тихих песен*: "*Это* навсегда в памяти. Часть души осталась в этом". Убеждена, что Анненский должен занять в нашей поэзии такое же почетное место, как Баратынский, Тютчев и Фет.

– Вы считаете Анненского своим учителем?

– И не только я. Иннокентий Анненский не потому учитель Пастернака, Мандельштама и Гумилева, что они ему подражали, – нет, о подражании не может идти речи. Но названные поэты уже "содержались" в Анненском. Вспомним, например, стихи Анненского из *Трилистника балаганного*:

Покупайте, сударики, шарики!
Эй, лисья шуба, коли есть лишни,
Не пожалей пятишни:
Запущу под самое небо –
Два часа потом глазей, да в оба!

Сопоставьте "Шарики детские" со стихами молодого Маяковского, с его выступлениями в *Сатириконе*, насыщенными подчеркнуто простонародной лексикой...

Если неискушенному человеку прочесть

Колоколы-балаболы
Колоколы-балаболы...

то он думает, что это стихи Велимира Хлебникова. Между тем, я прочитала "Колокольчики" Анненского. Мы не ошибемся, если скажем, что в "Колокольчиках" брошено зерно, из которого затем выросла хлебниковская поэзия.

Щедрые пастернаковские ливни уже хлещут на страницах *Кипарисового ларца*. Истоки поэзии Николая Гумилева не в стихах французских парнасцев, как это принято считать, а в Анненском.

Я веду свое начало от стихов Анненского. Его творчество на мой взгляд отмечено трагизмом, искренностью и художественной целостностью..." (Е. Осетров. "Грядущее, созревшее в прошедшем". – *Вопросы литературы*, 1965, №4, стр.186-187).

Те же мысли о тех же поэтах А.А. высказала в беседе с Н.А. Струве. (См. Никита Струве. "Восемь часов с Анной Ахматовой". *Сочинения*, т.2, стр.339).

Примечательно, что Гумилев в своей статье "Анненский и др." называет его поэзию "знаменем" для "искателей новых путей". (См. *Николай Гумилев. Собрание сочинений в четырех томах*, т.4, Вашингтон, изд-во Victor Kamkin, 1968, стр.235. В дальнейшем для краткости мы будем это издание именовать так: *Гумилев, Собр. соч.*).

В своем стихотворении памяти Анненского (1945), озаглавленном "Учитель", Ахматова писала:

А тот, кого учителем считаю,
Как тень прошел и тени не оставил,
Весь яд впитал, всю эту одурь выпил,
И славы ждал, и славы не дождался,
Кто был предвестьем, предзнаменованьем,
Всех пожалел, во всех вдохнул томленье –
И задохнулся...

(БВ, Седьмая книга)

Ахматова по-видимому считала Анненского явлением пророческим не только в поэзии. Вот строка, опущенная в беловике *БВ* и *ББП*:

Кто был предвестьем, предзнаменованьем, –
В с е г о , ч т о с н а м и п о с л е
с о в е р ш и л о с ь . . .

Это "всего" относится уже не только к поэзии.

Кипарисовый ларец Ахматова поминает в "Царскосельской Оде" (*БВ, Седьмая книга*) и безусловно имеет в виду Анненского (хоть и не называет его по имени) в строках о Царском Селе: "Здесь столько лир повешено на ветки..." (См. заключительное четверостишие стихотворения "Все души милых на высоких звездах" – (№34), *БВ, Седьмая книга*).

5 июля
(к стр. 142)

66) Всеволод Николаевич Петров (1912-1978) – искусствовед, знаток русского искусства конца XVIII – середины XIX века, автор исследовательских работ, "охватывающих – по его собственным словам в автобиографической справке – всю историю русской скульптуры классицизма, с последней четверти XVIII столетия до 1850-х годов – от Козловского до Клодта". (Автобиографию см. в кн. *Очерки и исследования*, М., "Советский художник", 1978, стр.291). Занимался Вс. Н. Петров и художниками "Мира искусства" и советскими мастерами: писал об Н. Альтмане, Н. Тырсе, В. Конашевиче, А. Пахомове, В. Курдове, Ю. Васнецове, Т. Шишмаревой.

С 1934-го по 1949-й Всеволод Николаевич был сотрудником Русского Музея: сначала отдела графики, потом скульптуры. В пятидесятые годы Петров принимал участие в подготовке издания *Истории русского искусства* (АН СССР, т.6, 8 и 10).

Петров считал себя учеником Пунина. Познакомился он с Анной Андреевной через Николая Николаевича. Когда, в 1953г., Н.Н. Пунин погиб в лагере, а после XX съезда был реабилитирован, и в 1976-м изд-во "Советский художник" выпустило его книгу, – там была помещена статья Вс.Н. Петрова: "Н.Н. Пунин и его искусствоведческие работы". См. примеч. 1)

[67]) Рыбаковы – Лидия Яковлевна (1885-1953) и дочь ее, Ольга – давние знакомые Анны Андреевны, семья юриста И.И. Рыбакова, погибшего в 1938 г. В кругу художников и литераторов Иосиф Израилевич Рыбаков (1880-1938) известен был как собиратель произведений искусства: живописи, скульптуры, старинных икон, фарфора, старинного и современного, редких книг и рукописей. Хранились в этой коллекции и дары Анны Ахматовой.

Познакомилась А.А. с Рыбаковым в конце 1922-го или в начале 1923 г., когда была замужем за В.К. Шилейко и жила в Мраморном.

9 июля
(к стр. 145)

[68]) Весною 1914 г. Ахматова написала стихотворение "Ответ", начинающееся строками "Какие странные слова / Принес мне тихий день апреля" *(БВ, Белая стая)*. Это был ответ на стихотворение гр. В.А. Комаровского, обращенное к Ахматовой. Кончалось оно так:

Вот славы день. Искусно или больно
Перед людьми разбито на куски,
И что взято рукою богомольно,
И что дано бесчувствием руки.

Василий Алексеевич покончил с собою 21 сентября 1914 г. Оба стихотворения – и Комаровского к Ахматовой и Ахматовой к Комаровскому – были опубликованы уже после его смерти, оба в журнале *Аполлон* в 1916 г. – первое в №4-5, второе в №8.

Гр. Василий Алексеевич Комаровский (1881-1914) – поэт; с конца девяностых годов жил в Царском Селе; печататься начал в 1912 г.; в 1913-м вышла в свет книжка его стихов *Первая пристань*, оказавшаяся последней. На этот сборник в следующем году с горячей симпатией (и с упреками по адресу критиков) отозвался Н. Гумилев. Он назвал *Первую пристань* книгой "достижений десятилетней творческой работы несомненного поэта". "Под многими стихотворениями, – писал Гумилев, – стоит подпись "Царское Село", под другими она угадывается. <...> Маленький городок, <...> освященный памятью Пушкина, Жуковского и за последнее время Иннокентия Анненского, захватил поэта, и он нам дал не только специально царскосельский пейзаж, но и царскосельский круг идей". Характеризуя поэзию Комаровского, Гумилев сопоставляет ее – с одной стороны с поэзией Иннокентия Анненского, с другой – Анри де Ренье. (См. *Гумилев, Собр. соч.*, т.4, стр.328-329).

В.Н. Топоров, автор статьи о Комаровском в *КЛЭ* (т.9), находит, что "предакмеистические черты" поэзии Комаровского оказали влияние на Ахматову и Мандельштама: "Сочетание спокойных, "взвешенных" классических форм (культ А.С. Пушкина, александрийский стих) с внутренним трагизмом содержания, исторического – с личным и биографическим..."

8 августа
(к стр. 156)

[69]) Упомянутые в разговоре стихотворные сборники и отдельные стихотворения М. Кузмина, это: книга *Форель разбивает лед*, Л., 1929; сб. *Сети*, М., 1908; сб. *Вожатый*, СПб., 1918. Отдельные стихотворения, о которых речь ("Царевич Димитрий" и "Озерный ветер пронзителен") напечатаны в сборнике *Вожатый* (см. стр.5 и стр.41).

(к стр. 157)

[70]) Н. Гумилев. *Письма о русской поэзии*. Пгр., изд-во "Мысль", 1923.

"Поэзия М. Кузмина, – писал Гумилев на стр.157, – "салонная" поэзия по преимуществу, – не то, чтобы она не была поэзией подлинной или прекрасной, наоборот, "салонность" дана ей, как некоторое добавление, делающее ее непохожей на других".

Осенние озера – вторая книга стихов М. Кузмина вышла в Москве, в изд-ве "Скорпион" в 1912г.

[71]) В *Литературном современнике* 1940г., в №5-6 напечатаны три стихотворения К. Симонова: "Родина", "Москвич", "Дружба" и пять стихотворений Н. Брауна: "Ирпень", "Мать", "Овраг", "Распрощаемся, разойдемся", "Как трудно сердцу не любя!"

(к стр. 159)

[72]) О мистификации, разыгранной Максимилианом Волошиным и Елизаветой Васильевой (они сочинили стихи от имени несуществующей поэтессы Черубины де Габриак); о переписке по этому поводу между редактором журнала *Аполлон* Сергеем Маковским и Иннокентием Анненским, (чьи стихи Маковский отложил, чтобы срочно напечатать стихи Черубины); о стихотворении Анненского "Моя тоска" – см. публикацию А.В. Лаврова и Р.Д. Тименчика в "Ежегоднике рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год" (Л., 1978, стр.240).

Я же приведу из этой публикации лишь начало того письма Анненского, о котором говорит мне Ахматова:

"12 ноября 1909г.

Дорогой Сергей Константинович,

Я был, конечно, очень огорчен тем, что мои стихи не пойдут в *Аполлоне*. Из Вашего письма я понял, что на это были серьезные причины. Жаль только, что Вы хотите видеть в моем желании, чтобы стихи были напечатаны именно во 2 [-м] №, – каприз. Не отказываюсь и от этого мотива моих действий и желаний вообще. Но в данном случае были разные другие причины, и мне очень досадно, что печатание расстроилось. Ну, да не будем об этом говорить и постараемся не думать..."

В тот же день Анненским было написано и *"страшное стихотворение о тоске"* – "Моя тоска". Это стихотворение оказалось последним. (См. сб. *Кипарисовый ларец*, вышедший в 1910 г. в изд-ве "Гриф" уже после смерти И. Анненского).

В публикации А. Лаврова и Р. Тименчика говорится, что в тридцатые годы Ахматова написала целую статью об эпизоде, рассказанном выше; статья называлась – "Последняя трагедия Анненского".

19 августа
(к стр. 163)

73) "К синей звезде" – цикл стихотворений Гумилева, вписанный им в альбом молодой девушки, которую он встретил в Париже в 1917 г.

Это стихи

О любви несчастной Гумилева
В год последний мировой войны.

Многие стихотворения этого цикла опубликованы среди других посмертно, в сборнике *К синей звезде* ("Petropolis", 1923, Берлин). Там же "Эзбекие" (в действительности не "о лесе", как сказано у меня, а – о саде в Каире); к "синей звезде" оно не имеет касательства, оно – воспоминание об Ахматовой.

Начальная строка второй строфы:

Я женщиною был тогда измучен.

(к стр. 167)

74) Речь идет о строчках из двух стихотворений Блока: "Черная кровь" и "Своими горькими слезами".

75) Вопреки суровому отзыву о "Снежной Маске", А.А. в начале двадцатых годов совместно с композитором А.С. Лурье писала по мотивам этой вещи либретто. Эта работа упомянута Ахматовой в перечне "утраченных". Между тем, судя по записи в Дневнике К. Чуковского от 24 декабря 1921 г., сделано Ахматовой было уже к тому времени немало. Корней Иванович записывает:

"... Она [Ахматова] лежала на кровати в пальто – сунула руку под плед и вытащила оттуда свернутые в трубочку большие листы бумаги.

– Это балет "Снежная Маска" по Блоку. Слушайте и придирайтесь к стилю. Я не умею писать прозой. – И она стала читать сочиненное ею либретто, которое было дорого мне, как дивный тонкий комментарий к "Снежной Маске". Не знаю, хороший ли это балет, но разбор "Снежной Маски" отличный. – Я еще не придумала сцену гибели в третьей картине. Этот балет я пишу для Артура Сергеевича. Он попросил. Может быть, Дягилев поставит в Париже". (*Литературное Наследство*, т.92 в 4-х книгах. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., "Наука", 1981, кн.2, стр.258).

(Напоминаю читателю строки в черновиках *Поэмы без героя*: "А во сне все казалось, что это / Я пишу для Артура либретто").

О композиторе Артуре Лурье (1893-1966), близком друге Ахматовой и Глебовой-Судейкиной, о его музыке, о его отношениях с петербургскими поэтами – Мандельштамом, Кузминым, Блоком, Ахматовой – в настоящее время ведутся специальные литературоведческие изыскания. Пока же отсылаю читателя к тем скудным сведениям о Лурье, которые даны в *ББП* на стр. 475; к воспоминаниям Ахматовой о Мандельштаме (*Сочинения*, т.2, стр. 187) и к двум статьям самого А.С. Лурье – см. *Воздушные пути* на 1965 и 1967 год.

Предполагаю, что кроме перечисленных в *ББП* на стр. 475, Ахматова посвятила А.С. Лурье еще два стихотворения: "При непосылке поэмы" *(БВ, Седьмая книга)* и "Прав, что не взял меня с собой" (напечатано с ошибкой на стр.305 в *ББП*: следует "сквозной" бессонницей, а не "ночной").

5 сентября
(к стр. 172)

76) Татьяна Александровна Богданович (1872-1942) – писательница, автор исторических книг для детей; моя крестная мать.

10 сентября
(к стр. 174)

77) Владимир Степанович Чернявский (1889-1948) – мастер художественного чтения. Исполнял он произведения Чехова, Блока, Ромена Роллана, но главным образом Пушкина. Читая с эстрады пушкинские стихи, Чернявский разработал несколько специальных программ: цикл "Дружество", цикл "Южный", цикл "Сельский" и т.д. Исполнял он и *Евгения Онегина*, и *Моцарта и Сальери*, и *Выстрел*. Есть у Чернявского и теоретическая статья о методах исполнения с эстрады прозы и поэзии Пушкина: см. сб. *Пушкин в звучащем слове*, Л., 1936, стр.45.

Исполнял ли Чернявский стихотворения Анны Ахматовой – я не знаю.

1 октября
(к стр. 184)

78) Анна Андреевна имеет в виду статью С. Нагорного под заглавием "Следующий номер". Статья посвящена разбору восьмого-девятого номера журнала *Литературный Современник* за 1940 год. В своей статье, помещенной в этом номере, критик И. Гринберг справедливо писал: « ... "камерность" Ахматовой не так-то уж проста <...> в стихах, казалось бы, совсем "камерных" присутствует чувство времени, присутствует память о широком мире. Вот эта память о мире, это чувство эпохи и придает такую мощь лирическим стихам больших поэтов, делает эти стихи напряженными, способными увлечь, покорить читателя» (стр. 213). С. Нагорный возразил ему: "стихи

Ахматовой глубоко чужды самому духу советского общества". (*Литературная газета*, 29 сентября 1940 г.).

3 октября
(к стр. 185)

[79]) Неоконченная поэма *Февраль* (1933) помещена в отделе "Посмертные стихи" на стр. 290-312 сборника *Э. Багрицкий. Стихотворения.* Малая серия Библиотеки Поэта. Вступительная статья И. Гринберга. Л., "Советский писатель", 1940.

[80]) Статья "Зощенко для детей" была мною написана и отправлена в редакцию журнала *Детская литература*. Редакция ее потеряла. Впоследствии некоторые мысли из этой статьи я использовала в своей книге *В лаборатории редактора* (см. изд. 2-е, "Искусство", 1963).

13 октября
(к стр. 187)

[81]) Валерия Сергеевна Срезневская (урожд. Тюльпанова; ок.1887-1964) – жена психиатра Вяч. Вяч. Срезневского, старшего врача психиатрической лечебницы на Выборгской стороне в Петербурге.

Валерия Сергеевна – "Валя" – гимназическая подруга Ахматовой; познакомились они еще в детстве, в 1896 г., а через несколько лет, когда семья Тюльпановых сняла этаж в одном доме с семьей Горенко (в доме Е.И. Шухардиной, близ вокзала, на улице Широкой), девочки стали подругами: вместе ходили в гимназию, вместе купались, читали книги, катались на коньках и т.д. Через Валю Тюльпанову "Аня Горенко" познакомилась с "Колей Гумилевым".

В.С. Срезневская – автор ненапечатанных воспоминаний об Анне Андреевне.

Ахматова посвятила ей два стихотворения: "Вместо мудрости – опытность..." *(БВ, Белая стая)* и "Памяти В.С. Срезневской" *(БВ, Седьмая книга)*.

[82]) Эрих Федорович Голлербах (1895-1942) – искусствовед, поэт и литературовед; библиофил, библиограф; автор книг *В.В. Розанов. Жизнь и творчество* (1922); *Портретная живопись в России* (1923); *История гравюры и литографии в России* (1923) и мн. др.

Большое место в искусствоведчески-литературоведческих работах Э. Голлербаха (уроженца Царского Села) занимают портреты и биографии поэтов, чье творчество связано с Царским – например, книга *Город муз*, где он говорит не только о Пушкине, Жуковском, Вяземском, но и об Иннокентии Анненском, Н. Гумилеве, В. Комаровском, Анне Ахматовой; или книга *Образ Ахматовой* – сборник, где представлены стихи, посвященные ей

современниками – Блоком, Гумилевым, Комаровским, Мандельштамом, Сологубом, Кузминым – и фотография статуэтки, исполненной Натальей Данько; им также опубликована книга *Царское Село в поэзии*, где, в частности, перепечатаны ахматовские стихи о Царском.

По-видимому, Ахматову раздражала попытка Э. Голлербаха популяризовать, сделать общедоступной дорогую ей тему – память о юности, о Пушкине, о гибели Гумилева, о ее любви к Недоброво, – словом, ту, очень лично пережитую ею царскосельскую тему, которая звучит со столь изысканной строгостью в ее стихах.

17 октября
(к стр. 190)

83) Мария Яковлевна Варшавская (р.1905) – сотрудница Эрмитажа, автор многочисленных научных трудов, одно время заведующая сектором живописи в Отделе Западно-европейского искусства; ныне (и в течение многих лет) – хранитель экспозиции фламандской живописи. Основные труды М.Я. Варшавской посвящены двум художникам: *Ван Дейк. Картины в Эрмитаже* (Л., 1963) и *Картины Рубенса в Эрмитаже* (Л., 1975).

22 октября
(к стр. 193)

84) *... рассказала, возмущаясь, о домысле Максимова.* – А.А. имела в виду страницы из книги *Поэзия Валерия Брюсова*, вышедшей в 1940г.

Дмитрий Евгеньевич Максимов (р.1904) – профессор Ленинградского университета, историк русской поэзии; в 1966г. вышла его книга *Поэзия Лермонтова*, а в 1975-м – *Поэзия и проза Ал. Блока*. Возмущение Анны Андреевны вызвано было одной из ранних работ Д.Е. Максимова: в названной книге о Брюсове он утверждал, что Гумилев относился к Брюсову как "почтительный ученик". Основывал он свои убеждения, ссылаясь на статьи Гумилева (см., например, рецензию Н. Гумилева в газете *Речь* 29 мая 1908г.) и на те надписи, с которыми Николай Степанович преподносил Брюсову свои стихотворные сборники. (Напоминаю также, что 1-ое издание сборника *Жемчуга* Гумилева прямо посвящено "моему учителю Валерию Брюсову").

Прочитав в моих *Записках* сердитую реплику Анны Андреевны, Д.Е. Максимов в 1978г. написал мне:

"В Ваших воспоминаниях ... упоминается фамилия "Максимов", которого А.А. выругала за слишком прямолинейное понимание каких-то писем... Очевидно или вероятно, "Максимов" – это я, а речь шла о почтительнейших письмах Николая Степановича к Брюсову. Если память мне не изменяет, эту почтительность я принял за чистую монету (это был *очень молодой* Гумилев и такое его отношение было вполне возможно). А.А. со мною не согласилась. Ей естественно не хотелось даже молодого Н [иколая] С [тепановича] признавать поклонником В.Я. Брюсова".

О неудовольствии Анны Андреевны Д.Е. Максимов сообщает:

"Это было – самое *начало* моего давнего и доброго знакомства с Анной Андреевной".

Далее Д.Е. Максимов пишет мне, что в последующие годы А.А. относилась к нему и к его работам дружески и сочувственно: "Об этом свидетельствуют и ее надписи на подаренных мне книгах, и многие-многие звонки по телефону, и просьба выступить в Союзе Писателей со вступительным словом перед чтением *Поэмы без героя* (чтение не состоялось) и т.д."

В 1969г., т.е. уже после смерти Ахматовой, вышла книга Д. Максимова *Брюсов. Поэзия и позиция* (Л., "Советский писатель"). Там, на стр. 119, читаем:

" ... меру сближения поэзии Брюсова с лирикой акмеистов не следует преувеличивать... Брюсов не сошелся с акмеистами и по-человечески, резко критиковал их теоретическую программу, а вскоре и совсем с ними разошелся".

Об отношении Гумилева к Брюсову см. интервью Ахматовой Никите Струве (*Сочинения*, т.2, стр.341), а об отношении самой Анны Андреевны к Брюсову см. стр. 47.

[85]) Речь идет о трех стихотворениях В. Хлебникова: "Отказ", "Одинокий лицедей" – см. *Собрание сочинений Велимира Хлебникова*, 1928-1933, т.3 и "А я ..." – то же собрание, т.5.

13 ноября
(к стр. 197)

[86]) Не комментируя письмо Пастернака к Ахматовой, привожу из него отрывок, на который Анна Андреевна обратила мое внимание:

[1 ноября 1940]

"Дорогая, дорогая Анна Андреевна!

Могу ли я что-нибудь сказать, чтобы хоть немножко развеселить Вас и заинтересовать существованием в этом снова надвинувшемся мраке, тень которого с дрожью чувствую ежедневно и на себе. Как Вам напомнить с достаточностью, что жить и хотеть жить (не по какому-нибудь еще, а только по-Вашему) Ваш долг перед живущими, потому что представления о жизни легко разрушаются и редко кем поддерживаются, а Вы их главный создатель.

Дорогой друг и недостижимый пример, все это я Вам должен был бы сказать тем серым днем августа, когда мы последний раз видались и Вы мне напомнили, как категорически Вы мне дороги. А между тем я пренебрегал возможностью встречи с Вами, уезжал на целые дни в Москву, для встречи поезда для учащихся, шедшего вне графика и не по расписанию из Крыма с Зиной и ее больным сыном, которого надо было устроить в больницу и даже *день* приезда которого был неизвестен..." (*Ахматова. Ардис*, стр.85).

(Сверив текст с копией, хранящейся у Евг.Б. и Е.В. Пастернаков, я убедилась, что в публикацию "Ардиса" вкралась ошибка: вместо "я Вам должен был бы сказать" напечатано "я должен был Вам подсказать").

22 ноября
(к стр. 203)

[87] *Борис Пастернак. Избранные переводы*, М., "Советский писатель", 1940.

(к стр. 204)

[88] *Л. Гинзбург. Творческий путь Лермонтова.* Л., ГИХЛ, 1940.

1941

21 октября
(к стр. 212)

[89] С супругами Шнейдер, Михаилом Яковлевичем Шнейдером и Татьяной Алексеевной Арбузовой, я приехала в Чистополь на одном пароходе, в один день – 6 августа 1941 г. В Чистополе мы оказались соседями. Михаила Яковлевича я знала и прежде; с Татьяной Алексеевной познакомилась и сразу подружилась на пароходе, в пути. Михаил Яковлевич был тогда в последней стадии туберкулеза, Татьяна Алексеевна с большой самоотверженностью пыталась его спасти. Я знала (испытала на себе), что оба они доброжелательные, хорошие люди.

Михаил Яковлевич Шнейдер (1891-1945) – специалист по кинодраматургии, автор критических статей о сценариях и составитель сценарных сборников; жена его, Татьяна Алексеевна Арбузова (1903-1978) – в юности ученица студии Мейерхольда. (После кончины Шнейдера она вышла замуж за К.Г. Паустовского).

Шнейдеры дружески встретили у себя в комнатушке Марину Ивановну. Они сразу начали приискивать комнату для нее неподалеку от своей.

(Примеч. 1980г.)

28 октября
(к стр. 213)

[90] Лев Моисеевич Квитко (ок.1890-1952) – еврейский поэт, писавший на идиш; в русскую поэзию вошел благодаря выступлениям Корнея Чуковского, а главное, переводам С. Маршака, Е. Благининой, М. Светлова, а впоследствии и Анны Ахматовой. Во время войны Квитко был членом Еврейского Антифашистского Комитета. В пору "борьбы с космополитизмом" он был арестован и расстрелян вместе с другими деятелями еврейской литературы: И. Фефером, Д. Бергельсоном и Перецем Маркишем.

(к стр. 215)

[91]) ... *Самое большое горе моих дней – это Иосиф.* – Иосиф Израилевич Гинзбург (1901-1945), инженер, муж Тамары Григорьевны, был арестован за то, что в присутствии сослуживцев возмущался пактом СССР с фашистской Германией. Это было до нападения Гитлера на Советский Союз. Но в судьбе человека, арестованного за антифашизм, нападение фашистов на СССР не изменило ничего. Он остался в лагере и погиб под Карагандой, работая во время наводнения на плотинс.

СОДЕРЖАНИЕ

Imprimerie de la Manutention à Mayenne – 18 décembre 1984 – N°8914

ISBN 2-85065-055-2